



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

1-2 (484)

2020

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Владимир Морозов. Любимые птицы предместий. <i>Стихи</i>	3
Татьяна Риздвенко. Пан. <i>Роман</i>	9
Андрей Тавров. Флот в Авлиде. <i>Стихи</i>	89
Арен Ванян. Невидимая нить. <i>Рассказ</i>	100
Евгений Сошкин. «Шедшая впереди стала падать...» и др. <i>стихи</i>	117
Вадим Ярмолинец. Бешенковский. У моста Верразано. <i>Рассказы</i>	127
Андрей Торопов. «Милостивый государь» и др. <i>стихи</i>	137
Сергей Зельдин. «Теща и ее кот» и др. <i>рассказы</i>	142
Илья Семененко-Басин. «Снег в начале мая» и др. <i>стихи</i>	151
Вячеслав Харченко. Нежность. <i>Рассказ</i>	157
Елена Зейферт. Из книги «Греческий дух латинской буквы». <i>Стихи</i>	160
Дмитрий Лагутин. Радио. Кораблики. Деда. <i>Рассказы</i>	165

ИЗ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Николай Шатров. Стихи из собрания Алексея Кириллова <i>Публикация, подготовка текста, предисловие Владимира Орлова</i>	184
--	-----

В СВОЕМ ФОРМАТЕ

Сергей Боровиков. Запятая – 5 (В русском жанре – 65).....	205
--	-----

ПУТЕШЕСТВИЕ

Михаил Бару. Полстакана сметаны с сахаром.....	213
---	-----

ЖИЗНЬ ХУДОЖНИКОВ

Вячеслав Лопатин. К выходу книги «Алексей Боголюбов: художник, моряк, путешественник».....	239
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Борис Кутенков. Открытый финал <i>О кн.: Евгения Вежлян. Ангел на Павелецкой</i>	244
Мария Малиновская. Человек и смерть <i>О публикации: Юрий Рыдкин. Симметрия смерти</i>	248
Анна Сафронова. Рассказы в декабрьском «Октябре» <i>О журнале: Октябрь. 2019. № 12</i>	251

ВОСПОМИНАНИЯ

Сергей Боровиков. Третий	255
---------------------------------------	-----

Владимир МОРОЗОВ

ЛЮБИМЫЕ ПТИЦЫ ПРЕДМЕСТИЙ

На тесном дворе обнищавшего царства природы
Стоит неподвижно огромный, как дерево, снег,
А мимо спешат небольшие, в ладонь, пешеходы,
По узким дорогам верша свой предутренний бег.

То слева направо, то справа налево ложится
Почти неразборчивый слабый просвет белизны,
И черных ворон неприятные, грубые лица
Глядят между веток на наши тревожные сны.

Живут в самых разных, порой неприметных, приютах,
Как темные пятна ночных затвердевших следов –
Не верится, что все они оживают под утро,
Взлетая над крышами пятиэтажных домов.

Как холодно нынче! Как много беды и тревоги
Дано пережить нашим теням ночным, а потом –
На корточках сидя грызть мерзлую грязь у дороги,
От зимнего ветра лицо закрывая крылом.

Старость, дикость, запустенье
В нашем парке городском –
Здесь остановилось время
В твёрдом дереве ночном.

Время здесь остановилось,
Как замерзшая листва –

Владимир Морозов родился в 1958 году в Якутии. В 1980 году закончил геологический факультет Саратовского государственного университета. Публиковался с 1985 года в журналах «Литературная Грузия», «Новый журнал», «Волга», «Последний экземпляр». Автор книг стихотворений «Холодный воздух» (Саратов: Контрапункт, 1998) и «По дороге к декабрю» (Саратов: Музыка и быт, 2018). Живет в Саратове и Санкт-Петербурге.

Мы не помним, что случилось
Накануне Рождества.

Под заснеженной скамейкой,
Где ещё не тает лёд,
Воробьиная семейка
Крошки мёрзлые клюёт.

Снег дорожки замедляет,
Всё не может перестать...
Нам ничто не помешает,
И не может помешать

Жить на даче, ездить в город,
Нянчить рыжего кота –
Жизнь закончится нескоро,
Или даже никогда.

В сочетаньи движенья и веса
Беспощаден рассеянный свет,
На границе заката и леса
Перспективу сводящий на нет.

Речь идет не о литературе,
А о старых голландских холстах,
Где деревья как будто уснули
С фиолетовым светом в стволах.

Вороватые хитрые дети,
Горожане на черных коньках –
Почему-то подробности эти
Вызывают не радость, а страх.

Остроклювые тонкие ветки,
Корабли чуть поменьше ворон,
И чуть дальше – дома в снежном блеске,
Подпирающие небосклон.

И робеет душа от такого
Беспощадного света в глазах,
Словно бешено и бестолково
Мы скользим по реке на коньках...

Любимые птицы предместий –
Дворов гостевые вороны,

Живущие, словно им ветер
Диктует иные законы.

Свидетели нашего века –
Как будто на белом экране
Мелькает попытка побега
Куда-то, чему нет названия.

Послушайте, не умирайте!
Уйдя – возвращайтесь к нам снова,
И древней оливы не знайте,
И тёмного мёда ночного,

Не знайте ни зла, ни обиды,
Ни марева Летнего сада,
Как будто ещё не убиты
Надежды, и спорить не надо –

Ни хлеба ржаного застолья,
Ни памяти ржавой ограды,
Но только остатки неволи,
Чему вы наверно так рады...

Голоса над бездорожьем,
Посвист вьюги в полутьме –
Очевидно, осторожно
Дело близится к зиме.

Вдоль путей на полустанке
Чуть поблескивает снег,
И везёт с картошкой санки
Незнакомый человек.

Пробегают две собаки
Через привокзальный сквер.
Проступает в полумраке
Толстый милиционер.

Свет ложится осторожно
На вагонное окно...
В этом крае придорожном
Время кончилось давно –

Словно расставаясь с небом
И мерца на лету
Чья-то жизнь уходит снегом
Сквозь ночную темноту.

1 января

– Не хочется смотреть с балкона вниз,
На серых птиц, застывших у порога,
Особенно сейчас, когда повис
Ночной фонарь над старою дорогой,
Когда опять приходит невпопад
Ненужное желание свободы,
Покуда полуночный снегопад
Скользит по питерскому небосводу...

– Нет ничего, что ты бы мог хотеть,
Особенно сейчас, когда нет света,
И снег в окне мешает разглядеть
Следы и тени небольших предметов.

– Смиренность чувств не значит доброта,
Но лишь неумножение насилья!

– Ты думаешь? Но разве пустота
Не избавление, и мы забыли
Тот постепенно уходящий день,
Сырого снега масляную охру,
И фонаря оранжевую тень
Распластанную на дороге мокрой?

...Так много было сказано потом,
Что свет забыли погасить в прихожей,
Покуда снег шатался за окном,
Как новогодний выпивший прохожий...

– Не говори об этом никому,
Покуда снег летит за занавеской,
Вытягиваясь в длинную струну
И ветру отвечая звуком резким...

От нищеты самоуправства
До самой утренней черты
Лежит зимы холодной царство,
Где жители – лишь я и ты.

Мы ведаем, что не напрасно
Идём по зимнему пути,
Когда холодное пространство
Встаёт, как полдень, впереди.

А, главное, что все понятно:
Жизнь проживая на бегу,
Невольно оставляешь пятна
В ночном нетронutom снегу –

Как будто выстуженным садом,
Полузабытых мест жильцы,
Бредут две наши тени рядом,
Погодки или близнецы...

Конец зимы

– В Саратове – 10, разгар воскресенья,
А в Питере только светает чуть-чуть,
И кажется, нет никакого спасенья
От скверной погоды и прочих причуд

Уставшего времени... Видно, пора мне.
Наверное, так же, в канун темноты,
Уходят из дома и книги и камни,
В пространстве свои оставляя следы.

– Послушай, скажи мне, зачем нам все это?
Сегодня так тихо, а ночью, впотьмах,
Неяркие пятна вишнёвого цвета
Как детские свечки горят в зеркалах!

– Гражданка Картошкина! – в том то и дело,
Что нет на земле ни больных, ни святых,
Что лампа настольная перегорела,
И ветер за окнами, кажется, стих.

На детской площадке у нашего дома
Затихли шаги, не оставив следов,
И ветер несёт по кварталу пустому
Осколки разбившихся вдребезги снов.

Метафизика свободы –
Горечь палого листа...
После солнечной погоды
Наступили холода.

В палисаднике у дома
Ходят с видом знатоков
Недовольные вороны
Католических цветов.

Чтобы спрятать дом от пыли
И дорожной суеты
Мы в ночном ларьке купили
Черно-белые цветы.

Тени их на книжной полке
Отражаются в стекле,
Словно прошлого осколки
На оттаявшей земле,

Где листва сырым железом
Кроет битое стекло,
И в пространстве бестелесном
Наше время истекло.

Чёрные листья на старой поломанной сливе
Тихо звенят. Дует ветер у нас на заливе.

Небо темнеет. Изменится скоро погода.
Ждать до зимы нам осталось примерно полгода.

Жизнь продолжается. Время стоит неподвижно.
Птицы склевали последние сладкие вишни.

Время стоит. Мы летим, мы торопимся, скоро
Станет желтеть редкий лес на краю косогора.

Перед дождем летний сад по-осеннему светел.
Кружит листву никогда не стихающий ветер –

Тихо, на ощупь, несмело, неторопливо...
Тихая жизнь. Вечный ветер над гладью залива.

Татьяна РИЗДВЕНКО

ПАН

Роман

- Есть в зале врач?! – кричит хорошо одетый мужчина в партере.
- Врача, врача, – подхватывают все, – врача!
- Есть! Я – физиотерапевт, – сутулая фигура встает на балконе второго яруса.
- Коллега! Скажите же, что это прекрасно?!

Дунин улыбнулся ан еждоту, и тут ему ударило в грудь. Бляха-муха, больновато, больноватенько.

Сесть. Лечь.

Дунин оперся на ближайшее к нему: гигантский типографский стол, размером с теннисный. Присел. Лег. Подтянул себя на середину.

Хорошо. Полежу тут, подожду, пока не пройдет, подумал Дунин, ой, бля, как больно.

Родной и понятный, кружил, завывал, лился и погромыхивал Пендерецкий.

Это еще что.

Год назад Люда Терехина кинулась, дура, в окно. Обернутая обоями... Дорогими, красивыми, они ремонт делали.

Осталась жива, Господь милостив!

Но почерк сразу виден...

Просто он ставил над ними эксперимент.

(Они это поняли сильно позже.)

Не методический, не педагогический, какой-то свой. Собственные, непонятные им цели преследуя.

Он казался веселым проходимцем. Шутом гороховым, развлекающим их и себя странно и причудливо.

Причем на казенный кошт.

(Проходимцем он и был, но веселым ли, вот вопрос.)

Предмет назывался ТСО – технические средства обучения. Тогда список этих средств был невелик: фотоаппарат, проекторы, недалеко ушедшие от волшебного фонаря. Какие-нибудь простейшие трансляторы.

Татьяна Риздвенко окончила худграф Московского педагогического университета. Была художником по росписи фарфора, преподавателем живописи, журналистом, копирайтером, руководила литературной студией для подростков в Доме Щепкина. В настоящее время работает в сфере рекламы. Живёт в Москве. Стихи, рассказы, рецензии печатались в журналах «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», «Арион», Вестнике современного искусства «Цирк "Олимп"», поэтических антологиях. Автор трёх поэтических сборников. В «Волге» публиковались стихи (2015) и проза (2017, 2018).

Кассетный, о боги, магнитофон.

Преподавать, по сути, было нечего. Теории на одну пару, и практики на пару же.

Преподавателя звали Гоч, фамилия такая. Длинный, рыжеватый, шулерского вида. Лоб – нотный стан, в глубоких продольных морщинах. Ассоциация, как позже выяснилось, подходящая...

Старый, лет сорок пять.

(Влитый же Коровьев, даже пиджачок оттуда! Это они уже позже догадались, соотнесли...)

И при нем ассистент, гладкий черноволосый очкан, помоложе лет на десять. Малой.

Вдвоем преподавать такую ерунду! Спецкурс, курам на смех. Шайка проходимцев...

На третье занятие Гоч принес пузатый магнитофон.

Сказал:

– Господа! (Они напряглись, застыли с примерно одинаковым кривым выражением губ.) Я поставлю вам одну музыкальную запись. Вам предстоит не просто слушать... нет! Вам нужно будет ее овеществить – музыку. Придать форму... Позвольте музыке овладеть вами! Вашими творческими импульсами. Рисуйте, лепите, рвите. Красьте! Вы же творцы... Изобретите новые художественные приемы. Удивите себя... и нас с Дмитрием Ивановичем. Повинуйтесь музыке. Отдайтесь ей!

По аудитории пробежал гоготок. Они были не то что сексуально озабочены, – сексуально увлечены, отдаться понимали только в одном смысле.

Гоч оделил каждого бумагой, карандашами. Выставил на стол банку ПВА. Акварельные краски у студентов-художников имелись собственные. Надергал и раздал по пучку медицинской ваты.

Странные эти приготовления, как в операционной, их, мягко говоря, озадачили. Они ворочали глазами, гримасничали, сжимали губы. Рты и щеки распирали смехом.

Гоч наконец закончил. Он встал перед ними – прямой и торжественный – дирижер перед симфоническим оркестром, и как бы даже подросток на пару сантиметров.

– Готовы?! – спросил внушительно.

Они пожали плечами, осторожно покивали, чтоб через щели губ и поры щек не выдавился смех.

Откуда они знали, готовы ли?

К чему?

Хором, что ль, отвечать ему, как на плацу, с эхом:

– ГА-ТО-ВЫ-ВЫ-ЫЫЫ!

Гоч с хрустом включил магнитофон. Будто раздавил крупное насекомое.

...Га, это, что ль, музыка? Они переглянулись. Это – музыка? Это?! Нервная, хаотичная, дерганая нудятина.

Звуковая каляка-маляка.

Блин, и депрессивная...

То пальцем по стеклу.

То соло на бельевого веревке.

То будто попал в звенящее облако комаров...

Мутная, тревожащая, нервная. Ни ритма, ни мелодии.

Вот тоска...

Гоч с воодушевлением смотрел на них всеми своим морщинами: ну?!

Кивнул на бумагу, вату, клей.

Они вдруг почувствовали себя детьми, которым велят разбрасывать игрушки, писать в трусы и кидаться манной кашей.

Но – не хватало веселой безысходности, заставившей Пьера Ришара принимать ванну в костюме...

Музыка была варварская, разрушительная. В ней вилась вседозволенность, свободу опознали значительно позже...

Эта музыка ломала каноны. Что, видать, и придавало ей вандальское звучание.

Дунин решился первым. Он с хрустом, длинным и широким движением, сверху донизу порвал лист...

Людка неуверенно комкала бумагу своими в медных кольцах тонкими пальцами. Толстый ватман, смущая, грохотал как кровельное железо.

(У них не было привычки рвать и мять...)

Лиза задумчиво разбалтывала в банке с водой синюю краску, любуясь диффузией и оттягивая дальнейшее.

Игнатьев, паясничая, пощипывал вату.

Наташа Саакянц замерла с ножницами в руках и таким выражением лица, будто резать предлагалось не бумагу, а человека.

Музыка звала наводить хаос.

Понемногу все пришло в движение. Они рвали, мяли, красили, клеили. Постепенно, по чуть-чуть, входили во вкус. На столах вырастали нелепые, некрасивые, негармоничные, под стать музыке, сущности.

Мятые уродища со свисающими клочьями ваты, в синяках и потеках.

На мгновение Дунин отвлекся от ваты и клея. Гоч сидел у доски, нога на ногу, и с веселым азартом наблюдал происходящее. Дмитрий Иванович, его гладковолосый напарник, смотрел на четверокурсников не мигая, скрестив на груди руки с полноватыми кистями.

Музыкальная тема катила ржавым колесом, со скрежетом и визгом. Она меняла сюжет на ровном месте. Вдруг – здесь ее никто не ждал – запела женщина. Впервые в музыке проступило что-то человеческое, что напомнило о музицировании, симфоническом оркестре, опере, и тут Гоч нажал на клавишу.

Оказывается, пара закончилась...

Они осмотрелись.

На столах стояли, если это слово применимо к мятым бесформенным сущностям, их... эээ... произведения. Вдохновленные странной парадоксальной музыкой и, в куда большей степени, инстинктом вседозволенности.

Болезненным куражом.

А Гоч-провокатор выглядел довольным! Длинные белые пальцы приплясывали. Каждый объект, нависая и приседая, Гоч снял с нескольких точек тяжелым «Зенитом».

Тоже техническим средством обучения...

В заключение Гоч сообщил, что планирует проводить подобные *творческие акции* регулярно – и вышел вместе со своим гладким ассистентом.

Четвертая группа стыдливо переглядывалась. Свиньи, вылезшие из них, шмыгнули обратно, предоставив убираться в хлев аудитории. Расхлебывать. Вытирать столы, брезгливо комкать объекты, созданные музыкой польского композитора.

О котором они тогда услышали впервые...

Фамилия композитора была как из анекдота.

Практически мат.

Вторая фамилия тоже была смешная, под статью первой.

Где Гоч их откапывает?

Простому русскому уху мерещились в ней упертость, пот, пятка, пятерня.

Пярт.

Но музыка была поприличней, чем у первого...

Поприятней, помелодичней.

Движения навевала более плавные. Они не мяли-рвали-дергали, а медленно скручивали, методично жали и красили. Несколько человек, не сговариваясь, выдали такую пластическую ре-

акцию: на полосках бумаги, как на воблерах, качались клок голубой ваты, или бумажная жатая роза-комочек, или какое-нибудь спонтанное оригами.

Гоч у зеленой доски-раскладушки стал их единственным восторженным зрителем, Гладкого в тот день не было.

Смотрел этот их то ли балет, то ли зверинец, про перфомансы тогда толком не слышали...

Через полтора часа он щелчком клавиши вывел их из морока и, не дав очнуться, вскочил, разразился аплодисментами. Эдуард Львович (такое у Гоча было помпезное имя) хлопал как стадион болельщиков, широко разводя ручищи...

Они слегка прифигели, честно. На факультете такое было не принято. Даже максимальные похвалы, самые высокие оценки были скудные и сдержанные. Друг друга-то гениями звали, ясно дело, гений шел за разменную монету...

Но преподавы придерживались иного мнения.

А Гоч аж вскочил. Разве что цветами их не осыпал. И поцелуями.

И стал «Зенитом» снимать ими содеянное...

Через неделю снова врубил Пендерещкого.

– Эдуард Львович, – вступила с музыкальным образованием деликатная Саакянц, – а нельзя что-нибудь полегче? Помелодичнее... Чайковского. Стравинского. Шостаковича, на худой конец...

– Господа! – Гоч упорно называл их господами. – Это вам не музыкальный фон! Не музыка для танцев. Не сладкий наполнитель! – он возвысил голос. – Это для ума, для интеллекта. Для развития. Слушаем, чувствуем, действуем! – проскандировал Гоч и нажал им Пендерещкого.

Не, ну он точно решил уморить их. Извести.

Минут через десять у чувствительной Лизы ни с того ни с сего пошла носом кровь. Зажимая нос выданной Гочем ватой, она выбежала.

Следом, молча скосив глаза на живот, ушла беременная Терехина.

– Я открою окно? – спросил Черных.

Оставаться в четырех стенах с этой музыкой было трудно. Хотелось сбежать, или лечь в узкий просвет между скамьями, стать в угол, прижаться к потолку. Как перфоратор за стенкой, она была непереносима.

Им ничего не оставалось, кроме как взяться за бумагу, кисти и за эту мерзкую, кто его вообще надоумил, вату. На то занятие Гоч притащил несколько рулонов тусклых дешевых обоев с невнятным невыразительным рисунком и пару пачек восковых мелков, они тоже пошли в дело.

Они тогда, почему-то, спонтанно объединились в группы, будто им было тошно или страшно. Парами, тройками, только Игнатьев и Саакянц гордо страдали в одиночку.

Музыкальная пьеса оказалась длиннее пары. Когда все закончилось, они слегка оторопели. Кошмар, странным образом, увлек их.

Они стояли, с удивлением и смущенной гордостью рассматривали содеянное. А прикольно получилось!

Уже не переглядывались, музыкальные акции перестали заражать их смехотой.

Да уж, ничего смешного...

В объектах по-прежнему было много разрушительной стихии, деструктивного пафоса, но, в отличие от первых подходов, стал виден замысел. Проступила архитектура мысли. Дунину впервые захотелось унести, забрать бумажное нечто, не куда-то конкретно, не в общагу, а ОТСЮДА, от корзины для бумаг, мусорного бака. В сине-красном чуде, похожем на макет для футуристического спектакля, осела наконец дунинская взбаламученность и муторная неуверенность в себе, которые эта чертова музыка в нем расковыряла.

В курилке Бобров с параллельного потока молча кивнул ему вниз. Черт! Белые кроссовки были в лиловых разводах. Как в синяках-кровоподтеках.

Этот ТСО выходил ему слишком убыточным...

Пытка Пендерецким продолжалась вплоть до февраля, а потом Гоч исчез, как растаял. Начались практики в школе, преддипломная подготовка, новые спецкурсы. Парни тогда помещались на ковке и пропадали в мастерской по обработке металла. Девочки, как заколдованные, ходили на керамику и гобелен. Сообща все игнорировали мастерскую по обработке дерева с ее токарными станками, стружками-опилками и странным, полутора метров росту, хтонного вида руководителем.

В начале марта поехали на межинститутский студенческий тренинг. Было круто: свалить из города всей группой на три дня, да еще и за казенный счет! Подготовились основательно: портвейн, теплая одежда, чистые трусы, зубная щетка. Поехали все, кроме дохлого рыхлого Побельского, у которого на любой случай находилась справка.

Они были так поглощены горячей дружбы, общения, стихией смеха, своей счастливо сложившейся институтской группой, что тренинг особо им не запомнился. Чужие студенты из других вузов тщетно пытались их расколоть, разомкнуть, втиснуться в тесный герметичный круг.

А вот пансионат, в котором все происходило, оказался неплох и стоил внимания. Архитектор, видать, был с придурью, будто Пендерецкого наслушался. Хаос форм, какие-то наплывы, повороты, нависающие кубы. Зато – высоченные потолки, это кайф, конечно. В столовку они спускались с кручи, как короли, и там внизу стояли столы, а сверху висела куском взбесившегося льда огромная люстра.

Шикарное место! Они там просто отрывались, с перерывами на лекции, анкетирование и командные игры. За пансионатом обнаружилось поле сухих борщевиков, зловеющая графика на фоне белого снега. Было весело сорвать серый зонт-скелет и с ним ходить по твердому, почти не проваливающему насту, а внутри золотилась первая дневная порция портвейна.

Отлично!

У Дунина тогда случился стремительный роман с Лизкой. У Лизаветы, все знали, был надежный жених из Бауманского, в очках высокий Герман. Благодаря этому знанию произошедшее было с горчинкой, украденный поцелуй, Лиза даже всплакнула, Дунин не понял, о нем или о Германе. Из угла укоризненно смотрел гигантский, до самого потолка, серый борщевик.

Игнатьев и Черных, соседи Дунина по комнате, бухали вместе со всеми в номере у Саакянц, куда любовники по очереди вернулись.

Все было хорошо на том тренинге, только вот кормили отвратно. Унизительный контраст с величавостью столовой. Не вкусно и не сытно. Не еда, а пища. Корм.

В последний день, а всего их было три, за обедом кто-то, кажется, Игнатьев, крикнул: Пендерецкий! Наткнул на вилку мятую салфетку и отсалютовал всем остальным.

Интеллигентная Саакянц поперхнулась, закашлялась, Любаша хлопнула ее по спине.

Но вскоре все, как заколдованные, с криками «Пярт! Пярт! Пендерецкий!» сооружали из тарелок и остатков еды, приборов и салфеток динамические композиции.

– Пендерецкий! (пук салфеток в остатках супа на вершине посудной башни).

– Пярт! Пярт! Пярт! (избиение картофельного пюре).

– Пендерецкий! (табуретку на стол, сверху многоэтажка из стаканов, увенчанная серой котлетой).

– Пярт! – карточный домик из ломтей ноздреватого хлеба.

Они закончили одновременно, будто невидимый Гоч нажал на кнопку. Вырубил какофонию, звучащую у них в головах.

Ушли, не оборачиваясь на безобразный, но в чем-то, конечно, выразительный перформанс – выставку хамских выходов тире находок.

Спустя пятнадцать минут в столовую вошла работница столовой Прокошина Ольга Валерьевна. Жительница соседней деревни Ковылки катила громающую, будто развинченную кухонную каталку. Увидев оставленный студентами настольный армагеддон, отвратительный хаос и погром, пожилая женщина, много чего выдавшая на своем веку, неожиданно перекрестилась.

Ольга Валерьевна взмахнула мокрой тряпкой и крикнула в сторону входной двери: «Горите в аду, сучьи дети!» – после чего со вздохом принялась за уборку.

История обеденного помешательства вылилась в локальный скандал. Их вызвали в деканат. Замдекана, дама лет пятидесяти, смотрела брезгливо, с отвращением. «Будущие учителя! Худ-д-дожники! Историю иску-у-усств изучаете! И такая мерзость!»

Дунин выступил за всех. Рассказал, как было дело, включая культурологическую предысторию их выходки. Странные оправдания замдекана выслушала на удивление внимательно, чутко.

– Гоч? – переспросила, подняв чрезмерные брови. – Эдуард... Львович, кажется?

– Эдуард Львович, – загалдели они. Было сильно стыдно. Со стороны история выглядела хамской.

– Пендерецкий, – задумчиво сказала замдекана. – Я знаю его музыку. Согласна, трудная... Где-то даже депрессивная... Но при чем здесь свинарник в Катищево?!

После истории с пансионатом быстро забыли и Гоча, и Пендерецкого, и Пярга. Изредка кто-то говорил пароль: «Пендерецкий!» – но все кисло хмыкали, гримасничали, отворачивались.

Потом в стране наступил полный Пендерецкий. Все рушилось, но что-то и возникало, и тоже рушилось, изменения шли хаотично, додекафонично, был в этом какой-то темный арт, будто умысел перформансиста, какого-то всеобщего Гоча.

А вот нормальной музыки не было, кроме всякой попсовой дряни, льющей из каждого утюга.

Пендерецкого с Пяртом точно. Где вообще Гоч их откопал?

Кто его научил?

И зачем?

Теперь-то любая/всякая музыка сделалась доступной, только руку протяни, и художнику Дунину, доценту КАШГУ, пришла в голову шальная (ностальгическая) мысль послушать этого самого Пендерецкого, Кшиштофа.

Классика, вечноживого.

Идея посетила Дунина в мастерской. Отдельно стоящее во дворе института небольшое здание скульптурной мастерской трижды в неделю посещали студенты художественного факультета многопрофильного вуза. В остальное время Дунин царил здесь сам-один, наслаждаясь каждым кубическим сантиметром стометрового пространства. Каждой минутой, в нем проведенной. Было бы можно, он взбесившимся атлантом повалился бы на потолок, ящеркой побегал по стенам, написал бы вид мастерской сверху, с четырехметровой высоты. Все свободное время Дунин проводил здесь, лепил, рисовал, принимал частных учеников, гостей, друзей, даже иногда по выходным, под мнимо-укоризненным взглядом жены, уезжал сюда поработать.

Здоровенный казенный компьютер с быстро нагревающимся блоком стоял в большой удобной подсобке, которую Дунин трактовал как кабинет. Комп препод использовал исключительно для просмотра рабочей почты, плюс каждое утро определял себе на день музыкальный контекст. Студенты давно привыкли к причудам препода, слушая вместе с ним то Лед Зеппелин, то Дорс, то Чайковского с Григом, то *Картинки с выставки*, то вдруг Юрия Лозу или смешных Карамазов Твинс.

В четверг, день-без-студентов, Дунин с дымящейся кружкой кофе выбирал себе музыку дня. Тут-то художника и осенило: Пендерецкий!

Загуглил, посмотрел странное лицо. Скорей какой-нибудь фермер, не знаю, сыровар, чем композитор. Только глаза демонические, черные буравчики, не-сырные.

А уж понаписал дед за свои восемьдесят с лишним!

Дунин разматывал долгий список симфоний, опер, хоров, концертов, пытаясь угадать, какими из них мучил студентов Гоч. Далекий от музыки, читал-разбирал тарабарщину названий.

Выбрал *Плач по жертвам Хиросимы*. Стоял апрельский солнечный день, и так било светом в частый переплет больших окон, что Дунин был готов к какой угодно мрачности, и даже внутренне настаивал на чернухе и депрессняке.

На том, чем запомнился высокому кудрявому студенту маэстро Пендерецкий.

Сначала музыки будто не было. Дунин проверил, вроде работает.

Пошел с кофе по мастерской, следом за ним пошла музыка.

В нарастающей струнной истерике, дымя кофе, скульптор прохаживался по солнечным квадратам пола, слушая музыку в себе.

В углу стояла огромная бобина пупырчатого оберточного материала, переливалась и горела упавшим солнечным лучом. Дунин, студенты, другие посетители мастерской, включая охранника Олега, иногда воровато заходили в угол и, прикрыв глаза, сладострастно щелкали пузырьками: ррраз-раз-раз.

Скотч, степлер, пупырка: как быстро пан Пендерецкий, или это маленький незабываемый Гоч командовал Дуниним, нашли себе материалы.

Макетный нож с алой ручкой.

Банка черного акрила.

Беснование струнных, страх, ужас, нарастающий вой, пупырка, клей, черная краска, щелкающий, кусающийся степлер, макетный нож: Раз! Раз! Так тебя, так!

Хиросима закончилась. Дунин вбежал в подсобку, яростно тыкая мышью, поставил на повтор.

На двадцать второй раз Дунин и Пендерецкий кончили одновременно.

Призрачный воющий ужас: в полтора Дунина здоровенный объект стоял посреди мастерской. Полупрозрачный то ли иероглиф, то ли какая-то выпущенная кишка, то ли черт его знает что. Штуковина удивила ее автора законченностью образа и лихостью сборки. Будто работе предшествовали полгода почеркушек, эскизов, пространственных макетов: всего того, чем Дунин терриоризировал студентов.

Кружка остывшего кофе стояла на полке стеллажа, I love Lviv горело золото на алом боку. Солнце играло в альвеолах пупырки. В сужениях и загибах было подмазано черным акрилом, выделялся черный воющий то ли рот, то ли воронка. УЖАС горел, сиял и переливался, не становясь оттого менее ужасным. Дунин перевел глаза на собственные руки, зачем-то коснулся бороды.

Задвинул легкий, невесомый УЖАС в дальний угол. Заставил, как мог, мольбертами.

Несколько дней после странной, возмутительно-вдохновляющей Пендерецкий-сессии скульптор ходил тихий, будто влюбленный, со студентами был внимателен, почтителен, нежен.

В эти дни не было музыкального сопровождения, студенты сразу заметили своеобразную натуру пространства, где всегда происходило какое-то звучание. Музыка, да еще миллион всяких-разных мыслей звучали-крутились у Дунина в голове и занимали весь ее объем, от уха до уха.

Дунин ничего никому не рассказывал и уж тем более не показывал. Скульптор, однако, вспомнил, что в Facebook есть закрытое сообщество их институтской группы. Зашел, пробежался по ленте, посмотрел фото, почитал посты, новости. Народ выкладывал информацию в основном о выставках, о педагогах. Пару из них, совсем уже пожилых людей, стариков, они по очереди навещали.

Дунин тут же забыл, зачем он здесь.

Растаял!

Приятно, все свои...

Эх...

До детских припухших желез.

После ностальгического провала длиной не менее часа Дунин все же собрался, почесал под бородой, написал:

ПЕНДЕРЕЦКИЙ

Подумал, добавил, вопросительный знак.
ПЕНДЕРЕЦКИЙ?

Как ни прятал Дунин УЖАС, глазастые студенты обнаружили его почти сразу.

– Михаил Игоревич, ой, а што это? – спросила Анфиса Евграфова.

Анфиса Евграфова. Надо же, два Ф. Такая фонетическая диверсия не могла быть случайностью, подумал вдруг Дунин.

Нужно уточнить, не Федоровна ли она.

– А что-то я раньше ее не видела... Новая?

– Так... Поэкспериментировал немножко, – сказал Дунин, впиваясь в УЖАС жадным взглядом. – Анфиса, а как тебя по батюшке?

– Ильинична, – не удивилась студентка. – А можно поближе посмотреть?

Дунин раскидал мольберты, вытащил огромный легкий УЖАС на середину мастерской.

Второкурсники сгрудились вокруг их с паном Пендерецким совместного творения.

– Ого, – протянул Луцкий. – А я думал, вы только станковую живопись признаете... Кроме скульптуры. Лэндскэйпы... А тут прямо современное искусство. Концептуализм. Как она называется?

– УЖАС, – сказал Дунин.

– Ноггор? – уточнила Сердынина.

– Нет. Именно УЖАС. С большой буквы, прописными.

– А как это вы? Что за техника?

– Почему ужас?

– Михаил Игоревич, а можно снять? Ой, а станьте рядом, – студенты, наставив смартфоны, забегали вокруг.

– Это очень... выразительно... и говоряще, – старательно подбирая слова, произнесла с розовыми волосами умненькая Илона.

Дунин посмотрел на нее внимательно, сдержанно кивнул.

Чтоб вернуть студентов обратно к столам и станкам, пришлось затолкать УЖАС обратно в угол и набросить на него мешковину, как на настоящую скульптуру.

В телефон полез, только когда все разошлись.

Под его утренним сообщением выросла бородашка комментариев.

Еще один...):):)

Пан?

Дунин, ты жив?

Пендерецкий форева!

Миша, поосторожней там. Напишу в личку.

Чем кончилось?))))

Пярт! Пярт! Я Пендерецкий...

Похвалишься?

Дунин почесал в бороде и выложил в комментариях фото УЖАСА.

– *Офигеть*, – Игнатьев.

– *Сильно...* – Лизон.

– *Дай угадаю*, – написала Саакянц. – *Плач по жертвам Хиросимы?*

Оказывается, все они давно баловались Пендерецким. И обсуждали это, аккуратно. Игнорирующий соцсети Дунин был ни сном ни духом.

...Они с Черных – тот написал ему в личку сразу же и приехал через два дня – разлили по пять-десять. Черных уже успел восхититься и, по-доброму, позавидовать мастерской. Он ходил и ходил по ней как заколдованный. Несколько помещений! Столы, турнетки, станки! Густо, но разумно и методично заполненные стеллажи. Стратегические запасы глины и скульптурного пластилина. Десятки дунинских и, отдельно, студенческих работ.

Экорше! (Леша ностальгически вздохнул.)

Имелась здесь даже раскладушка, Черных уважительно поднял брови...

Черных осмотрел дунинские пейзажи, бесконечные речки, Польна-Важа-Тяжа-Скалба-Шексна-Шерна-Мжуть. Сдержанно похвалил.

– Молодец! Я-то все больше в графических программах тружусь... А ты верен холсту и кистям. И акварели, это ты вообще герой... Вот, блин, цельная натура. В фейсбуке не сидишь, как все мы... Горжусь тобой, Мишаня!

– Погоди, – сказал Дунин, – чего покажу! Да ты видел, я ж выкладывал...

Он сдернул мешковину с УЖАСА, вытолкал его легкое тело в центр мастерской.

– Пиздец! – выдохнул Черных. – Двадцати лет как не было. Призрак Гоча... Слушай, ну это круто.

– Думаешь? – усомнился Дунин. – Я вообще не понял, что это такое... Что это было... Как без моего участия произошло, веришь?

– Реально мощно... Образ сильный. Формы. Масса. Впечатляет... Но нужна серия! – сказал Черных уверенно. – Одна работа – это случайность, понимаешь?

Дунин посерьезнел и как бы заскучал. Черных между тем понял его правильно:

– Да, ты с ним поаккуратней.

И тогда Черных рассказал про Побельского. Их бывший одноклассник занимался с талантливым мальчиком, давал частные уроки. Стандартный набор: живопись, рисунок, станковая композиция. Готовил парнишку к поступлению, в Махл-Рах. И решил, дубина, как когда-то им – Гоч, раскрыть парню чакры. И завел Пендерецкого! Что именно завел, я не знаю, да это и не важно...

Черных плеснул коньяка себе и Дунину, сложил бутерброд из хлеба и сырокопченой колбасы. – ...И что там у них произошло, никто точно не знает. Побельский не уточнял, он всегда был мутный, вязкий, ты помнишь. Но явно какая-то грязная история. Как говорится, что-то пошло не так. Не те чакры раскрылись... Побельский рассказывал, но темнил, не договаривал, умалчивал. Но, Миша, заметь, сам позвонил! Сам рассказал! Ему важно было поделиться с теми, кто знал, откуда у этого беса ноги растут...

– Йоп... Чем кончилось-то?

– До суда не дошло. Родители мальчика замяли дело.

Дунин брезгливо присвистнул.

– И как он теперь? Побельский...

– Уехал в Израиль, лет пять как. Работает чуть ли не на стройке... Рисует. Ходит с этюдником по горам Галилеи. Преподавание бросил, от греха.

Они выпили, мрачно брякнув глазурованными керамическими стопками.

– ...Эффект непредсказуем! Кого-то одарит, а кого-то, вишь, накажет... Пан Пендерецкий. Вот, кстати! у Нельки Васильевой была выставка два года назад. Она тебя звала, ты не доехал. Ты ж в фейсбук не ходишь, сообщения не читаешь... Все наши были, в галерее на Влахернском бульваре. Миша, это взрыв мозга! Никто не ожидал такого... От Нельки. Беспредметная керамическая скульптура. Вроде чушь, да? Даже звучит по-дурацки... Но, на выходе, – просто сенсация. В «Афи-

ше» написали... Всю коллекцию забрал московский музей ДПИ... Миша, это не могу передать как круто... Они, музейщики, правда, трактовали серию как современный средовой дизайн, но какая, на фиг, разница.

– Я не понял? Это что, Пендерецкий?

– Да! Конечно... Васильева, видимо, из благодарности, серию так и назвала: ПАН. Хитро, да? Но звучит хорошо, загадочно, интеллектуально... И с керамикой вяжется. Это до тебя дошло как до жирафа... Но, Миша, я предупредил: очень осторожно! Только в одиночку... Он непредсказуем. Не вздумай студентам его включать! Тебе... есть что терять, – и Черных обвел мастерскую мечтательным взглядом.

Пугливый и консервативный Дунин был так всем этим смущен, что повторить опыт решился только через полгода. Летом он много писал. Съездили со студентами на пленэр, в Тутаев. Отлично поработали, ребята молодцы, и препод, само собой. В конце октября запланировали выставку в институте. Дунин почти забыл о Пендерецком, но когда вошел в мастерскую и увидел УЖАС, аж затрясся. Даже давление поднялось.

...Что может быть лучше акварели, говорил себе Дунин, и повторял это студентам, как заклинание. Приручить акварель – стать сверхчеловеком: стихии в ней столько, что можно захлебнуться. Написать мотив любой сложности. Поздний вечер, туман, дождь, догорающий костер.

Темный натюрморт, черное на черном.

Какое там, на фиг, современное искусство! Не смешите меня...

Ярким октябрьским днем, прямо с утра, врубил *Страсти по Луке*.

Выставку сделал кулуарную, для своих, здесь же, в мастерской. Двенадцать объектов, символично. На самом деле опасливый Дунин, конечно же, как огня боялся числа тринадцать.

Учитывая, каким образом он добывал себе вдохновение, опыты с Пендерецким правильно было бы на этом завершить.

Дунин с женой, похудевшей ради такого дела еще на два кило, устроили щедрый фуршет. Заказали несколько ящиков приличного пино гриджо. Жена отказалась от идеи кейтеринга, сама накрутила миленьких тарталеток, крошечных бутербродов, закусок на шпажках. Даже одноразовую посуду купили не бумажную, не из мнущегося пластика, а из твердого и цветного.

Ради важного события и красоты приема хозяин мастерской соорудил барную стойку: положил на козлы широкую доску-сороковку, выкрасил синим. Петрово-водкинский оттенок, подумал Дунин.

Студентов на открытие выставки он, естественно, не позвал, не по чину, но устроил им предпоказ с кофе, печеньками и бутербродами. Они все-таки были у него первыми зрителями. Мнительный тонкокорый Дунин ценил такие вещи.

Анфиса Евграфова, первопроходица, сверстала ему для выставки стильные шильдики.

– Пен... что за... Пен-дерецкий? – спросила она, разбирая текст. Дунин написал названия карандашом на листке из блокнота. Почерк у него всегда был убийственный, как у участкового терапевта из районной поликлиники.

– Пан Пендерецкий! Кшиштоф Пендерецкий. Польский композитор-авангардист! Живой классик...

– Так классик – или авангардист? – не отставала буквальная Евграфова.

Смущенный Дунин выкрутился, увел разговор, перешел на более понятные материи, на музыку для кино: Кубрик, Shining, «Сияние» (не видела? деревня!), серии из Twin Peaks, и Анфиса отстала.

Собрались все свои. Человек десять бывших одноклассников. Пришел Макс, сын от первого брака. Несколько знакомых из новейшей истории. Пара преподавателей-коллеги, ставших друзьями. Саакянц привела Алину Шпак, известную арт-критикессу, знакомую подруги. Это был акт заботы о нем, Дунине, и проявление дружеского участия.

Нарядный ушаченный Дунин, постриженный в бра-шопе BARA_DA!, сиял и светился. Жена, в мастерской он увидел ее отстраненным взглядом, выглядела совсем тоненькой и до странного молодой. Весь вечер Дунин старался не выпускать Нюту из поля зрения, но, конечно же, то и дело выпускал.

Дунин тщательно продумал экспозицию, сценарий вечер, с помощью, разумеется, жены. Он не запустил гостей в помещение с объектами, а удерживал вином и закусками в принаряженной подсобке. Повеселевшие гости окружили импровизированную стойку, и, кажется, совершенно забыли о цели визита.

Тут-то с модной бородой Дунин сказал им, разгоряченным:

– Ну что? Готовы?

Нескольким гостям померещилось в этой его реплике что-то знакомое. Дежавю. Остальные, очарованные тусовкой и пино гриджо, очнулись. Гуськом, не выпуская из рук бокалов, гости потянулись осматривать экспозицию.

Двенадцать объектов, демонические подсвеченные снизу, высились: *УЖАС. СТРАДАНИЕ. ЧИСТИЛИЩЕ. СОМНЕНИЕ. ВНЕЗАПНОСТЬ. ОДЕРЖИМОСТЬ. СТЫД. АГРЕССИЯ. НЕОБРАТИМОСТЬ. БЕСПОМОЩНОСТЬ. ПАДЕНИЕ. БЕЗУМИЕ.*

Мрачная, трагическая выразительность скульптур едва-едва балансировалась отличным белым вином, радостью встречи, ощущением праздника.

Поскольку суть выставки, содержание и характер объектов удерживались в тайне, эффект получился по-настоящему сильный. Сделанные в основном из формованной пупырки (но до этого нужно было еще докопаться), скульптуры стояли двенадцатью привидениями, сталагмитами. Ослабленные пино гриджо, гости испытали шок. Резкая, трезвая, затянутая в черное, огромными шагами ходила между объектами Алина Шпак. Арт-критик расстреливала скульптуры из смартфона. Преданная и нежная Нюта, когда забывала играть роль светской женщины и жены гения, с тревогой следила за передвижениями Шпак, смотрела на лица гостей, отслеживая реакцию.

– Я правильно поняла? – басовитым шепотом сказала подошедшая, очень эффектная в черном Саакянц. Наташка отлично выглядела, стройная, сухая, с плоским животом, как 20 лет назад. Еще вполне себе.

– Что? – тоже шепотом переспросил Дунин. – А. Да.

– Ничего такой ресурс, скажи? – возбужденно оглядывалась Наташа. – Завещание нам оставил... Вот тебе и шут гороховый...

Черных пришел с третьей женой, она выглядела лишь немногим старше Евграфовой. Полина.

– Это удивительно. Правда! – подойдя, сказала Полина пылко. Она была с роскошным образом типа физтеха, работала в Яндекс, заметно превосходя мужа в зарплате (в чем тот смущенно признался Дунину, когда был в мастерской в последний раз). – Я даже представить не могла! Думала: речки, купола, рябина... А тут такое...

Дунин галантно поцеловал гладкую, в кольцах, смуглую руку, и накрыл своей ладонью.

– Полина, Полина! Боже, Черных, старый гриб, где ты взял такую прелесть?

– Где взял, там нет, – отрезал Черных, слишком жестко для гостя с бокалом пино гриджо. – Погуляй пока, детка, – сказал он жене, как дочке, поцеловал в русский пробор, ласково подтолкнул ее в выгнутую стройную спину.

– Ну что, работает скважина? – Черных обвел взглядом мастерскую.

– Да, Леша. Но я все, завязал! Достаточно...

– Вот и я о том же. Чтоб не захлопнулся сезам. Не выберешься...

– Да не дурак, все понимаю.

– Кстати, парни, – подружила к ним с бокалом румяная сияющая Люда Терехина, мать троих детей. Старший родился как раз в конце четвертого курса, через несколько месяцев после Пендерецкого. Дунин, склонившись, приобнял однокурсницу за скульптурные бедра. – Я видела Гоча!

Пендерецкий, Сияние, – прочитала Евграфова.

Он был четвертым в списке, между ХИЛАК ФОРТЕ (купить, принимать 3 р. в день по 30 капель за 15 минут до еды) и напоминанием о походе к ортодонту 15 мая. Анфиса носила ретейнеры на нижней челюсти, они должны довершить начатое брекетами.

Всего в списке было пятнадцать пунктов, духовное безо всяких церемоний перемешано с материальным.

Анфиса набрала в поисковике *Пендерецкий* и аккуратно красной ручкой вычеркнула четвертый пункт из списка.

Музыка показалась странной. Добровольно она и пяти минут бы не стала слушать. Удовольствия никакого, ни даже интеллектуального шарма, но пытливой Евграфовой было интересно разобраться, почему ее симпатичный препод говорил о поляке с придыханием и каким образом тот связан с выставкой. Она слушала добросовестно, минут сорок.

По прошествии которых написала Федорову.

Что у тебя сегодня вечером?

Nothing.

Посмотрим «Сияние»? Ты видел?

No. What's this? Shining.

Ужасы. 8ой год. Стэнли Кубрик.

Буэ... Клуб любителей ч/б?

Федоров, мне нужно, для одного дела. Вечером смотрим. Это приказ.

Yes, captain.

– Го-ча? – переспросил Черных. – Ты видела Гоча?

– Подожди, не рассказывай! – взмолился раскрасневшийся от белого Игнатъев. – Дай нам поуп... поупражняться в... короче, вдруг угадаем! Во что мог превратиться невероятный, непостижимый, нелепый Гоч. Совратитель юных душ... Есть предположения?

– Калифорнийский университет? Профессор какого-нибудь искусствоведения... modern arts и все такое, – предположил Дунин. На полном серьезе. Терехина год прожила в США, у мужа был контракт. Мало ли.

– Еще версии? – подзуживала, крутясь между ними, Терехина. – Кто больше? Дальше?

– Бомж! На Курском вокзале. Пендерецкий должен был на нем отыгаться..., – сказал мстительный Черных.

– Мне кажется, – сказала Наташа Саакянц очень серьезно, – я почти уверена... он запатентовал собственную методику! Какую-нибудь технику нейромузыкального, не знаю, воздействия. И у него сейчас авторская школа. И он продает свой курс корпорациям. Пакетами! Востребован, успешен, богат и знаменит. Сколково от него без ума. И тебя, Терехина, позвали писать его парадный портрет! Я угадала?

Рыжая Терехина, вращая головой, весело смотрела на них круглыми сорочьими глазами. Она чувствовала себя ведущей телевизионного шоу.

– Ну? Ну? Лизон, прояви смекалку. Люб?

Никто не разделял ее шутовского восторга. Всем страшно хотелось узнать, где же всплыл Гоч, прививший им чертову тягу к прекрасному...

От слова страшно.

Терехина наконец сдалась.

– Дети мои... Дорогие эстеты! Господа! Я была тут... не поверите... короче, оказалась на заседании писательской секции. Подруга позвала развлечься. Здешние типы, сказала, ты просто обалдеешь, мол. Я такая с блокнотом, карандашом, маркером, прихожу. Думаю, порисую заодно. Там же все с блокнотами, пусть думают, что я стихи пишу или роман. Приходим. И оказываемся, с подругой на пару, просто девочками среди старцев. Там младше 65 никого не было. Сплошь деды. Такие, с бородами, но не художественными, а писательскими. Большая разница. И не хипстерская, Дунин, как у тебя, у тебя, кстати, правильная борода. Но эти писатели, хоть и старые, а глазами на нас с Танькой: зырк! зырк! Мы внесли, короче, эротическое оживление. Сидим, слушаем. Я калякаю в скетчбук, типа, поэму пишу. А сама наброски делаю. Там такие типы! Один дед мне показался знакомым. Такой высокий, худой, лысоватый. И, в отличие от большинства, безбородый. Думаю, где же я его видела, этого гриба? У меня ж зрительная память... А когда он заговорил, сразу вспомнила. Голос этот его, с рыком. Заметный, запоминающийся. Гоч! Собственной персоной. Господа, так вот. Он – писатель. Наш Эдуард Львович, преподаватель ТСО, – писатель, причем – внимание! – фантаст. Я потом пригляделась: он и не сильно изменился, в общем-то. Не такой уж и дед. Он и тогда был без возраста. А вот пиджак, мне показалось, тот же самый. Там потом это заседание плавно перешло в пьянку, и я не выдержала, преодолела врожденную застенчивость (Игнатьев комически прочистил горло), подошла. Эдуард Львович, говорю? Он: да? Мы с вами знакомы, прекрасное дитя? Я: я – Люда Терехина, вы у нас преподавали ТСО. На худграфе. Он поморгал, не помню, говорит. Как, говорит, вы сказали, ТСО? Не припомню, и головой крутит. Я, девушка, где только не преподавал... Кем только не работал... А я прям не могу отстать, прицепилась к человеку. Пендерецкий, Пярт, говорю, помните? Вы нам ставили, магнитофонную запись. Еще кассетники были! Чтоб нам творческие чакры раскрыть? Неужели не помните? Пярт, Пендерецкий! Авангардные композиторы. А Гоч такой: знаете, Людмила, простите меня, но мне надо пойти Вячеслава Витальевича поприветствовать, зав. секцией художественного перевода. И прямо машет какому-то лысому, как с пристани. Вы не возражаете, говорит? И ушел, гад. Улизнул...

Помолчали. Лиза раскачивалась на пятках. Дунин поскреб шею под своей модной, трудной в носке бородой. Предложил подлить. К нему потянулись бокалы...

– Какой кошмар, – сказала Саакянц с отвращением. – Люд, ну ты порадовала...

– Худший вариант.

– Мы были для него просто расходники, – горячился Игнатьев. – Белые мышата с красными глазами. Может, он просто собирал материал для повести? Тьфу, мерзота...

– Шут. Шулер. Портной из «Нового платья короля». Но ладно мы, молодые дураки, легковерные... Но он же продал свой курс руководству факультета!

– Эээ... – произнес задумчиво Черных. – Кто из вас начитанный... Кто в курсе современной литературы? Может, про нас уже есть роман в жанре ретро-фэнтези... «Фантастические придурки».

– Ну что, покурим? – подошла к ним Алина Шпак. Умягченные согласные выдавали уроженку южных областей. Ростов-на-Дону?

Их стояло восемь человек, но предложение явно было адресовано бенефицианту. Дунин, как лебедь из запруды, выплыл из полукружья бывших однокурсников. Охлопал себя по карманам в поисках сигарет.

На дворе была почти ночь и, как специально, полнолуние. Шепталась молоденькая майская листва. Узкие, как пояски, облака дисциплинированно лежали по периметру чисто выметенного неба на равном расстоянии от идеально круглой луны.

Привлекательная, яркая, хотя и несколько гротескная Шпак была похожа на художницу-авангардистку Александру Экстер. Кажется, Алина знала об этом и слегка утрировала сходство.

– Пару вопросов хотела задать. Кстати, я не курю, – лицо Алины, облитое лунным светом, выглядело слишком декадентским.

– А я грешен, – Дунин с наслаждением затянулся сигаретой из пачки со страшной картинкой.

– Так о чем вы хотели меня расспросить?

Он галантно склонился к миниатюрной, но с формами, Шпак.

– Эээ... вы меня неправильно поняли! Это не интервью. Во всяком случае, не сейчас.

Дунин, скрывая разочарование, отстранился. Пожал широкими плечами, подчеркнутыми пиджаком. Скульптор надевал пиджак в среднем раз в год. – Но кое-что меня заинтриговало. Знаете, я ведь разбираюсь в станковом искусстве. Нет, нет, именно как практик. У меня есть художественное образование...

– Стоп! – Дунин закрыл глаза и сделал пасы руками. Поводил в воздухе пальцами, в лунном сиянии сверкнуло обручальное кольцо. – Сейчас-сейчас... Сейчас! Этот дивный... едва уловимый... очаровательный... бархатный... такой сексуальный... выговор и... высшее художественное образование могут означать только одно... Краснодарский худграф?!

Шпак прожгла его своими экстеровскими очами и все-таки улыбнулась.

– Вы ясновидящий, Михаил... Да, я училась в Краснодаре... И, знаете, не жалею. У нас были отличные преподаватели. И сильный курс. А потом еще в Лондоне, Sotheby's Institute of Art. – Дунин уважительно завел бровь. – И я это к чему, дорогой Михаил... К тому, что я сама владею техниками станковой живописи. Знаю, как устроена акварель и мозг акварелиста. Скульптора-традиционалиста, скажем так. Я видела ваши работы. В Интернете посмотрела... Так вот. Эта выставка, объекты – не ваши... Это – я так думаю, осторожно предположу – блестящая и очень убедительная художественная мистификация. Черубина де Габриак. Кстати, вы чем-то похожи на Волошина, вам говорили? Только вы высокий... Возможно, эта Черубина – коллективная... Я не верю, что у ваших пейзажей и скульптур и этих... гм... объектов... фигур, которые вы сегодня нам так замечательно презентовали, – один и тот же автор! Не в том смысле, что по каким-то причинам вам недоступен язык беспредметного искусства... Или что вы стары для него. (Дунин удивленно моргнул.) Или, упаси Бог, слишком академичны... Нет! Нет. Этого, Михаил, не может быть... просто, потому что эти работы сделаны из разных культурных частот. Парадигм. Импульсов, образов мысли. Вообще! Абсолютно! Это очень талантливое надувательство... Или, скорее, проект. А вы – его куратор. В это скорее поверю... Я угадала?

Из мастерской доносились гул, выкрики, смех. Он не узнавал мастерскую, сроду не бывшую светским местом. Он узнавал голоса, родные с юности, от которых внутри теплело и светлело. Все их присказки, охотничьи выкрики, басовые позывные, пещерные рыки. Стрекот Любы. Рокот Черных. Высокочастотные переливы Людки Терехиной. Тенор Игнатьева. Шикарный басок Саакянц. Комедийный фальцет Витала, за годы, что они не виделись, раздобревшего до размеров Депадье.

На улицу, под софит луны, выбрались Игнатьев, Черных и Людка Терехина. Четвертой вышла жена, тоненькая, как Саломея Андроникова.

– Мы ведь не помешаем? – многозначительно и слишком громко спросила Люда.

Дунин притянул однокурсницу и поцеловал в высокие рыжие волосы с торчащей японской шпилькой.

– Терехина! Моя радость! Как – ты? все – вы – можете мне помешать? Но мы с прекрасной Алиной еще не закончили, и намереваемся... – он повернулся к арт-критику.

Алина вышла из тени в свет луны.

– Знаете, Михаил, нам с вами придется еще раз встретиться. Вы ведь не против? Причем здесь, в мастерской. В виду ваших... о! о! объектов. Кое-что осталось невыясненным... И непонятным... непонятным! – поправились она. – И потом, я хотела поснимать их при дневном свете. Нюта, – вдруг воскликнула она и направилась к хозяйке вечера, сомнамбулически протягивая к ней руки с зелеными ногтями, – прекрасная Нюта! Михаил (она винтом перевернулась назад, к бенефицианту, указывая ему на его собственную жену) – вот! Вот кто здесь настоящее произведение искусства! Нюта, только вы сможете мне помочь. У вас ведь осталось еще пино гриджо? А тарталетки с козым сыром и айвовым джемом?

В черных платьях Нюта и Алина скрылись в мастерской. Со спины женщины казались ровесницами.

Ну что, поехали?

Yes.

Конечно же, Евграфова и Федоров не пошли в кинотеатр. В клуб, специализирующийся на киноклассике. Но и не сидели они плечом плечу у ноутбука. Анфиса находилась в Измайлово, Федоров в Раменках, фильм смотрели посредством программы gabbit.

Хорошо! Никуда не надо ехать. Ничто не отвлекает. При этом полный унисон и контакт.

Ненавижу ужастики. Это чисто эксперимент. Полевые исследования...))

Поял.

Если будет страшно, остановим...??

Ок.

Музыку слушай внимательно. Анализируй. Ради нее смотрим.

Бля, Анфис, ты додолбала своей прелюдией! Хватит инструктировать... Можно уже кино посмотреть?? Первый час ночи, мне завтра ко второй паре.

Федоров я не могу.

Смотрим. Тебе ж нужно...

Я боюсь.

Дык это даже не ужастик. Просто кино... Саспенс.

Мне страшно((

А мне нравится

Федоров, я боюсь((((((((((((((((((((((((((((((((

Пугают, вот и страшно. Прикольно, Джек Торрент писатель... Кинг про себя что ли сочинил?

Я пошла

Фиска, сидеть!

Виу.

Эй! Куда? Не, я досмотрю. Расскажу, чем закончилось...

Алина Шпак появилась в мастерской только в июне. Дунин запомнил, был день рождения Пушкина.

У Дунина с Пушкиным были свои особые отношения. Лет десять назад он прочитал запоем все статьи Лотмана об АС и забабахал собственную Пушкиниану, в пластине, и перевел в бронзу. Коллекцию приобрел, на деньги какого-то мецената, музей в Тверской области.

Это была хорошая история, страница в биографии. Пушкина Дунин почитал как родственника и любил как друга.

Дунин давно оправился от выставки. Прошел почти месяц после вернисажа. У арт-критика же Алины Шпак была уважительная причина отложить дело в столь долгий ящик, и не одна. Она ездила на биеннале в Венецию, потом сгоняла (ее слово) в Штутгарт, потом в Париж.

По сверхважным неотложным арт-делам.

Дунин все это время проторчал в городе, горячая преддипломная пора. Только на майские вырвался с женой в Сахарово, за сотый километр.

Здесь, как всегда, было по горло дел, прекрасных майских, в нежной зелени, дел. Подпиливали иргу, опрыскивали смородину, копали, красили, наслаждались жизнью.

Повезло с погодой. Была даже гроза, отличная. Только немой не твердил, глядя в содрогающееся небо: люблю грозу в начале мая.

Дунин любил это дело до трясучки. Смотрел, сидя на веранде, под вино.

Небесное представление разворачивалось напротив дома. Скорей, это был чемпионат. Фосфорно-белой нитью пробегала по небу молния. Дунин оценивал ее по 10-балльной шкале. Спустя время молнию догонял запыхавшийся гром.

Молнии ему нравились больше, иные были просто загляденье.

– Отличная! Просто красавица! – вопил он.

– Лапочка! Такая аккуратненькая...

– Давай! Давай!

– Ох, какая!!

Дунин был благожелательное жюри, неудачные молнии, невыразительные, размазанные, не оценивал, жалел. Выдающиеся отмечал стонами радости.

Когда, наконец, ливнуло, с видимостью сделалось не очень. Еще полыхало и громыхало, но уже интересней стало смотреть, как дождь разлетается, дробится хрустальной крошкой, встречая на пути соседскую крышу.

Одно омрачило майские: весть, что умерла Ирина.

Их участки граничили. Это о ее крышу вдребезги разбивался дождь.

Умерла от инфаркта, рассказала другая соседка, Тамара Леонидовна.

У Иры остался сын Саша тридцати лет.

В тридцать лет вроде как уже не *остаются*, но Ирин Саша был с небольшой задержкой развития, выражавшейся в детском простодушии и наивной радостной общительности. Имел инвадность *по голове*. Кипучий, обаятельный, как Иванушка-дурачок, здоровяк в камуфляже Саша увлеченно болтал через рабицу с Дуниным, с Нютой, с крошечным внуком Тамары Леонидовны, с каждой проходящей мимо собакой. Как Франциск Ассизский, он распекал сорок за то, что не дают спать, скачут по гулкой кровле, начиная с пяти утра, и будят Сашу в его комнате под крышей.

Саша работал охранником. Отпуск они с матерью всегда проводили на даче.

Однажды навестить Сашу приехала его девушка, он с гордостью рассказал Нюте, что она работает продавцом в магазине игрушек.

Его мать Ирина, по-молодому полная, немногим старше пятидесяти, была, наоборот, хмурая, малообщительная. Дни отпуска Ира проводила, колдуя над своим огородом, и он являл собой чудо стройности и порядка.

Подобный огород, просящийся на картину или в ботанический атлас, Дунин запомнил в женском Знаменском монастыре в Гороховце. Он возил туда студентов на пленэр года три назад.

Натянутые струны декоративного лука с сиреневыми шарами на концах, праздничные фонтаны салата, пурпурная свекольная ботва и пушистая, ажурная ботва морковная: Дунин засматривался на Ирин огород сквозь прозрачный штакетник.

С дунинской стороны ничего такого не было. Несколько деревьев, клумба пионов, нестигаемые, много лет бурно плодоносящие кусты смородины, изредка приезжающие гости, в сезон ряды сохнувших плавок, купальников и полотенец.

Что ни лето, сдобная Ира в шортах и майке виднелась среди салата и лука. Скульптор нередко задерживал взгляд на белых округлых руках, выдающихся ягодицах, выпуклых икрах среди стеблей и листьев.

Моложавая хмурая Ирина работала главным бухгалтером, и смысл ее огорода был, конечно, совсем другой, нежели в Гороховце. Дунин подозревал, что Иринино огородничество и его собственные художественные дерзания были страсти одного корня. В обоих случаях авторы пытались добиться урожая, стройности, послушания материала, одинаково находили в процессе и смысл, и счастливое забытие.

И вот Ирина умерла. Саша-сын на майские не приехал. Хозяев не было, но огород их, видный Дунину как на ладони со всеми своими матрицами и шеренгами, еще не знал об Ириной смерти. Он был все также строен, аккуратен, выверен, как при ней. И, кажется, ухожен, только несколько торчащих посередине грядки толстоногих белоголовых одуванов выдавали заброшенность.

В один из вечеров помянули Иру.

– Хоть и не дружили вроде, – Нюта грустно вздохнула, – а мне ее не хватает...

– Пусть земля ей будет пухом, – сказал Дунин, непроизвольно кивнув на одуванчики. – Какие Ирка цветы выращивала! А кабачки с тыквами... Как Сашка теперь будет? – Он плеснул в бородастый рот из граненой стопки и скорбно закусил куском бородинского.

Девятого мая было полнолуние, Дунин запомнил.

Он лег неприлично рано, что-то в девять вечера. Умаялся...

Немного почитал, чтоб сильнее сморило. Нюта притаскивала домой много книг, закачивала ему в ридер новинки, но Дунина трудно было поймать на этот крючок увлеченного чтения.

(С кино, на самом деле, у него тоже обстояло не очень.)

В середине, а может, и в начале ночи он внезапно проснулся, свежий, как ветка цветущей сливы. Комнату будто забросали резаной бумагой. Причуды лунного освещения.

Дунин нашарил под кроватью тапки. Стараясь не разбудить Нюту, осторожно встал, спустился по лестнице.

Вышел во двор, под прицел луны.

Главное, спиной не поворачиваться, думал Дунин. Ого, какую хорошую, плотную тень я отбрасываю.

Вокруг все было сомнамбулически белым и условным, будто сделанным из бумаги. Начавшая цвести ирга, домик мастерской, дома соседей, плоский задник неба, горящая белым амбразура луны.

Громко заливались, *грохотали по оврагам* невидимые соловьи. Трещоткой отзывалась из-под земли медведка. Не у нас, где-то у соседей, хозяйственно подумал Дунин.

Не поворачиваться спиной, а то загрызут.

Он пощупал себе лоб, поскреб щеки.

Пятясь, вернулся в дом, поднялся к спящей Нюте. Не белой, не бумажной, розовой, теплой, надежной.

Проснулся Дунин преступно поздно. Жена с хорошо сыгранным возмущением кивнула на часы.

Все уже вгрызаются в землю лопатами! Рыхлят и мульчируют! Опрыскивают! Сверкают каплями! Кормят птенцов жирными розовыми червяками! А ты?

А ты, жмурясь, выходишь в трусах на порог нового дня.

Алина Шпак сама написала ему в начале июня. Решительно назначила день, и, конечно, это был неудобный день-со-студентами. Дипломники числом пять человек спешно доделывали работы. Дунину, единственное, удалось назначить встречу на попозже.

Странно, что вообще вспомнила. Величая жесткая эффектная востребованная Алина Шпак...

Объекты стояли тесной толпой в углу. Дунин придумал для них что-то типа ширмы, укрыл мешковиной, получился такой «мистический уголок», по остроумному определению Илоны с теперь уже бирюзовыми волосами.

К приходу Шпак Дунин не приготовился никак. А что готовиться? Были у него, как всегда, чай-кофе, сухое печенье, баранки. Мог бы что-нибудь изобразить, прикупить пирожков в институтской столовой, но не стал, не захотел.

Шпак пришла ровно в семь, в черном льне, с ультракороткой стрижкой, в огромных серьгах, размером в треть ее головы.

Уставший к вечеру большого дня Дунин выдал спокойную версию хозяина: не снял брезентовый фартук, рукава рубахи закатаны, на голове трикотажная шапка. Это был его рабочий прикид – Данила-мастер, перезагрузка. Дунин не стал даже, как обычно, с порога предлагать чай-кофе, хотя у него это было почти рефлекторное.

Миниатюрная Шпак походила по мастерской большущими шагами, осматриваясь. Кивнула на мешковину: снимете?

(Может, думала, Дунин приготовится как жених, выставит ей экспозицию?)

Попросила выдвинуть фигуры на середину мастерской и принялась снимать здоровенной камерой (Дунин уважительно поднял брови), то почти укладываясь на пол, то залезая на стремянку, тасуя, переставляя фигуры, которые в два раза превосходили ее ростом и объемом.

Стояли самые длинные дни года. Мастерскую заливало поздним малиновым солнцем, свет бил в частый переплет окон, ложился квадратами, золотился гипсовой пылью. Между широкими рамами у Дунина зеленел оконный сад, за которым он следил намного тщательней, чем за собственной бородой.

Пока Шпак снимала, Дунин заканчивал с уборкой. Он всегда сам все расставлял, сортировал, накрывал глину, укутывал пластилин, придирчиво сортировал и убирал инструменты. Милой уборщице Розе, с которой он любил поболтать, дозволялось только мыть полы.

Дунин искоса поглядывал на Шпак, на горящие вечерним солнцем фигуры, залитые светом стеллажи, станки, турнетки, столы, стулья, все это великолепие, и благодарил провидение, пославшее ему удивительное место работы, любимую мастерскую.

– Вы еще не устали? Может, чаю? – проявил наконец Дунин гостеприимство.

– Нет! Позже, – прошипела Алина Шпак со стремянки. Она изогнулась черной цаплей, целясь в **СОМНЕНИЕ** и **ОДЕРЖИМОСТЬ**. – Жалко свет упустить.

– Как хотите... Я пойду покурую.

Был образцовый июньский вечер, теплый и золотой, когда кажется, что лето продлится вечность. Листва уже набрала размер, но не потеряла девственную яркость. Чистый изумруд, зря, что ли, всю прошлую неделю шел дождь... Дунин сидел на красном тонконогом стульчике и пускал в небо задумчивые дымки. Он думал о том, что скоро защита, а потом два законных месяца отпуска. Они с Нютой поедут в Сахарово, потом через всю в Карелию на Соловки, а на обратном пути навестят друзей на Вологодчине. В августе хотел ненадолго метнуться в Смоленскую область, тоже к друзьям.

– Я все! – появилась на пороге Шпак. Управилась быстрее, чем он рассчитывал. Как людям удается сохранять даже летом такую шампиньонную бледность, подумал Дунин. Или не загорает совсем? Бывает же такая кожа, белая, сырая, отрицающая солнце.

Дунин молча показал остаток сигареты с дымком на конце.

– Все-таки отличное место у вас, – похвалила Шпак.

– Да сам не нарадуюсь, – сказал Дунин по-простому, от сердца, хоть и нужно было держать имидж перед арт-критиком. – Жил бы здесь... да жена не поймет!

Дошло до чая-кофе. Памятуя о проявленном к нему интересе Алины Шпак, Дунин подумывал и о пино гриджо, но отверг этот формат, вино, расслабон, амикошонство. Деловая встреча, все.

Алина бесцеремонно уселась на самое удобное, явно хозяйское место. Красивое резное кресло-трон с ручками в виде грифонов. Очевидный антиквариат.

...Студенты даже прикоснуться к нему не смели, не то что задницу опустить.

Дунин миролюбиво сел на крепенький табурет напротив госты.

– Ну так что, Михаил? Приступим? Вы попались, маэстро! Скажу как есть. Я еще про вас почитала в Интернете. Провела небольшое расследование. Посмотрела ваши работы, включая ранние, включая Пушкинскую серию. Кстати, вот она отличная! Это прям чисто ваше! (Дунин сдержанно кивнул, спасибочки, мол.) Все проанализировала. Так вот. Ничто в вашем творчестве, употребим здесь это слово, творчество, – НИЧТО не предвещало появления в нем: а) беспредметных объектов, б) этих тем. Ну, хорошо, ужас. Допустим. Ну откуда эта необратимость? Страдание? Михаил, где вы и где необратимость?! Это вообще не из вашего словаря... семантического поля!

– Вы так думаете? – сказал Дунин, отхлебывая горячий чай из I love Lviv.

– Я уверена! Не первый год замужем, знаете. И потом, я неплохой психолог. Правда, без диплома (тут она хохотнула). И я хочу понять, раз уж оказалась втянутой в эту историю, звана на вернисаж, – добавила она со значением, – откуда у нее ноги растут. Желая разобраться.

Дунин слушал, пил чай, хрустел баранкой, доводя до гротеска тот образ, который Шпак ему назначила. Былинного, сермяжного простака-художника со стружкой в бороде.

– Ну вот скажите, – не выдержала паузы Алина, – я ведь права со своей версией насчет художественной мистификации? Что это не вы, а молодые девы, ваши студентки, возможно, феминистки, некоторые детали указывают, что это так, но вам-то девушки вряд ли скажут, зачем грузить препода, – они придумали проект и сделали? А вы как бы кураторствуете и, понятное дело, снимаете пенки. «Как бы» – безо всяких иронических или негативных коннотаций! Все абсолютно правильно! Ведь вы им предоставили, так сказать, материально-техническую базу... Художественный надзор. Взяли под свое крыло... (Алина взмахнула правой рукой.) Более того! Могу предположить, что проект оказался выгоден вам. Нужен для утверждения позиций в этом вузе. С его, я навела справки, все более молодому педагогическому составу. С его очевидным уклоном скорей в дизайн и современное искусство, нежели в искусство станковое. И это, Михаил, изумительный стратегический жест с вашей стороны! Просто гениальный... Тут я снимаю шляпу!

– Знаете, Алина, – произнес Дунин после хорошей паузы, за время которой в комнате успело стемнеть. – Вы очень умная, это правда. И проницательная. Лондон не прошел для вас даром.

Краснодарский худграф тем более. Но вы ни-че-го не поняли. Все предположения ваши – в молоко, – Дунин потряс коробком десятипроцентных сливок, из которого Шпак прыскала себе в кофе. – Автор – я. Вам придется поверить, признать, смириться.

Сливающаяся с темнотой Алина медленно и нагло подвигала головой из стороны в сторону: не-ве-рю.

– Но да! Кое в чем вы все-таки правы... – Алина, не двигаясь, подобралась, как очковая змея перед броском. – Правы вы в том, милое дитя, что история... эээ... создания этих фигур... действительно не так проста. С секретиком. Не могу отказать вам в проницательности. В чутье на нелинейные истории...

Тут Дунин не смог отказать, уже себе, в очередной эффектной паузе. Он плеснул в рот остатки чая, на правах грубого простеца погонял жидкость во рту, прежде чем проглотить.

Чай, кстати, был краснодарский.

Скульптор неторопливо встал. Долил из баллона воды в чайник, включил. Прозрачный чайник, подарок коллег, удивительно долго булькал синим электричеством. Все это время Алина и Дунин молчали. Наконец художник утопил в кипятке пакетик, разболтал, поставил перед собой.

– Если вы обратили внимание, один из объектов – он, кстати, сделан первым и положил начало всей серии – посвящен Пендерецкому. Там подписано. Называется УЖАС. Так вот, композитор Кшиштоф Пендерецкий имеет ко всему этому... проекту, – с затруднением выговорил Дунин, – самое непосредственное отношение. Я не собирался это афишировать, но и скрывать, считаю, незачем.

– Что – это? – пропела Алина, тщательно маскируя раздражение. В подсобке сделалось почти темно, но Дунин решил не включать свет.

– Влияние... музыки Пендерецкого на мое... эээ... творчество, – не без труда сложил фразу Дунин, – этого периода, – выговорил он. – Все объекты появились... благодаря... прослушиванию композиций Пендерецкого. Вот! Вся тайна... Алина, вы меня раскололи. Как орех. Вы удовлетворены?

– Слушайте, ну это же смешно, – с нервным хохотком сказала Шпак. Она выглядела раздосадованной. Переносица и подбородок у арт-критика покраснели, выглядеть она стала немного поживей. – Все слушают музыку, когда работают. Это обычная практика. Повсеместная. Даже я, хотя я не рисую, не леплю, а пишу. Думаю. Под музыку. Это нормально! Вот Америку открыли... Будем измерять количество Игги Попа в моих статьях? Смешно, – зло повторила арт-критик.

– Поверьте, ничего смешного. Не буду вас посвящать в историю этой... скажем так... взаимосвязи... точнее даже зависимости... Но все объекты... фигуры... сделаны мной в соавторстве... насчет коллективного авторства – тут, пожалуй, вы угадали – с паном Пендерецким. Все. Больше ни тайн, ни секретов, ни двойных дон... днов. – Дунин шлепнул большой ладонью по верстаку и встал наконец с табурета, который был ему маловат и впивался в задницу. Он хотел домой.

– Хорошо, – сказала Шпак. – Тогда проведем следственный эксперимент.

– Что, вы еще и следователь? Закончила курсы? – неприязненно спросил Дунин, от досады мешая ты и вы. – Я не удивлен, хватка у тебя бульдожья... Дорогая Алина, я дал вам все пароли и явки, дальше – сами. Я, честно говоря, устал и хочу домой. – Дунин на остатках вежливости свесил на грудь буйну голову, покаянно стянул с нее шапку.

– Э, нет! – возразила арт-критик. – Здесь и сейчас. Не сходя с этого места. Я не уйду, пока не разберусь. Заводите шарманку, – она кивнула на престарелый комп. – Ставьте своего Пендерецкого!

Дунин смотрел на Алину с изумлением, граничащим с восторгом. Вот же пьявка... Не женщина, а бультерьер. Даже немного похожа, такая же белая. Поразительно... Хотя. Все логично. Как бы еще такая пигалица сделала себе имя. И фамилию...

Его вдруг отпустило. В голове перестал щелкать секундомер. Пендерецкого хочет?

Кишиштофа?
Да пожалуйста.
Нате на лопате!

Господа присяжные заседатели, это она меня совратила.

– Ну, дорогая Алина... Сами напросились! Я включу вам... *Polymorfia*. Слушайте. Проникайтесь. Могу предложить художественные материалы. Вдруг попрет... Что вы предпочитаете в это время суток? Глина, пластилин? Акварель, акрил? Сигареты, спички, коробок...

– Обойдусь! – отрезала Алина ледяным тоном, давая хозяину мастерской понять, что тот перегнул с сарказмом. – Я и без этого смогу составить впечатление. Теоретически.

– Хорошо, слушайте. А я пока покурю во двореке...

– Стоп! Сидеть! – завопила эта неяссть. – Мы так не договаривались. – Она утянула Дунина вниз, впившись бледной рукой в рукав рабочей ковбойки. – Будем слушать вместе!

Как две совы, они устали друг на друга в сумерках. Злой голодный Дунин запустил многократно закольцованную, нескончаемую *Полиморфию*.

Тринадцатый раз, произнес у него в голове голос Черных.

Ых.

Дунин смотрел на арт-критика с нескрываемым отвращением, как на крысу, пьющую из лужи у помойки. Она ответила ему долгим наглым взглядом.

Что за племя такое...

Музыка пошла красться из углов. Нарастая, клубясь, будто сделанная единой массой, не-симфоническим способом, и не электронным. Завизжали, заныли струнные, стало громко, слишком. Зашелкала костяшки. Что-то упало, грохнуло, завывало. Атмосфера фильма ужасов довольно быстро установилась в небольшой подсобе. Дунин, уж на что был глубоко в теме и знал, чего ждать, поежился. Потом расправил вдруг плечи, вдохнул глубоко. Стало жечь ладони, забегали в пальцах мурашки, заныли мышцы рук.

Он слушал хорошо, почти наизусть знакомую ему *Полиморфию* – и все равно не знал, что там у нее за поворотом, в следующем коридоре, в незапертых комнатах.

Может, это и есть тайна настоящего искусства, подумал он. Неизвестное в уже известном...

На Шпак Дунин старался не смотреть, но беспокойное чувство заставило перевести глаза в угол, где в кресле с грифонами обычно сидел он сам.

Арт-критик свесила голову, руки, опустила плечи. Странная поза, как через плетень переброшенная.

«Вам плохо?» – хотел он спросить, но слова не шли. Коснулся арт-критика. – «Эй?» – тоже не сказал, подумал.

Она подняла на него глаза – две черных дырки. Он подумал, притворяется.

Сейчас, как подросток, крикнет: БУ!

Но Шпак опустила голову, выставив тонкую белую шею, ни дать ни взять – увядший тюльпан в вазе.

Такая впечатлительная, что ль?

Тайная меломанка?

Или впрямь поплохело?

«У тебя и музыкальное образование есть?» – подумал, не сказал он, радуясь собственному сарказму, признаку исправной работы защитных механизмов. – Вам плохо? Я выключу? – он потянулся к серой захватанной мыши, и тут Шпак дернулась как черт из табакерки и с неожиданной силой оттолкнула его руку.

Дунин не любил такие вещи. Он был человек широких взглядов (он так думал), но с четким пониманием границ. Экзальтацию, артистические экстазы дамочек не приветствовал.

Скульптор и арт-критик молча схватили друг друга за предплечья. У Шпак под черным льном перекачивались жгуты хороших мышц, Дунин оценил как спец по пластической анатомии.

Занимается, поди, какой-нибудь аштанга-виньясой...

Скульптор попробовал усадить арт-критика обратно в кресло, мягко нажал девушке на плечи, но Шпак вдруг бросилась на Дунину, – он честно решил, что драться, отпрянул, прикрыл лицо.

Но Алина сильной рукой вцепилась ему в брючный ремень.

Остатки *Polymorpha* Дунин в ужасе вколачивал выпускницу Sotheby's Institute of Art в крашеную синей краской доску-сороковку.

Скрипел верстак, ныли струнные, пан Пендерецкий тихо посмеивался в белоснежные усы.

Лето вышло отличное. Дунин растворился в меду тихих прекрасных дней в Сахарово. Любить, рубить, копать, красить, купаться, кататься на велике, сидеть в дождь с кружкой пива на крыльчке.

Бодрили близкие путешествия. Они с Нютой шуршали картами, шелестели атласами, Дунин питал слабость к географической полиграфии. Навигатор навигатором, но маршрут он должен представлять целиком, а не быть песиком на поводке GPS.

Почему-то Дунин совсем не рисовал, не тянуло. Решил довериться себе, не тянет, значит, так надо. Приходили идеи, как всегда в неурочное время, и он не ленился, бросал лопату или топор, шел зарисовывать, в этом он себя вымужествовал. Много фотографировал, ездил на велике, плавал, спал, обнимал Нюту в бандане с мазком голубой краски на плече.

Алина Шпак написала о Дунине и его выставке у себя в блоге. Это был огромный пост, с отличными, действительно, фотографиями, именно они, скорей всего, и привлекли внимание. Пост собрал полторы тысячи лайков, обычных, «супер» и «ух-ты», и длинную бороду комментариев, в том числе, конечно, неодобрительных, язвительных и желчных.

Не спросясь Дунина, Алина назвала коллекцию *Imponderability*, *НЕВЕКОМОСТЬ*. Видимо, впечатлилась физической легкостью фигур, когда тягала их, фотографируя.

У Алины было 4996 друзей и 7856 подписчиков. По размеру поста и количеству фотографий все эти люди смекнули, что в современном искусстве произошло важное событие. Тектонический сдвиг.

Избегая сравнений, сопоставлений и рядов, колумнистка объявила коллекцию и ее тему болезненно актуальной. Шпак увидела в объектах «новую вещественность» и, откуда-то, «антицифровой пафос». Серию она назвала явлением. Там много было еще умного. Пан Пендерецкий не упоминался, и так и не ясно было, признала ли Алина музыкальную версию происхождения работ правдивой.

Текст перепечатали специальные журналы, перепостили профильные порталы. Но, если даже Дунин и прославился, он об этом не узнал. Скульптор испытывал к данному эпизоду своей творческой биографии равнодушие с нотами страха и отвращения.

Когда скульптор и арт-критик разомкнулись, Алина, не открывая глаз, сказала:

– Свалим все на Пендерецкого?

Дунин смолчал, не стал огрызаться и хамить, но и любезничать не тянуло, и это оказалось стратегически правильно. Его мрачное молчание Шпак истолковала в свою пользу, как, наверное, признак потрясения, пережитого катарсиса.

Невольные сообщники собирались в молчании и почти полной темноте, свет включать не хотелось. Алина шуршала льном юбок, прилаживала пиджачок, поправляла перекосившиеся от тряски серги.

Дунин переоделся, рабочую одежду комком сунул в пакет, постирать. Или, нафиг, сжечь.

– Куда подбросить? – спросил Дунин, избегая личных обращений.

– Тут недалеко, на Киреевской. Да я могу и такси взять.

Он распахнул ей, как графине, дверь машины.

Ехали молча, что устроило обе стороны.

У подъезда Дунин корректно поцеловал бледную руку, оттянутую браслетом.

Хлопнула тяжелая дверь.

Скульптор сидел в машине, оглядывая незнакомый двор. Его мутило, скорей всего, от голода.

Жена еще не спала, лежала в постели с ноутбуком, смотрела фильм. Помахала голой рукой, все на плите, разогрей, крикнула, у меня еще минут двадцать осталось!

Дунин ел, не чувствуя вкуса еды, в ступоре усталости и безразличия. Хотя готовила жена вкусно, с азартом. Как любой азартный человек, Нюта иногда остывала до полной апатии. Интересно, какой это у меня уже суп, спрашивала она, триста пятьдесят девятый? Но уже на следующий день варила занимательные щавелевые щи с копченой уткой, подсмотренные в словацком кафе.

Рабочую одежду Дунин сунул в жерло стиралки, отправился в душ. В ванной он всегда зависал, обливаясь почти что-то кипятком. Первым делом смыл Алину. Он надраивал шею, грудь, предплечья как скульптор, понимая их устройство, пластику, мышцы, фасции, словно каждый вечер вылепливал себя заново. Под душем ему, как и многим, шли лучшие идеи, хоть зубной пастой их на кафеле записывай или рисуй пальцем на запотевшем зеркале.

Обмотавшись полотенцем, скульптор протер зеркало от банной мути и посмотрел на себя в упор. Дунин как Дунин. Все такой же, физически.

Жена досматривала очередное эстетское кино. Арт-хаусные и в этом духе навороченные фильмы она обычно смотрела без Дунина, тот от них быстро уставал, начинал зевать и маяться.

Пять минут, не поворачиваясь, жена показала ему растопыренные пальцы.

Дунин лег на свой край большой кровати, на глаженные хорошо пахнущие простыни. Укрылся с головой, мечтая забыться, но тут под одеяло к нему скользнула оживленная, разгоряченная фильмом Нюта.

– Миленкий, я что-то устал, давай завтра, – жалобно пропел скульптор, но Нюту было не остановить. Она досмотрела фильм, это были «Страшные сказки» Маттео Гарроне (кстати, Дунин вполне бы их снес, не такой уж и арт-хаус) и должна была поделиться с мужем впечатлениями, в доступной ему форме.

Если Нюте требовался секс, что случалось не так уж часто, она сметала препятствия, как цунами. Тоскующий, стыдящийся Дунин не успел даже поразиться коварству жизни, и подчинился напору маленьких рук и горячего рта.

Пендерецкий летом возник всего один раз, не в виде музыки. Солнечным июльским утром, уже к восьми набравшим жар, Дунин проснулся с готовой идеей, сверстанным эскизом и даже названием.

Скульптор ушел с кружкой кофе в мастерскую и там весь день рубил и вырезал из большого комля, вот и пригодились давняя заначка. Дунин раздраженно зыркал на безмятежную Нюту, которая приносила ему то завтрак, то обед, то морса и яблок.

Скульптура в духе Голубкиной и Эрзя изображала Кшиштофа Пендерецкого. Портретное сходство было налицо. Аккуратная борода, буравчики глаз, тонкий нос. Сверкали (как будто бы) маленькие очки. Маэстро был одет в рубашку и концертный фрак, ниже шли кудлатые ноги с копытами, с которыми мало вязалась грациозная скрипочка.

Флейту Дунин, подумав, отверг.

Называлась скульптура, ясное дело, Пан.

(А не «Сатир».)

Дунин почувствовал себя отмищенным, а гештальт – закрытым.

В день взятия Бастилии в Сахарово приехал Черных со своей юной Полиной, на выходные. (Дунин и Нюта придумали между собой называть их ЧЧ, чета Черных.)

Гостей накормили прекрасным дачным завтраком. Дали час поваляться под яблоней. Тем временем Дунин выгнал из сарая велики, их накопилось за долгую жизнь как раз четыре штуки.

На багажнике хозяйского велосипеда закрепили большой велорюкзак, предполагалось, что остальные поедут налегке.

Гостям, конечно, неохота было тащиться незнамо куда, крутить педали под солнцем. Им и двадцать соток казались полнейшим раем, но Дунин был неумолим. Хозяева изнывали показать им окрестности Сахарово, местности с богатейшей историей.

Ехали час по грунтовке, полями, березняками, проехали насквозь отличный сосновый лес и добрались наконец до реки. Гостям обещано было суперкупание.

Река называлась Изма.

– Каааак?? – переспросил Черных.

– Изма! – гордо повторил Дунин.

Сооруди любую недлинную комбинацию из букв, фонетическую каляку-маляку, и обязательно найдется река с таким названием.

Топонимы рек изумляют. Некоторые дышат древностью, тайной: Скамба, Мжутъ, Хмость. Есть речка с хулиганским именем Вопец. С кошачьими – Дымка, Гализка. Женственные Половья, Сомоль и Коробинка.

Однажды Дунин с Нютой в компании Терехиной, ее мужа и троих детей играли в слова. Нужно было вытянуть сороковое слово из «ответственности». Перебирали буквы, тасовали слоги.

Маленькая Женя спросила с надеждой:

– А может, есть такое слово – «нет»?

Посмотрели в Википедии. Нетъ, река в Оренбургской области. А впадает в нее Исагинтамак.

– Правильное название, наше, художническое! – похвалил Черных. – КубИЗМ, абстракцио-ниЗМ, маньерИЗМ.

– ФовИЗМ, – добавил Дунин.

– СупрематИЗМ, – вспомнила Полина.

– Ох, какие же вы зануды, – простонала Нюта, сдернула шорты, майку и бросилась в самую Изму, подняв фонтан брызг.

Потные, дымящиеся участники велопохода последовали ее примеру.

Дунин, кстати, отлично плавал. Выяснилось, что и Черных тоже. Обоим было приятно, что у них обнаружилась общая черта.

Мнительного Дунина не оставляло чувство, что Черных недостаточно безмятежен, это его задевало, как принимающую сторону. Поскольку все условия для полного релакса гостям были созданы.

Приехал с вестью, догадался скульптор.

– Девочки, мы на тот берег сплаваем? А вы пока... – Дунин комически подмигнул правым глазом, – того самого... А?

– Да плывите куда хотите, – сказала Нюта, с наслаждением затягиваясь тонкой сигареткой. Рядом вытиралась льняным полотенцем длинная Полина. Красивые девочки, подумал Дунин с нежностью, такие хорошие. Нюта была моложе его на одиннадцать лет, интересно, у Полины с Черных какая разница. На вид все двадцать...

Сейчас-то мы орлы, а что дальше?

– Ну, чего там у тебя? – спросил Дунин.

Они вылезли на берег, отдуваясь и капая на траву. Черных отлично сохранился. Стал, конечно, помясистей, но практически не имел живота.

Еще б, жена почти студентка...

Только белый, бледный как... Дунин внутренне поперхнулся.

– Тут метров сто, – оценил Черных расстояние. – Серьезная Изма. В смысле?

– Ну я ж не слепой...

– И течение довольно сильное...

– ...

– Ты, Миша, не слепой. Ты глухой! Ты же у нас в соцсети не заходишь. Фейсбук игнорируешь... А это, между прочим, социальная глухота. Как ты с людьми общаешься? Откуда новости узнаешь? Дикарь хренов...

– Я нормально общаюсь. С родителями созваниваемся каждый день. С Максом довольно часто разговариваем. С сестрицей мы все время на связи. Новости у меня в телефоне. Нюта регулярно в фейсбуке, она вообще там, считай, работает...

– Нюта, Нюта... Вот ты в Сахарово пузо греешь – уже сколько, месяц? А у нас Терехина из окна выбросилась...

Дунин закрыл глаза.

Людка, Людка...

Рыжая, в черном, с японской шпилькой и бокалом белого Терехина хохочет во двореке ма-стерской. Устраивает им «угадай мелодию» с Гочем... Он тогда обнимал их всех, мужиков, девчон-нок. Рука помнила Людкин бок, теплый, родной, виолончельный.

Ви... олнчельный.

– Успокойся, жива. Слава те Господи... Еще в больнице. Поломалась, конечно, но могло быть хуже.

Как ломается виолончель? Рвутся с лязгом струны... Отламывается гриф...

– Леш... Но почему? Она ж веселая такая. Все у нее хорошо. Муж, дети вон, аж целых трое...

– Миша. А теперь слушай очень внимательно. Ее нашли когда... она удачно упала на кусты под окнами, самортизировала... потому и жива осталась... Люда была обмотана обоями... Бумажные фалды, какой-то маскаррад...

.....

– Ну, ты понял.

– Сама говорила что-нибудь?

– Плачет все время... Сотрясение сильнейшее. Не помнит, или не хочет вспоминать.

– ...

– ...

– Думаешь?

– Ясно как день.

– Наши в курсе?

– Все, кроме тебя.

Девочки накрыли на поляне поляну, стоял даже в пластиковой банке букет из мелких цветов, в детстве Дунина такие назывались часики.

Манили и звали привезенные семейством ЧЧ изящные сыры, овощи-фрукты, первые, с детской кожей яблочки, отличный хлеб, гигантские, с грецкий орех, оливки. Зелень с грядки, горько-пряный любисток с его сводящим с ума запахом. В дунинском рюкзаке нашлись две бутылки белого и полуторалитровка «Новотерской». Вино девушки охладили в водах Измы.

Трагедия, Люда, шутовской наряд, турнюр из обоев, страшный хруст в кустах сирени, воюющие струнные, переходящие в вой скорой, померкли. Отступили перед солнечной прелестью дня, шумящей листвой, кружевной подвижной тенью, вкусной едой. Близостью молодых красивых женщин... Вино увеличило эту дистанцию до почти забвения. Так при свете дня быстро забывается, как бы смаргивается страшный сон.

– Я, между прочим, собирался порисовать! – объявил Черных. – У меня с собой припасёно! – Он погромыхал рюкзачком. (Опытное ухо различало в грохоте набор акварелиста: полноценную коробку «Черной речки», кисти, пластиковую банку, планшет с торшоном на зажимах.) – Я себе уже и точку заприметил...

– Ни дня без строчки! – похвалил Дунин. – Понимаю тебя. У нас тут и у безрукого руки зачесутся рисовать, – ловко перетянул он одеяло на себя. – Место, конечно, совершенно магическое! Мы когда с Нютой нашли его, лет семь назад, поклялись никому не показывать. И, заметь, сдержали клятву. Показываем только своим... Ни разу здесь никого чужого не встретили!

Тут, по законам правдоподобия, следовало бы сделать паузу в действии, на час-другой. Описать, как Черных нарисовал два отличных акварельных этюда, вертикальный с речкой и квадрат с толстой корявой ивой, и снова присоединился к пирушке, и все ему завидовали, что он поработал и день прожит не зря.

...Что девушки пошли вдоль берега собирать цветочки на венки и фотографироваться на старых морщинистых ивах, созданных для позирования на их выигрышном фоне молодых русалочьих женщин.

...Что неугомонный Дунин углубился в лес и нашел поваленное дерево с отличным комлем, который запланировал, вернувшись завтра с Лешей, распилить и доставить на дачу, для художественно-хозяйственных нужд.

Но все, что произошло, случилось непосредственно после хвастливых слов Дунина:

– ...Ни разу тут никого чужого не встретили!

Вслед за этой репликой скульптора на укромную поляну с пляжем рекой хлынули старики.

Это были бодрые мужчины лет шестидесяти пяти и старше, в бейсболках и банданах, многие с бородами, некоторые со скандинавскими палками.

Не обращая внимания на четверку отдыхающих, их скромный пикник и явную нерасположенность делить приватность с кем-то еще, деды стали рвать с себя одежду, раздеваться до трусов и плавок, ссыпаться с крутого берега прямо в Изму.

Обнажившись, они не стали выглядеть хуже. Сухощавые, жилистые, крепкие пожилые мужчины, с грудями в седых зарослях.

В воде деды фыркали, плескались, боролись с течением. Мелькали руки, ноги, животы, бо-
роды.

– Ой. Сейчас вода выйдет из берегов. Разольется ваша Изма, – сказала замороженная проходящим Полина.

– Выйти не выйдет, но согреется. Вскипит, – ответил беззлобно Дунин.

– Какие-то гномы, – промолвила Нюта. – Может, здесь их страна? Вот тебе и заповедное место. Дунин, ты его сглазил, понял? Болтун...

– Я их знаю, – сказал Черных. – Это походы выходного дня. Я с ними ходил однажды, лет пять назад. Узнал руководителя. Аристарх Витальевич, кажется.

Деды все прибывали. При виде Нюты с Полиной один игриво присвистнул:

– О, девушки! Виталич везде найдет девушек!

Другой, скромный милый дед в зеленых плавках, смущенно сказал им:

– Не беспокойтесь, пожалуйста, еще минут пятнадцать, и мы уйдем.

Деды обсуждали дальнейший маршрут, какую-то заброшенную усадьбу. Звучали Большие Хрящи и поворот на Повелково, овраг, висячий мост. Они кучковались на ковриках, сворачивали головы термосам, пили чай, хрустели галетами и яблоками. Дунин подозрительно вглядывался в их копошение, но так и не разглядел стеклянный блеск чекушки, металлический – фляжки.

Симпатичные интеллигентные пожилые ребята с зычными голосами пили чай, воду и, на-верное, какие-нибудь морсы со взварами. От них веяло организованной бодростью, радостью жизни, конструктивным задором.

Дед в зеленых плавках не обманул: довольно скоро пожилые мужчины дружно сорвались с места и ушли, будто и не было. После себя деды не оставили ни соринки, ни огрызка. Медленно разгибаясь, поднимали голову травы, примятые сидушками, полипропиленовыми «поджопниками».

– Сразу видно техническую интеллигенцию. Небось, преподы. Чего-нибудь вроде Бауманского или какого-нибудь КаГУ, – промолвил Дунин. – Мы с тобой, Леша, будем стариться по-другому. Не так спортивно и конструктивно. Драматичней... Кстати, где их женщины?

Дунин проснулся от громкого стука в окно. Со скачущим сердцем скульптор сел в постели. Далеко откатившись, под льняным пледом спала Нюта. Было совсем рано и очень тихо. Только начало светать, еще молчали птицы. Из окна тянуло травяной свежестью и соседскими табаками.

Показалось, понял Дунин, пить надо меньше.... И тут он услышал далекие, нежные, с другого конца дома доносящиеся стоны. В Сахарово давно не было гостей, Дунин отвык от человеческих голосов в доме, не сразу понял, в чем дело.

Ах ты, Черных, молодец, подумал Дунин братски. Скульптор одобрительно поприслушивался, дождался финала, но вырубился, не успев распалиться.

Дунин уснул с сердцем полным вчерашней реки, звонками тренькающих на ухабах великов, тепла, дружбы, приязни к миру.

Это были его последние безмятежные часы.

Когда около восьми Дунин проснулся, его сразу полоснуло: Людка, окно, обои.

Он уже не переставал думать об этом.

Следующий день был жарче прежнего. Мир тонул в запахах травы и цветов, гудел насекомыми, заливался птицами. Птицы в Сахарово пели совершенно незнакомые горожанину Алексею Черных.

Только под утро, засыпая, он узнал сорочий стрекот...

Еще кричали, тонко, пронзительно, озерные чайки, их тут было много.

Накануне Черных заметил: на крыше соседнего дома, вполне приличного, даже зажиточного, – прямо на коньке чайка устроила себе гнездо. Чайка сидела на гнезде, демонстративно белея, видная с любой точки.

– Чей это дом? – показал Черных. – Что за оптимистические формы запустения?

– Ирины, – ответила Нюта. – Она умерла этой зимой.

– Соседка, – вздохнул Дунин. – Молодая, пятьдесят с небольшим. Остался Саша-дурачок. Не приезжает...

К десяти солнце набрало силу, но на участке тени хватало.

Черных выполз рано, до хозяев. Свежий, в каплях после душа, с мокрыми волосами.

Тонкая, с выпадающими из-за ушей русыми прядями Полина явилась только к завтраку. Дунин смотрел на нее с новым интересом, после ночных открытий. Скульптор, ценитель формы как таковой, отметил хороший аппетит. Вот чем молодые женщины выгодно отличаются от зрелых...

Он и в Нюту в свое время влюбился из-за ее аппетита, не только в вопросах питания...

Решено было чуть позже съездить в райцентр, крошечный, но вполне себе старинный городок, с монастырем, гончарными мастерскими и еще много чем. Дунин расписывал прелести местного рынка: продукты здесь совершенно другие, вот увидите, вы такого сала и яиц в жизни не пробовали.

Пока девушки наводили марафет, все же какой-никакой город, Дунин повел друга в мастерскую.

– ...Я скоро уже комплекс заработаю с твоими мастерскими, – пошутил Черных. – Посадить дерево, построить дом, завести мастерскую... Я пока не преуспел ни в одном из пунктов...

– Слушай, ну, у каждого своя биография. Я вон на компьютере одним пальцем, как дикарь. А ты руководишь дизайн-студией, – примирительно сказал Дунин. – Вот, смотри. Узнаешь?

Он указал Леше на свое недавнее изделие.

Черных несколько раз обошел вокруг козлоногого композитора.

– Опять... музыкой наваяло?

– Нет! Нет... Это Пендерецкий без Пендерецкого. Без музыки! Я его припечатал. Поймал, как бабочку. Акт возмездия! Сиди тут у меня, в деревяшке, знай свое место.

– Стоп. А почему копыта? Сатир?! Миша, я чего-то не знаю!?

– Не сатир, а Пан.

– Да, я уже слышал этот каламбур. От Васильевой. Так, Миша, почему без штанов и с копытами? Это какой-то новый ракурс... Дуня, ты охотился на нимф?

– Слушай, Черных! – догадался вдруг Дунин. – Ты такой проникательный парень, я это ценю. А у тебя-то самого что с Пендерецким? Почему ты так хорошо осведомлен? «Наши давно им баляются...» А сам-то ты?

Черных смутился, реально. Он погладил деревянного Пана по бороде, как девочка, обвел пальцем скрипочку.

– У меня как раз ничего интересного. Нечего рассказывать... Скукота. Это вы, художники, живете ярко, горите пионерским костром. У меня, Миша, офис, МАС, режим, регламент. Задания, решения. Мне творческое горючее ни к чему. Мой бензин – вино, коньяк, виски. Пиво, если хорошее...

Проныл пролетающий самолет. У Дунина портилось настроение от этого нытья, с детства.

– Однако, Леша, ты уклоняешься от ответа. Темнишь.

Дунин начал приплясывать вокруг бывшего одноклассника, водить в одиночку хоровод и петь, импровизируя:

– Колись, колись, колись! Пярт, Пендерецкий! Рухнул мир советский! Пярт, Пендерецкий... Разговор недетский!

– Уймись ты, шут гороховый... Пендерецкий у меня кот. Назвал так. Мохнатый, как этот твой... Ему лет сто уже... как Пендерецкому. Столько не живут.

– Кот?! Кота назвал, скотина? Святым именем?

– Ну, так там была подоплека. Он выл, ныл, был музыкальный котейка... Усы как струны.

– Ой, я сейчас умру от смеха...

– Ничего смешного, Миша. Кот Пендерецкий – вечный. Он пережил двух моих жен... Они живы, живы... просто развелись со мной. Полина третья и, надеюсь, последняя. И вот, Мишаня, у меня кот Пендерецкий. Три жены. И ни одного ребенка! И, судя по магическому числу жен, дело именно во мне...

В начале августа позвонила Алина Шпак. Дунин с женой и друзьями был на Соловках, и за две недели отлучки забыл практически все. Практически...

Скульптор чуть не подпрыгнул, когда на экране загорелось, в одно слово, АлинаШпакритик. Дунин преодолел инфантильное желание пропустить звонок.

– Алина? – пропел он, вложив в одно слово весь имеющийся запас светскости и приветливости. Жене и друзьям комбинацией жеста и гримасы показал, что, мол, важный разговор, и удалился в их с Нютой номер, выкрашенный в цвет поседелой бирюзы.

– Михаил, вы, вообще, где? Я вам отправила сообщения в мессенджере, в ватсапе, в почте.

От этого «вы» на Дунина повеяло спасительным спокойным официозом, здоровой деловитостью.

– Я на северах. В условиях, приближенных к экстремальным (успокоенный Дунин обвел взглядом отличный номер гостинички, с огромной кроватью). – Давно не выходил в сеть. Я ж в отпуске до конца августа... Что-то срочное?

– Да, что-то срочное. И очень важное. Вы когда назад?

– Эээ, – Дунин вдруг перепугался. Ноги стали ватными. Он потер грудь под рубахой. Скульптор вспомнил, со всей отчетливостью, какого джина выпустил на хоть и совсем юное, но весьма хваткое создание. – Алина, дорогая. Вы... в порядке?

– Дорогой Михаил, – пропела теперь уже Алина голосом сладким и противным, как лакица. – Вам нечего опасаться. Напротив, я, кажется, готова сделать вам интересное предложение. Дело-вое, – она хмыкнула, а затем чем-то звякнула. – Восемнадцатого августа в восемнадцать часов, в «Мангусте». Знаете же, где это? Сможете?

Они планировали вернуться как в раз в середине августа.

– Можно, наверное, и у меня в мастерской, – проблеял Дунин неуверенно.

– Короче, мы договорились. Восемнадцатого в восемнадцать. «Мангуст». Пометьте себе где-нибудь, запишите. Узелок завяжите! Все, пока.

Они тогда очень мило съездили в Ч. У Дунина сердце распускалось, расцветало в маленьких российских городках, на тенистых улицах, на сонных площадях с их старинными торговыми рядами, оскверненными каким-нибудь сетевым ритейлом вроде «Магнита» или кафе «У Лукоморья». А эти провинциальные городские парки с циклопическими безудержными деревьями, Аллеей славы, неистовыми цветниками, гипсовыми львами, улитками и богатырями, и совершенно, абсолютно такими же, как в столицах, маленькими детьми. Он готов был умиляться любым муниципальным инициативам, проявлениям городского дизайна, наивным новым веяниям. В этом их городке, в Ч, например, был памятник подкове, город славился, понимаете ли, кузнечным промыслом. И эту подкову на бетонном постаменте, незамысловатую с точки зрения скульптуры и дизайна, без особых художественных достоинств, Дунин с гордостью показывал друзьям как невесту какой арт-объект, достопримечательность, и даже настоял на фотосессии, поскольку подкова, как известно, счастливый символ. Дунин большого города и Дунин, оказавшийся ненадолго в провинции, были два совершенно разных человека. Черных с удивлением наблюдал, как на городском рынке Дунин перездоровался сердечно со всеми продавцами, обсуждал с «хозяйкой» (мясной товар, Еленочка Дмитна) забой кабанчика, особенности копчения, накупил немерено, получил бонусом завитушку домашней колбасы. С прекрасной колбасницей он всех их перезнакомил: это супруга моя, это друг, учились вместе, и его жена-красавица.

Все и вправду оказалось невероятно вкусное, особенно знаменитые местные яйца с оранжевыми желтками. (Говорили, ради цвета желтков кур кормят календулой, в просторечии ноготками.) Вечером Нюта зажарила огромную яичницу, настолько живописную, что, выложенная Полиной, она в тот же вечер стала звездой Инстаграма, собрала длинную бороду лайков, сердечек и эмодзи в виде хлопающих ладошек и облизывающихся личиков.

А совсем вечером, практически уже ночью, Дунин сообщил Нюте, что уедет завтра с Лешей и Полиной, срочное дело, на пару дней. Вернется в среду.

– Что-то серьезное? – спросила Нюта. Она снимала платье и барахталась тонкими руками.

– Людка Терехина в больнице. Перелом, сотрясение. Хочу навестить. И родителей повидать, заодно отвезу продуктов, они любят.

– Боже, – сказала Нюта. – Кошмар... Конечно. Я с тобой не поеду, ладно? В среду встречу на станции. Обними за меня Люду.

Перед встречей в «Мангусте» Дунин как следует поел, с запасом, до ощущения легкой тяжести. Это казалось ему необходимым вкладом в собственную безопасность. Сытость делала его сильнее и уверенней.

Если б было можно, он и кольчугу надел под рубашку.

Что скрывать, скульптор боялся предстоящей встречи. И – собственно Шпак, исходящей от нее интеллектуальной агрессии. Прививку от которой Дунин, похоже, так и не получил...

Наоборот, эпизод в мастерской сделал скульптора более уязвимым.

Честно говоря, Дунин не знал, чего от Алины Шпак ждать.

В «Мангуст» он явился совершеннейшим красавцем: северный загар, буйны кудри и борода, умело укрощенные мастером по бородам. По настоянию Нюты он прихватил для арт-критика северный сувенир в крафтовом пакете: бутылку морошкового ликера производства Петрозаводского ликеро-водочного комбината. За морошковой они специально заезжали в город на Онежском озере и купили два ящика в фирменном магазине у краснолицего желтоволосого карела.

Когда Дунин пришел в «Мангуст», было без десяти шесть. Шпак уже сидела у окна и молотила тонкими пальцами с голубыми ногтями по клавиатуре маленького МАСа. За лето она совершенно не загорела и выглядела, в общем, хорошо, но было в облике Алины что-то такое, что пресекало возможность эстетического ее Дунинымприятия.

Необъяснимое визуально-физиологическое отторжение.

...Паршивая черта, Дунин знал за собой. Эстетический фашизм. Если кто-то не нравился ему внешне, совокупностью черт, вызывал какие-то ассоциации, кого-то или что-то напоминал, Дунин с трудом преодолевал этот барьер, шансов сблизиться почти не оставалось. Тем насильственной выглядело их, противу воли, стремительное сближение с Алиной Шпак. Возбуждавшей в нем с первого взгляда трудно формулируемое неприятие, отторжение.

Объективно, это была яркая, эффектная, привлекательная женщина, к тому же молодая.

...Поглощенная работой, Алина, не глядя, притянула к губам бокал бежевого непрозрачного напитка. Глаза скульптора и арт-критика встретились через стекло. Дунин подошел, бравурным жестом велел поставить бокал и протянуть ему для поцелуя руку. Ручку-с! Условная европейка Алина давно приветствовала знакомых тройным касанием разноименных щек, но старосветские манеры Дунина ей, скорее, нравились. К тому же позволяли продемонстрировать отличный мანიююр.

По завершении поцелуя скульптор вручил арт-критику северный сувенир. Алина, неожиданно, растрогалась. Морошка, – прочитала она почему-то шепотом, – Боже, какая прелесть. Попробую сегодня же.

Еще минут пять заняли усаживания, отодвигание на периферию стола МАСа, изучение нетолстой книжки меню.

– Я почему-то думал, здесь подают змей, – заметил Дунин, водя глазами. Для чтения он вынул из массивного очешника очки в простецкой, без дизайна, оправе.

– Почему? – удивилась Алина. – А, Киплинг... Ну, не все же так буквально.

Дунин взмахнул веслом ладони, призывая официанта.

– Можно мне, как у девушки. Это?.. раф! У вас?.. лимонный! А мне... Какой есть? Вот, хорошо, можжевеловый. Нет, меню оставлять не нужно.

Только после того, как пышный непрозрачный напиток занял место перед Дуниным, скульптор счел интродукцию завершенной. Он уставился на Алину благожелательно-вопросительным взглядом.

В больницу к Люде Терехиной скульптор пришел с большущим букетом. Нюта срезала цветов, обмотала им ноги мокрой тряпичей, чем обеспечила сохранность и свежесть на все три часа пути. И банкой земляники, тоже Нюта. И то, и другое сильно пахло июлем, простором, свободой. Четыре Людиных соседки по палате в отделении челюстно-лицевой хирургии жадно втягивали ароматы лета.

Лица у женщин были разной степени забинтованности.

– Девочки, – сказал им впечатлительный жалостливый Дунин, – не побеспокою?

Уселся на стул у Людкиной кровати, удачно стоявшей рядом с окном. – Терехина, родная, – он обнял однокурсницу, не касаясь. Как фарфоровую, еще не обожженную драгоценную композицию работы Мейсенской мануфактуры. Заказ императрицы Екатерины II, благоволящей ко всему немецкому и предпочитающей мейсенский фарфор, хотя собственный, русский, уже создан, составлен гением эпохи раннего Просвещения Дмитрием Виноградовым.

В Мейсене в конце XVIII века трудился скульптором и модельщиком прадедуска Чайковского. Практически коллега, скульптор.

– Михаил. Мой однокурсник, – прошелестела Люда соседкам своим новым, искаженным голосом. Те понимающе покивали. Дунинский букет у Люды оказался далеко не единственным. – Прекрасный художник. И скульптор. Миша, нальешь им воды? Вот банка, вон раковина.

Люда в целом выглядела не ужасно. Светло-рыжие лисьи волосы горели почти так же ярко. Похудела с виолончели до альты, Дунин-скульптор просекал малейшие колебания формы. Следствие сотрясения мозга с субарахноидальным кровоизлиянием, страшные синяки под глазами, которые так ярко обрисовал ему Черных, – уже отходили, осталась лишь печальная лиловость. Сломанная голень покоилась в гипсе. Перелом челюсти лечили шиной и фиксацией: грубые хирургические брекеты, резинки, стиснутые губы. Говорила Люда сквозь эту конструкцию с трудом, питалась через трубочку.

Оплошал Дунин с земляничкой. Только если нюхать...

– Как же тебя угораздило, мой хороший? – Дунин баюкал Люду в бесконтактных объятиях. – Ты... ничего не хочешь мне рассказать? ...если хочешь! – добавил он негромко и сделал предупредительный жест лопатой ладони.

За распахнутым окном шумели здоровенные клены. Разлапистые листья сквозили контражуром. Неплохое, в общем место, подумал Дунин, но лучше, конечно, сюда не попадать. Особенно летом. Он неохотно отвел глаза от солнечно-зеленой шевелящейся массы за окном.

Людкино лицо собралось, щеки задержались, глаза покраснели. Она, как ребенок, судорожно вздохнула.

– Не надо! – завохтал расстроенный Дунин. – Ну что я за debil такой... Эркюль, блядь, Пуаро...

– Я все напишу, Миша. Мне... так проще. Ты только почту, пожалуйста, читай... – прошептала Люда, вытирая нос.

Оставшееся время визита Дунин травил байки, все подряд, армейские, студенческие, институтские, преподавательские, фольклорные сюжеты, накопившиеся на многочисленных пленэрах. Сначала скульптор старательно принуждал себя к веселью, потом вошел в раж, и уже не только Люда, но и другие «девочки» осторожно засмеялись под своими бинтами и засияли на скульптора глазами, немедленно похорошев.

«Девочки» показали ему наброски, шикарные, легкие, точные скетчи, быстрые портреты – Людка-художница развлекала себя и соседок как могла. Похваставшись, женщины бережно сложили подаренные рисунки в тумбочки, в файлы, журналы и пластиковые папки.

Как, действительно, девочки, а не женщины с искалеченными-изувеченными лицами...

Принуждаемая Терехиной, землянику съела интеллигентная милая Нина с кровати напротив. Нина была укушена за лицо собственной любимой собакой. Сильно пострадал нос. Травма ее была более душевного, нежели медицинского свойства. Нина в палате единственная могла нор-

мально функционировать ртом, остальные, как и Люда, были зашиты. На смущенно поедающую ягоды Нину смотрели единой матерью в пять пар глаз, переживая – пережевывая вместе с ней душистую плоть земляники.

Расчувствовавшийся Дунин, уходя, перецеловал всех обезображенных «девочек» в свободные от бинтов участки лица. Терехину обнял аккуратно, но ошутимо, желая убедиться в ее материальности.

Это за Нюту, сказал, она просила.

Дунин оставался в челюстно-лицевом, пока его не попросила на выход дежурная сестра. Это была крошечная, совершенно неопределимого возраста женщина со следами ожогов на лице и скрипучим голосом горгульи. Когда Дунин уходил, она была на сестринском посту, сидела за столом, не доставая ступнями до пола. Скульптор сказал ей любезность. Маленькое средневековое лицо, пережившее ужас пожара, не выразило не удовольствия, ни раздражения.

– Михаил, а вы точно не голодны? – уточнила Алина Шпак. – Вам же решение принимать придется, – тут она широко и несколько принужденно улыбнулась. – На пустой желудок не айс...

Дунин решительно помотал головой и мысленно поздравил себя с хорошей подготовкой.

– Итак. Перейдем к сути. Ко мне, как к... человеку с определенным статусом... репутацией... иногда обращаются со всякого рода задачами. Искусство ведь многое может. Не только висеть на стенке в галерее. Современное искусство – это, в первую очередь, коммуникация.

Дунин прилежно слушал, пытаясь понять, куда клонит востребованная арт-критикесса.

– Ко мне обратились представители известной сырьевой компании. Вы ее тоже знаете, не можете не знать. Я назову, чуть позже. Им требуется привлечь внимание к одному из продуктов, производимых из данного сырья. Очеловечить его имидж. (Дунин почтительно поднял брови.) Там сложная система связей, иерархия: сырьевики, производители собственно полимерной продукции из добываемого сырья, вам сейчас в это необязательно вникать. Хотя потом, конечно, придется. Так вот, по счастливому стечению обстоятельств, Михаил, данным продуктом, нуждающемся в... пиаре, назовем это пока так, оказался... – Алина сделала шикарную паузу, – пупырчатый оберточный материал!

Дунин слушал изо всех сил, но смысл Алиных слов ускользал от него. Слово «продукт» упорно ассоциировалось с продуктами, с едой, хотя он знал, что в маркетинге так называют все что угодно. Острый, немного с клеточным голос Алины мешался в его голове с видами Соловков, еще не остывших в памяти, и криками чаек. Услышав слово «пупырчатый», Дунин вспомнил грозди морских огурцов, фукуса, разложенных по полотну литорали во время отлива. Вот кто пупырчат так пупырчат! Закусить водку студенистым фукусом Дунин так и не решился, и теперь об этом жалел. Представится ли еще такая возможность...

– Пупырчатый. Оберточный. Материал! Михаил, у вас что, правда, никаких ассоциаций?

– Почему никаких? В пупырку упаковывают хрупкие вещи. Скульптуры, в моем случае. У меня целая бобина в мастерской...

– Это все? – в голосе Алины слышалось неподдельное удивление.

Дунин был озадачен.

– Так. Дайте подумать... Ну, конечно! Пупырка – известный антидепрессант... говорят. Насколько мне известно, многие... да, наверное, все?.. любят лопать эти пузырьки. Приятное занятие... тут есть что-то и от сладострастия, – умничал Дунин. – Я даже помню, была однажды рекламная кампания успокоительных средств. Там фигурировала пупырка. Однажды все метро плакатами завесили... Какое-то лекарство, какое, конечно, не помню. У меня студенты втихаря ей шелкают, я их гоняю. Да я сам, Алина, иногда застаю себя за этим занятием, – признался Дунин с интимной улыбкой.

Алина, напротив, была пресерьезна.

– Вы, конечно, не пользуетесь успокоительными? – уточнила арт-критик странным голосом, интонацию Дунин не распознал. – Нет, Михаил, все это мимо... в молоко... так, кажется, вы говорили. Знаете, я поражаюсь вашему... что ли... целомудрию. Вы правда не понимаете, куда я клоню?

Дунин почувствовал себя неуютно. Куда она, действительно, клонит? Сырые, продукты, корпорация, пупырчатый оберточный материал. Ребус какой-то...

Несмотря на успокоительную наполненность живота, скульптор махнул принести меню.

Миша, привет. Пишу вот.

Спасибо за цветы и землянику. Девушки мои в тебя влюбились. Умеешь ты, Мишаня))

Про то, о чем не говорят вслух. Конспективно.

Услышала по ТВ, в Новой Опере играют Страсти по Луке П. И сам П приезжает в Москву на премьеру.

Это как из телевизора обращаются к тебе лично. Мадам Терехина, вас тут спрашивают. И всю четвертую группу)

Меня заело) наш, личный бес в Новой Опере. Не где-то в магнитофоне)) кассетном))) Думала, думала

Миша, и он меня достал) догнал. Что я думаю, тварь дрожащая, или право имею?

Завела себе Страсти по Луке, пока никого дома не было. Просто интересно же. П нам не чужой)

Дома никого, мебель накрыта, ремонт. Окна настезь жара. Думала, сейчас покрасим, поклеим и свалим, не могу летом в городе.

Пошли эти П-штучки. Музыка сложная. Хор, голоса. И я ее понимаю, Миша, чувствую. Не как тогда...

А утром меня сестра разбудила в больнице. В промежутке ничего. Черный квадрат Малевича

Хуже всего, Вадик решил, что я двинулась умом. Прочитал, такое бывает. В нашем возрасте))

..... (брань).

Обнимаю) Не наступай на мои грабли.

И контекстная реклама: летнее меню в «Граблях». Жареные лисички. Огуречный морс.

Тьфу.

Когда Дунин вернулся с Соловков, Терехина уже неделю как вышла из больницы. *Страсти по Луке* стоили ей восьми килограммов веса. Под челюстью остался малозаметный шрам. Пострадали, но поправимо, зубы. Появился тик правой стороны лица, не очень заметный. В целом, для полета с третьего этажа Люда отделалась малой кровью. Правда, смертельно напуганный муж и дети теперь не оставляли вольнолюбивую Людку одну.

На Соловках Дунин встретил Гоча. А может, и не встретил... И не на самих Соловках, а на теплоходе «Василий Косяков», доставляющем пассажиров из Рабочеостровска. То есть прямо в Белом море.

Туда добирались просто отлично. Небо синело, солнце слепило, все рвались сидеть на верхней палубе, где, несмотря на вроде бы жару в Рабочеостровске, было довольно холодно, Дунин и Нюта намотали на себя все что было. Чайки стаей преследовали «Косякова», выдирали из рук пассажиров еду, хлеб, рыжие пончики, которые бесперебойно готовили и продавали тут же, на теплоходе. Дунин и Нюта тоже пошли кормить чаек, конечно, не ради сытости наглых пернатых, а ради фотографий, чаячьих морд, круглых глаз, лап, бьющих крыл. Все смешалось на задней палубе: чайки, пончики, брызги, крошки, поднятые руки, задранные телефоны и камеры, градом летящий в обратку птичий помет, от которого все ловко уворачивались.

Потом кто-то завопил, зауhal: белухи, белухи, все бросили чаек и побежали на нос, где давали белух. Далеко, едва видные, бледно-серым колесом крутились в темной воде северные киты.

Остров и на нем монастырь, показавшиеся вскоре после белух, приближались как в кино, как прибытие поезда. Замерзшие и счастливые, Дунин и Нюта слезли с «Косякова», и снова сделалось тепло, и они тут же попали в объятия приехавшей на пару дней раньше Веры, верного друга семьи, тоже художницы, но не с Дунина, а с Нютиной стороны.

На Соловках больше недели стояла неестественная, но радостная и желанная для всех жара. В сочетании с белыми ночами это дало опьяняющий эффект, Дуниных качало от счастья, спокойной любви, трагической красоты острова и его истории, от каменных лабиринтов, черных озер, монастырских копанок, морских брызг, белух и чаек и, самую малость, от морошковой, под золотистым переливчатым знаменем которой прошел весь соловецкий период лета.

Дунина распирало от полноты бытия. Жизнь, казалось, незаслуженно щедра к бородавотому скульптору. Он изнемогал от благодарности, ходил и улыбался, был скор на слезу умиления. Кто только не обращался к нему с вопросом любого свойства, как дойти, где найти, который час, Дунин притягивал людей как намагниченный.

И Дунин, и Нюта были на Соловках впервые, в совокупности с жарой и солнцем это дало эффект медового месяца и фиесты. Они постоянно встречали здесь знакомых, кого на велике, кого с гитарой, кого с этюдником, знакомых педагогов, экскурсоводов, и все – прекрасные люди. Экспромтом собралась чудесная легкая компания. На великах они стогнали на Муксалму. Пешком – на мыс Печак с его седым песком и образом края земли. Разведав расписание приливов-отливов, самостоятельно спланировали и осуществили экспедицию на мыс Белужий. Здесь увидели не просто белух, а целое белужье семейство, родителей и малыша, те крутили свои колеса совсем рядом, в заповедной близости, и еще несколько белух обнаружились поодаль. Людей звери не боялись и не стеснялись, настолько ощущали мыс своим местом. От берега на Белужий и обратно шли по заголившейся, почти сухой литорали, обходя пучки обмякших водорослей, связки фукусов, цветы морских звезд. Велики, на которых доехали по грунтовке до нужного места (асфальтовых дорог на Соловках не было), спрятали в лесу, забросали лапником и, что удивительно, нашли (чудом, казалось девушкам). Прекрасное, как по нотам приключение, они сами срежиссировали вместо того, чтобы вместе с экскурсией идти к белухам втридцатером. Путешествие было слегка омрачено падением на обратном пути легонькой Веры с велика, сильно разбила коленку.

Правда, на Анзер не попали, не успели, но решили, будет повод вернуться...

Погода испортилась за пару дней до отъезда, и пришли одновременно холод, морось, промозглость. Дунин немедленно простудился. Ну и ничего, зато не обидно уезжать. Уже когда шли утром на причал, стало ясно, что будет качать. Загрузились на «Василия Косякова». Сек мелкий дождь, на верхнюю палубу никто не рвался, на лестнице образовалась маленькая пробка.

Поплыли, и довольно скоро закачало так закачало.

Сначала все сидели, переговаривались. Крупная блондинка сзади рассуждала в том духе, что совершенно нечего на этих Соловках делать, за несколько часов можно все посмотреть. Хваленые Соловки ей решительно не понравились, в отличие от Петрозаводска с его прекрасной набережной, услышал Дунин. Дама путешествовала с туристической группой и возвращалась к себе в Липецк.

Довольно скоро разговоры стихли. По рядам, почти видимая глазу, поползла дурнота.

Доползла она и до Дунина. Скульптор решил пойти на верхнюю палубу, веря в целебную силу свежего воздуха, внизу и вправду было душновато. Нюта, которой тоже поплохело, наверх идти отказалась, она нашла безопасную позу и замерла в ней. Приплясывая и раскачиваясь, Дунин пошел к лестнице. Наверху, несмотря на свежесть, ветер и морось, было не лучше. «Василий Косяков» плыл по серому Белому морю под серым небом, и то слева, то справа пропадал из поля видимости горизонт. «Косякова» катало как яблочко на тарелочке. Дунин никогда не плавал по морю в шторм, а это был шторм, хоть и не великий по баллам. Здесь не было ничего от пышных,

эффектно переливающихся волн Айвазовского, а была просто пляска горизонта, качание на серой бескрайней доске морских качелей. Дунина вывернуло прямо за борт, тогда он осознал, что неспроста многие пассажиры любят в непогоду морем, а не сидят внизу.

Вроде лежало. Скульптор пошел вниз к Нюте доложить обстановку. Навстречу, наверно, шли люди с серыми лицами. Стояла плотная очередь в туалет. Плакал ребенок.

Нюту тошнило в серый пакет для мусора, их, отрывая от рулона, раздавал средних лет разбитной матрос, тот же был и на пути туда. Может, это и был сам Василий Косяков.

Почему бы им не раздавать еще и карамельки, подумал Дунин, не обеднели бы...

Морская болезнь разметала ряды. Раздавались характерные звуки и, к сожалению, запахи. Прямо за дунинской спиной тошнило девочку лет восьми, и он вслед за ней почувствовал новые позывы. Скульптор снова встал и, качаясь, пошел по салону к матросу за пакетом. Матрос стоял твердо, как вкопанный, со сдержанной улыбкой на красном прокаленном лице.

Вальсируя к нему по салону нижней палубы, Дунин заметил новые лица. Двое пожилых мужчин уютно расположились на полу у стенки, они пили водку и закусывали крутыми яйцами.

От страшного зрелища внутри у Дунина все взмыло, взлетело, и тут в одном из мужчин он узнал постаревшего Гоча.

Скульптор несколько раз глубоко вздохнул, осаждая внутри волну. Огромным усилием добился от себя устойчивости и твердо подошел.

– Эээ... Эдуард Львович?

Все тот же лоб, прорезанный линейками нотного стана. Плешь. Яркие светлые глаза. Одет – турист не турист, художник не художник. Неухоженный, подумал Дунин не своим словом, Нютиным.

Гоч откликнулся после небольшой паузы, всмотревшись.

– Да, Миша... Михаил Дунин? Я ведь не ошибся?

– Вы... меня помните?? – потрясенно сказал Дунин. Он почувствовал себя худым, безбородым, двадцатидвухлетним.

– Прекрасно помню! И всю вашу группу. И наши замечательные сессии с авангардной музыкой. У меня сохранились снимки! – Гоч всем телом повернулся к бородатому соседу, – Толя, я ведь не рассказывал тебе? Это был очень интересный опыт соединения музыкального, визуального и пластического... Вот, Миша свидетель.

– Так вы – писатель, Эдуард Львович? – с места в карьер спросил ослабленный морской болезнью Дунин. В здоровом состоянии он вел бы разговор поманевренней.

– Ну, какой там писатель... Сочинитель. Как и все мы... Как, наверное, и вы, Миша? – и Гоч посмотрел на Дунина в упор, засмеялся клекочущим смехом. Только сейчас стало заметно, что он сильно пьян. – Миша, а давайте-ка присоединяйтесь к нашему скромному фуршету...

Гоч откуда-то из-за пазухи, из-под слоев клетчатой фланели и серого трикотажа, вытянул ополовиненную бутылку водки. Его сосед радушно протянул Дунину яйцо и пустой пластиковый стаканчик.

Тошнота накатилась девятым валом. Дунин со стоном, прикладывая руку то к сердцу, то к желудку, качаясь, помчался к лестнице на верхнюю палубу, к свободному месту у борта.

...Его тошнило всеми завтраками, обедами и ужинами, вчерашней вкусной ухой, нежной золотистой моршковой.

Страдая и стыдясь, Дунин надеялся, что борта «Василия Косякова» с развешанными по ним обедами и ужинами умоет холодное, редко выдающееся летом больше двенадцати градусов Белое море.

Качающего его, как горошину, на своих серых мокрых качелях...

Когда скульптор пришел в себя, выяснилось, что страданиям пришел конец. «Василий Косяков» практически прибыл в порт Рабочеостровска, где супругов ждала на стоянке их машина и был забронирован номер в гостинице «Причал», миновать которую не удалось, кажется, никому из путешествующих на Соловки.

С бледной пошатывающейся Нютой они не без труда отыскали в багажном отсеке свои вещи, два рюкзака, большую на колесах сумку и папку с художественной амуницией, но напрочь потеряли Гоча.

Он не увидел Гоча ни среди сходящих по трапу пассажиров, ни среди постояльцев единственной в Рабочеостровске гостиницы, ни в паломнической службе, где можно было за недорого заочевать на нарах, скоротав время до автобуса на Кемь.

Глазастая наблюдательная Нюта вообще не заметила выпивающую парочку.

Веселые питухи, Гоч со спутником, как сквозь землю провалились.

– Значит, Михаил, мы начнем с вами с чистого листа, – сказала Алина Шпак терпеливо. – Раз вы не считываете мои намеки и подсказки.

Дунин пожал плечами, развел здоровенные ладони. Тут же на освободившееся перед ним место официант поставил заказанное блюдо, неожиданно, хачапури по-аджарски. Горячая лодка из теста с запеченным сыром и яйцом.

Хачапури пахло успокоительно.

Алина благосклонно подождала, пока Дунин разрушит конструкцию и препроводит несколько кусков в бородатый рот. Она явно одобряла его интерес к еде.

– Вы ешьте, а я пока буду рассказывать. Кстати, здесь хорошо готовят. Итак, пупырчатый оберточный материал. Отделу продвижения уважаемой компании, ее имя я вам назову чуть позже, наприходили в голову прекрасные идеи. Превосходные, правда. Фестиваль пупырки – как вам? Прямо мурашки по коже... Тут контент можно привязать какой-угодно... Тема богатейшая. Хошь ландшафтный дизайн, хошь уличный театр. (Дунин кивнул с полным ртом.) Проект с подключением дизайнерских институций: международный конкурс проектов из пупырчатого материала. Чуть ли не литературный поединок: за что я люблю пупырку. Звучит дико, но идея не самая тупая, учитывая упомянутый успокоительный аспект.

Хачапури было только из печки. Яйцо и сыр утекали из лодочки. Дунин сражался за вкусную начинку, старательно вслушиваясь и не забывая изображать живой интерес.

– Возглавить эту историю в качестве куратора коллеги пригласили меня. Благо это уже шестой подобный проект в моей практике. (Дунин уважительно поднял брови.) Да, Михаил, вы ведь ничего про меня не знаете. Не интересуетесь... Мне кажется, ваше поколение все такое. (Дунин собрался горячо возразить и взмахнул вилкой, но Алина остановила его решительным движением руки.) Позвольте, я закончу.

Дунин, наконец, справился с аджарцем. Как он и опасался, еда подточила его силы и ослабила внимание.

– Когда коллеги изложили мне задачу, я сразу же, прямо на встрече, поняла: ну вот же, все сходится! Эта пупырка, которую нужно прославить каким-то особенным, концептуальным способом. Обстоятельства двух наших встреч. Этот ваш, Михаил, загадочный проект, который вы презентовали нам в мае. Imponderability. Мой огромный пост о нем, с фотографиями, вызвавший большой интерес и резонанс... Вы хоть читали?

– Каак? – поразился Дунин. – Им-пон...

– Я так его назвала, – не моргнув глазом сказала Алина. – Imponderability. Невесомость. По-моему, идеально. Тем более что мне ведь пришлось двигать скульптуры с места на место. Они и правда ничего не весят... К тому же название отражает, помимо всего прочего, суть материала. Из которого сделаны объекты. Из, Михаил, ПУПЫРЧАТОГО. ОБЕРТОЧНОГО. МАТЕРИАЛА.

– Да, интересное совпадение, – удивился Дунин. – Там пупырка, и у меня пупырка... Бывает же такое.

– Это не совпадение! И не стечение обстоятельств... Да как же вы не понимаете! – Алина всплеснула руками. – Это... пришествие в баланс и соответствие всех возможностей, совокупно, моих и ваших! И, давайте уже спустимся с небес, это шанс нормально заработать!

– Таааак, – оживился Дунин. – Тут я вообще не понял.

– Заработать. Денег. У проекта вполне приличный бюджет.

– На чем именно? – удивился скульптор. – Заработать денег...

– А вот здесь вам придется довериться мне. Я продам и подам ваш – наш! – проект. Неважно... нет, даже хорошо, что он был создан ДО поставленной коллегами задачи. А не сделан на заказ, под бюджет. Вы шли собственным путем! Независимо от. Вы самостоятельно докопались до художественных возможностей материала... Пластических, эстетических. И построили на них коммуникацию... Вы поняли, вытащили самую суть материала! Показали его красоту. Это странно, Михаил, но вы что-то почувствовали. Уловили... Считали... Оно носилось в воздухе... И вы его поймали (Алина сделала жест, будто схватила комара или муху.) Что именно? Актуальный запрос! И создали эту серию объектов. Знаете, а ведь я не зря тогда вас пытала! Мне казалось: откуда, на ровном месте? С какого такого перепугу? Но вот все и разрешилось. Пазл сложился. Это никакая не художественная мистификация! Это – ответ на сформированный художественно-коммуникационный запрос. Ответ, появившийся чуть раньше вопроса, предвывая, предчувствуя его! Понимаете? Вы гений, Михаил, вот что я вам скажу. Вы гораздо умней, интуитивней и тоньше, чем я могла предположить. И я вас поздравляю!

– Спасибо, – скромно сказал так ничего и понявший Дунин.

Помолчали. Алина явно устала от долгой речи, выдохлась. Дунин пытался уложить сказанное в голову. Главное, что он уловил, – можно заработать. Это привлекало. Скульптор всегда с радостью (мужественно скрываемой) брался за любые виды художественной халтуры (в хорошем смысле этого слова). Преподавательское жалование было не самое ничтожное, но заработать хотелось. Вот, например, в Сахарово до сих пор не было бани!!! Это ж стыд какой... Дикость! Дунин все собирался срубить баню сам, но постоянно не хватало то времени, то денег. А тут банька, небольшая, но основательная, с осиновою обшивкой, с аккуратным предбанником, с крылечком, с запахами шалфея и зверобоя... Душицы! Как живая, баня встала у Дунина перед глазами.

– И... как? Что нужно делать? – первым нарушил молчание скульптор.

– Вот! Хороший вопрос. Я стою перед выбором... Не знаю, как лучше поступить... Либо выставка ваших работ, Невесомости. Снять хороший престижный зал в художественном кластере. Какую-нибудь АРТ-БОЧКУ. Или АРТ-ЛОФТ на МЫЛЕ, цеха бывшего мыльного завода, там сейчас очень элегантное место, концептуальное. Либо. Я сделаю так, что они выкупят серию. И будут выставлять. Экспонировать. Вozить. По стране. По миру. Под, разумеется, моим чутким руководством. Выкуп коллекции и вам выгоднее, больше денег. Это будет сумма с пятью нулями.

– Вы... собираете выставлять Пендерецкого? Продавать? Милая Алина, это абсолютно невозможно! Этого делать нельзя...

Алина сложила руки замком, голубые овалы ногтей встали узором. Опустила голову. Уставилась на стол перед собой. Тонкие ноздри фетончато задрожали.

Пользуясь паузой, Дунин собрал соломинкой остатки можжевелевого рафа.

Алина Шпак обессиленно молчала. Похоже, она меньше всего была готова к отпору и перестала ориентироваться в пространстве.

Скульптор миролюбиво коснулся бело-голубой руки. Арт-критик дернулась как ошпаренная.

– Дорогая Алина, – сказал Дунин ей в макушку, Шпак продолжала смотреть в стол. – Я вообще не вижу проблемы! Я весь ваш... Я ценю и вашу статью, и все, что вы сделали. Я дико благодарен за то, что вы выдвинули, так сказать, мою кандидатуру. Я готов сотрудничать! Мне все это

очень интересно... Я не только скульптор, я ведь еще и педагог. Я могу провести мастер-класс... серию мастер-классов по работе с пупыр... чатым упаковочным материалом (Дунин почтительно назвал пупырку полным именем.) Воркшопы, что хотите. В рамках этого вашего пупырчатого фестиваля...

Алина молчала, глядя в стол.

– Если вам так дорога тема объектов, я легко сделаю новую серию. Какую хошь, дайте тему, задачу и две... три... а лучше четыре недели сроку. Я могу сделать их большего размера, крупнее. Эти мои все же мелковаты. Для ваших грандиозных кураторских планов... Я могу сделать очень большую серию... несколько десятков скульптур! Ну? Алина, кончайте дуться. Покажите личико! Я хочу снова видеть энергичную улыбку на красивом лице художницы-авангардистки.

Алина Шпак подняла голову и показала Дунину перекошенное яростью лицо. Щеки тряслись. Губы змеились. Болотистые глаза протухли, затянулись раской.

Алина Шпак заговорила. В тихом голосе арт-критика стыл могильный холод.

– Знаете, Михаил. Я еще сохраняю. Остатки надежды. Что вы. Не клинический идиот. Не шут гороховый. С дурачками. Принципами. И копеечными. Целями. Полный. Нелепых суеверий. А трезвый. Взрослый. Умный. Рациональный. Человек. Талантливый! Грамотный. Вы – еще не поняли? – Я даю вам шанс. Вылезти из вашей пыльной... институции. Из круга этих ваших камерных тусовок. Пьяных междусобойчиков. Обнимашек. Пейзажиков, скульптур. Выйти на нормальный – слышите – уровень!

Настал дунинский черед прожигать дырки в столешнице.

На визави он боялся взглянуть, руки чесались схватить, придушить, заткнуть рот.

– ...мне не нужны, – продолжала Алина, – ни ваши сиротские мастер-классы. Ни ваши слепленные на заказ произведения. Заранее смешные мне своим старательным показным концептуализмом. Наше сотрудничество возможно только в одном случае. Одном-единственном! Если вы. Предоставите. В мое полное распоряжение. Как куратора, как продюсера – серию Imponderability!

Дрянь, думал Дунин, вот дрянь. Она не позволила бы себе этот омерзительный уничижительный хамский тон, если б я тогда ее не трахнул.

Скульптор поднял на арт-критика глаза. Столешница, несмотря на силу чувств, осталась неповрежденной.

– Нет! Нет, и еще раз нет, как говорили в старину, когда я был молод, силен и полон надежд, как вы, дорогая Алина. Рассчитайте нас, пожалуйста! – и Дунин помахал, как флагом, замершему у стены официанту.

На открытие позвали всех. По списку, чету Че (ЧЧ), Люду с мужем и детьми в любом составе, Лизу с Германом, Саакаянц с кем захочет, аналогично Игнатъева, Витала, «всех наших». Из ненаших планировалась только подруга Нюты верная Вера.

Миша собирался попарить каждого лично. По случаю премьеры.

Баню замыслили в сентябре. В первых числах октября она была уже полностью готова к эксплуатации.

Это была баня мечты. Такая не посрамила бы Абрамцево или Талашкино. Помимо необходимого функционала, в ней была и эстетика. Архитектура! Сочиняя проект, Дунин оторвался по полной. Дал себе волю. Все продумал и предусмотрел. Точный расчет шел рука об руку со смелыми фантазиями; в кои-то веки сошлись воедино необходимые факторы, во главе, конечно, с деньгами. Дунин вымерял и вычерчивал баню, будто это был секретный завод по производству таинственных веществ. Эндорфинов. Или летательный аппарат, что – в образном, эмоциональном смысле – соответствовало хозяйским чаяниям. Уже на стадии проекта Дунин знал в своей бане каждый угол, каждую доску, каждый гвоздочек. Где что будет и как встанет.

Скульптор советовался с лучшими банными специалистами. Пропадал на банных форумах.

Слава возможностям, баня в Сахарово не обязана была быть крошечной и даже маленькой. Это была баня с размахом, с учетом гостей. Баня щедрая, призванная оздоровить и порадовать всех, друзей и родственников Дунина и Нюты и друзей их друзей.

В состав бани вошли такие архитектурные излишества, как переворачивающаяся бочка. Кедровая купель. Просторный предбанник. Большой стол с лавками. Огромный красивый ларь для банного текстиля, простынь-полотенцев.

Сооружала баню опытная, даже матерая банная команда во главе с Игнатом, в рифму, как и заказчик, бородатым. Игнат догадался про эту баню, что она больше, чем баня, что-то почувствовал и выкладывался как Барма и Постник, понимая, что сооружение войдет в историю. Про Дунина он почуял, что тот крупный деятель искусств и, скорей всего, знаменитость, но сколько Игнат не силился соотнести виденные по телевизору бородатые лица, Дунина не узнавал. Тактичный человек, работающий с особым контингентом гедонистов, Игнат не приставал, не уточнял и не выпрашивал.

У скульптора было искушение, просто руки чесались, вырезать для украшения банного пространства мясистых русалок и банного черта, хтонь в духе Голубкиной и Коненкова.

В порядке жертвоприношения и для усиления банного культа.

Но, крепко подумав, Дунин все же не стал этого делать, решил не разводить нарратив с фигуративом. Раз он теперь актуальный художник.

Функционально, элегантно, красиво. Все!

Строго по науке, банной.

Закупились алкоголем, Нюта наварила морсу. Привезли из Ч полный багажник свежего, ароматного, вкусного. Дунин замариновал чан шашлыка.

Хозяйка любовно, как цветы, срезала на единственной грядке припозднившуюся зелень, спасибо теплой осени. И поздние цветы, их-то как раз было много.

Специально для приема Нюта накупила в ИКЕЕ постельного белья, полотенцев всех размеров и видов, ковриков, тапочек и миленьких керамических емкостей с дозатором.

Встреча с Алиной Шпак чуть не стоила скульптору здоровья.

Из «Мангуста» он вернулся с полным желудком и, хотя не пил, по пьяному лихой. Восполнил пробел моршковой, ее запасы быстро таяли. Чисто символически отпраздновал победу.

К утру подскочило давление. Нюта вызывала скорую, испугались.

Приступ купировали.

Все вошло в колею, но шуршащим по ночам древоточцем в сердце завелась тоска.

Ощущение победы сменилось похмельем, оскоминой проигрыша.

Дунин чувствовал себя набитым дураком. С Алининой интонацией: Претенциозным. Старомодным. Суеверным. Цепляющимся за ему только ведомые принципы. И идеалы. Непроходимым дураком. Упустившим. Свою. Удачу.

И, главное, не с кем, абсолютно не с кем было обсудить... И, особенно, посоветоваться.

Не с Лешей же.

Не с травмированной Людкой.

И не с Нютой.

Хотя почему?

Не поздним вечером в самом конце августа Дунин усадил Нюту в кресло-качалку из лозы. На улице, под навесом из зеленого поликарбоната, пропускавшим розовое закатное солнце с цветowymi искажениями.

Сказал, имеет сообщить что-то важное.

Нюта немного испугалась, сбегала в дом за пледом и сигаретами...

Настроила пепельницу, закурила, кивнула ему, как концертмейстеру: можно.

Дунин начал с хорошо ей известной байки про занятия ТСО. Про то, как их заставляли рвать и мять под музыку авангардистов.

Разумеется, в качестве смешилки из студенческой юности история рассказывалась, и не раз.

– Стоп, – сказала Нюта. – Это тот самый Гоч? Который примерещился тебе на «Косякове»? С яйцами?

Дунин кивнул, продолжил.

Эпизод с погромом столовой Нюта тоже в общих чертах знала, он фигурировал в качестве продолжения музыкально-художественного сюжета с арт-сессиями. Не знала она о совпадшем по времени романе с Лизой Капустиной и о тяжелом разговоре с замдекана, в графу «забавное» тот не входил. Сейчас про скандал в деканате Дунин решил дорассказать, для усиления драматизма. Про Лизу, разумеется, нет.

– А теперь, внимание, начинается мистика, – продолжил Дунин. – Или не знаю как еще это назвать. Мне, конечно, нужно было раньше тебе рассказать. Да вроде повода не было...

Нюта закатила глаза, выпустила в небо завитушку дыма в форме скрипичного ключа.

Последовал рассказ о новой, двадцать лет спустя, встрече с Пендерецким.

О памяти жертвам Хиросимы.

О бобине пупырчатого упаковочного материала.

О рождении УЖАСА в испарине творческой радости.

О выросшей из коллаборации с паном Пендерецким серии скульптур, на тот момент еще безымянной.

О Невесомости. Дунин назвал объекты поименно, буднично, как рядовых на утренней поверке.

О своих догадках.

О коллекции «Пан» Нельки Васильевой.

Об истории, произошедшей с Побельским.

О коте Пендерецком.

О Людке и обоях.

Потом он рассказал в деталях и подробностях историю с Алиной Шпак и ее исканиями, включая знаменательную встречу в мастерской в день рождения Пушкина, исключая половой акт на верстаке.

Чтоб избежать скользкой темы, пришлось опустить и принципиально важный, ключевой эпизод следственного эксперимента. В противовес Дунин усилил линию сомнений и гипотез Алины, вывел ее еще более агрессивной, напористой, наглой, – для логичного перехода к кульминации.

А именно – к звонку на Соловки, последовавшей встрече, фестивалю пупырки (Нюта оквадратила глаза) и, наконец, лестному предложению.

От которого он отказался... Сгоряча? В сердцах? Радуюсь возможности дать отлуп наглой самоуверенной Алине? Страхась выпустить на простых смертных странное лихо, неуправляемую стихию, тайную благодать? (он не знал, что именно...)

По этой последней версии Дунин выходил защитником человечества и супергероем, благородным и бескорыстным.

– Так чего ты хочешь от меня? – до обидного спокойно спросила Нюта. Красивым движением жена скульптора стряхнула пепел. Дым уходил в закатное небо, чистое, гладкое и грустное, какое бывает только в августе.

Похоже, Дунину не удалось передать драматизм, мистическую подоплеку, экзистенциальную путаницу этой странной истории.

– Так, Нюта. Речь идет... шла. О деньгах. Больших деньгах. Деньжищах. Мы с тобой что, миллионеры?..

Нюта смотрела на мужа в упор. Риторический вопрос оставила без ответа. Кивком предложила продолжать.

– ...вот я и думаю. Может, я сочинил весь этот Пендерецкий хоррор? Придумал себе? И все мы? Групповой морок. Коллективное помешательство... А на самом деле – просто цепочка совпадений? Художественная мистификация. Само-мистификация! – Нюта спокойно слушала, глядя на запад, в самую яркую часть неба, куда засасывало ее аккуратные дымки, и молчала.

– Я в детстве читал повесть Виталия Губарева. Не помню, как называется. У меня сборник был... В повести фигурировал волшебный платок. С помощью этого платка трое друзей-пионеров из московской квартиры попали на необитаемый остров, затем в лапы пиратов, и спаслись тоже благодаря платку, волшебному. Его так в семье называли, волшебный платок. В самом конце повести выяснилось, что это из-за бабушки. У нее часто были мигрени, она обвязывала этим платком голову, стягивала, и ей легче было. Потому и волшебный. Может, Пендерецкий потому и «волшебный» (Дунин показал пальцами кавычки) для нас! Что он у нас в голове что-то стягивал. И у нас что-то под его музыку получилось. Вот у меня, например. Не под Баха же. Не под Сибелиуса. Не под Лед Зеппелин. Не под Шнитке, Карамазов Твинс... У меня ведь все время музыка в мастерской... Но таких приходов ни разу ни с кем не случалось. Пока не завел Пендерецкого... Видно, Гоч нас так выучил. Как собаку Павлова. Развил нам условный рефлекс. Под Пендерецкого у нас течет слюна – хочется творить, образы прут, руки сами собой что-то выделывают...

– А Людка? А Побельский? – трезвым, звонким голосом уточнила Нюта.

– Побельский... Честно говоря, он всегда был с тараканами. Рыхлый, маленький говорун. С расплывчатой ориентацией. Ну, или мне сейчас так кажется. Послушал Пендерецкого, расчувствовался... И полез. Может, даже ничего дурного – полового – не имел в виду. Просто напугал ребенка. А вот с Людой – не знаю! Темная история... Самый непонятный эпизод. Может, у нее был депрессняк? Какие-то проблемы, мы же не знаем. А тут музыка эта... Только вот обоим... На бумагу у нас как раз условный рефлекс выработан. Тут явный след Пендерецкого и Гоча.

Оба молчали. Небо гасло, Нютина сигаретка индифферентно коптила на краю пепельницы.

– Зачем ты все это мне рассказал, Дунин? Именно сейчас. И с такой загробной серьезностью... Дунин поскреб в бороде. Он изнемог от дурацкой исповеди.

– Так, Нют, я посоветоваться хотел. Мне соглашаться? Или послать эту Алину Шпак и ее пупырчатый фестиваль куда подальше? Я не пойму... Каша в голове. Все смешалось: страхи, суеверия. Корпоративная этика (он невесело ухмыльнулся). Это вроде как наша общая тайна, не моя. Но при этом и наш капитал, да? Саакянц правильно назвала: «ресурс». И еще – желание денег.

– И славы? – быстро уточнила Нюта.

– И славы...

На столе заерзал, замигал дунинский смартфон.

– Подождешь, – зло сказал ему скульптор. – Не до тебя, блин... У нас есть... что-нибудь выпить?

Звонила Алина Шпак.

От нее же синела смс-ка.

Согласовала ваша ч 1 000 000

Что за ч?

– Миша, я не знаю. Я ж не экстрасенс... Не провидец... Я, правда, не знаю, – сказала Нюта тусклым голосом. Будто у нее внезапно разболелась голова.

– Ты не боишься?

– Я в принципе боюсь. За тебя. Ты старше. Приступ вон был... Давление скачет. Я всегда боюсь, Миша. Мне кажется, я всех вас, тебя, родителей, племянника, друзей, Макса, Веру, держу на кончиках пальцев. Вот так... Иначе все рухнет. И мне нельзя опускать руки... Но, – голос ее скомкался. Дунин хотел что-то сказать, Нюта жестом велела ему заткнуться.

– ...но я боюсь страхов. Страх подлая стихая. И хитрая! Я не хочу, чтобы мной управлял... повелевал страх. Не собираюсь. Страх – это вызов. Всегда нужно идти против страхов. Там, куда они нас не пускают, есть что-то важное. Они боятся, что мы увидим и узнаем...

Нюта смяла сигарету в пепельнице и тут же закурила следующую.

Дунин смотрел на красивое честное лицо, правдивые губы, искренний подбородок.

– Мой хороший, – сказал скульптор тонким голосом, – спасибо тебе. Ты все правильно говоришь. Надо же, молодая жена в два раза старше и умней дурака-мужа...

– И еще, – перебила его Нюта. – Пендерецкий – восьмидесятилетний старик. Старикашка. Знаю, он гений, классик. Бодр, свеж, животворящ. Но – что он тебе сделает? Проткнет дирижерской палочкой? Как шашлык. Заколдует? Просто подумай... Чего ты боишься, кого? А деньги! Есть – хорошо. Нет – нормально. Мы что с тобой, нищие?

Ну вот. А начали за здравие...

Объекты успели вывезти до того, как институт забурлил студенческими массами. Перевозкой руководила лично Алина Шпак. Это было ее третье посещение мастерской.

Дунин с самого утра упаковывал скульптуры. Так мать отправляет дитя в зимний лагерь, со смешанным чувством легкой вины и скорой свободы набивает ему сумку теплыми носками и шапками, сует три блока бумажных носовых платков, повязывает шерстяной шарф.

Для перевозки скульптуры оборачивались все той же пупырькой, из которой они были сделаны. На глазах Дунина происходило ментальное расслоение упаковочного материала.

В составе объектов он был, практически, каррарский мрамор. Вобравший всю ценность и энергию художественной мысли, образов и аллюзий. В качестве упаковочного материала пупырка недалеко ушла от газет, стружки и фанеры, только стоила подороже.

Дунин проводил свой выводок до порога.

УЖАС. СТРАДАНИЕ. ЧИСТИЛИЩЕ. СОМНЕНИЕ. ВНЕЗАПНОСТЬ. ОДЕРЖИМОСТЬ. СТЫД. АГРЕССИЯ. НЕОБРАТИМОСТЬ. БЕСПОМОЩНОСТЬ. ПАДЕНИЕ. БЕЗУМИЕ.

Укутанные пупырькой, скульптуры были неразличимы, но Дунин точно знал, где какая.

Двое грузчиков вставляли огромные свертки в фургон для перевозок.

– Лехкие, – похвалил тот, что подавал.

– Схуяли, – одобрил тот, что принимал.

– Imponderability, – выговорил про себя Дунин. Только он привык так их называть, и нате вам...

Почему-то скульптору стало обидно, что грузчики не поинтересовались содержимым пухлых коконов. Профессиональная деформация, полная утрата любознательности...

Когда с погрузкой было покончено, в фургон полезла Алина Шпак, проверить, все ли в порядке. Ей бы там и поехать, подумал Дунин, для пригляда. Втиснуться между **ВНЕЗАПНОСТЬЮ** и **СОМНЕНИЕМ**, под спину подложить **НЕОБРАТИМОСТЬ**, в ноги – **АГРЕССИЮ**... Но арт-критик выбралась наружу.

– Едете сейчас на Панскую, 12. Там складское помещение. Я вас буду ждать. Или вы подождете... Без меня не разгружать! Еду за вами, – скомандовала Алина водителю.

– На связи! – арт-критик сделала скульптору ручкой и, подобрав фалды трикотажного пиджака, унеслась.

А поцеловать, вспомнил Дунин зоотехнический анекдот про искусственное осеменение.

Фургон с арт-начинкой поурчал, повонял, развернулся в тесном дворе института и был таков.

Переваривая тишину и безлюдье, Дунин присел покурить на красный тонконогий стульчик. Вот и все, с грустью подумал скульптор, хотя все было вроде как совсем наоборот.

В мастерской сделалось просторней и светлей. Объекты занимали много полезной площади, Дунин вообще-то был жаден до рабочего пространства.

На душе у скульптора, наоборот, становилось все темнее и теснее. Зная себя, Дунин подготовился, купил шкалик коньяка.

Наливал по чуть-чуть в большую кружку, хоть стопки и рюмки в мастерской имелись на любой вкус и цвет. Скульптор ходил с алой кружкой I love Lviv по мастерской из угла в угол. Заглянул в цветочные горшки, здесь было сухо, как у него на сердце. Полил из маленькой жестяной лейки. Осмотрел собственные пейзажи, скульптуры по стенам и стеллажам, в мастерской висело-стояло только то, что он считала особо удачным. Дунин проведаль запасы скульптурного пластилина. Упакованные во многие слои полиэтилена, интимно просвечивали валюшки глины. Отвернул пленку, понюхал глину, живой свежий запах обычно его успокаивал. Придал ускорение турнеткам, закрутил все десять против часовой стрелки. Равнодушно осмотрел инструменты, над которыми он, куркуль, трясся и знал их наперечет и поименно. Как у всякого рачительного хозяина, в мастерской у Дунина было очень много всего, и все нужное.

Но почему же, бляха муха, почему такая пустота?

Новые сделаю, догадался Дунин.

Запуск бани удачно совпал с государственными праздниками: строенные выходные. Приехали все, по списку. Правда, Люде с Вадимом не удалось вытянуть в их старперскую компанию никого из своих детей, раньше-то они охотно присоединялись. Отъезд родителей, выяснилось, вызвал встречную активность, квартире со свежим ремонтом предстояло принять однокурсников средней дочери.

Зато верная Вера, единственная из «ненаших», привезла бойфренда Диму, филолога. Вообще это было не по правилам, привозить не спросясь, но Вера была любимая подруга Нюты, и раз привезла парня в компанию, значит, так надо и он того стоил. В массивных очках приветливый Дима был даже моложе Веры и как раз стал в компании представителем младшего поколения, вместо не приехавших детей Вадима и Люды.

В качестве свежеепеченной пары Вере с Димой достался односпальный топчан в самой маленькой комнатке, кладовке с функцией библиотеки. Зато с новыми хрустящими простынями из ИКЕИ и связками сухих трав под потолком: зверобой, полынь, душица. Тесноватое, но аутентичное и очень сексуальное гнездышко для людей, проверяющих чувства.

Всех расселили-разместили. Просторный дом во мгновение ока оброс сумками, расцвел дамскими косметичками. В прихожей, как в будни на служебной парковке, стало тесно от обуви.

– Съездим на Изму? – напрыгнула на Дунина Полина. – Она мне снится! Может, опять гномы придут... У них тут гномы водятся, Миша вам рассказывал? – обернулась она к остальным.

После чего довольно чисто почти целиком пропела «Пещеру горного короля».

Тоже, что ль, с музыкальным образованием?

– Какую тебе Изму, ноябрь на дворе, – пробурчал Черных, притянул жену, поцеловал в блестящие рассыпающиеся волосы.

Договор был на восьми страницах. Автор в лице Дунина М.И. отчуждал Заказчику в лице генерального директора Заповедова О.В. художественный продукт (далее Произведение) в составе 12 (двенадцать) объектов.

В числе прочего, Автор передавал Заказчику нижеследующие права на использование Произведения:

– право переименовывать Произведение и составляющие его объекты на свое усмотрение согласно задачам Заказчика;

– право на корректировку концептуального наполнения Произведения (в пресс-релизах, интервью, печатных и рекламных материалах и т.п.) и комментирование Произведения, с обязательным указанием авторства Автора, при этом содержание комментариев остается на усмотрение Заказчика.

– право на экспонирование Произведения в РФ и за ее пределами.

– право на воспроизведение Произведения в виде фото- и видеоматериалов.

– право на демонстрацию фото- и видеоизображений Произведения по своему усмотрению в любых СМИ и печатных материалах.

– право на мерчендайзинг (merchandising), то есть право на использование изображения Произведения для изготовления сувенирной продукции (значки, предметы одежды, печатная продукция и т.п.).

Этот пункт Дунин перечитал два раза.

– право на любое иное коммерческое и некоммерческое использование Произведения.

И еще шесть пунктов только в этом разделе.

В Приложении номер 1 фигурировала сумма, которую Заказчик обязан передать Автору, те самые 1000000 из Алининой смс-ки, не включая 13% подоходного налога.

Это была ч (часть) Дунина.

Размеров ч Алины Шпак Дунин не знал и не интересовался.

Розовые нимфы в простынях с влажно блестящими лицами и плечами.

В тогах и войлочных шляпах краснолицые фавны разной степени волосатости.

Жирных нет, гордился друзьями Дунин. Даже Витал вон здоровый как бык, но не рыхлый, крепкий. К Людке вернулась ее красивая крутобокость, только плечики худенькие.

Амфора, подумал Дунин с нежностью.

А вот у Верочкиного Димы-филолога, в его тридцать-с-чем-то-там-лет, конкретное брюшко и руки как бежевые лианы. Но, наверное, силен чем-то другим.

В парилку, естественно, ходили по очереди, женщины, мужчины. Не немцы, чай.

В один из заходов Дунин оказался на пару с Лешей.

Скульптор разложил однокурсника на широком полке, хозяйски, как цыпленка на противне. И пошел охаживать друга березовым веником. Из ярко-розового Черных сделался пунцовым. Ароматной березой, вымоченной до девичьей гибкости и ласковой податливости, Дунин изгонял из однокурсника хвори, соли, боли, включая будущие, и, с молчаливого согласия, их общего беса на букву П.

Черных расслабленно мотался под ударами. Доверившийся Дунину телом, издавал звуки, средние между негромкими стонами и кряхтением.

– Молодец, живота нет. Хвалю! – удар, змеей перетекающий на ноги, ползущий к пяткам.

– ...

– А Полина что не парится? Не переносит? – короткие хлесткие удары: загривок, плечи, вниз по рукам.

– ...

– У меня первая жена не могла даже войти в парилку. Тут же головная боль! Из другого теста была женщина... – серия коротких злых ударов по туловищу.

– ...

– И не пьет, заметил. Твоя, – взбить в пену ягодицы и заднюю поверхность бедра.

– ...

– Что? – долгий, с приплясом, извивающийся удар по спине.

– ...

– Леш, я правильно понял? – похлопывающе-ласкающие движения по ногам к пяткам.

– ...

– Сколько уже? – в ожидании ответа Дунин перестал работать веником.

– Четвертый месяц. Только прошу! Мы пока никому не рассказываем. – Красный Черных, качнувшись, сел на полке. Голые блестящие плечи украшал модернистский узор из листьев, как в театральных костюмах художника Бакста. Дунин бросил истерзанный веник. Стиснул голое беззащитное тело друга. Сел рядом, касаясь.

Молчали, дышали.

– А... кот? – спросил Дунин глупым голосом.

– Все. Не будем об этом... кладбище домашних животных. Хорошо? Давай, ложись, теперь я тебя.

– Ой, а это у вас кто? – заинтересовался Верин Дима. – Сатир?

В предбаннике деревянным привратником стоял Пан во фраке, со скрипкой и мохнатыми козлиными ногами. Автор довел скульптуру, отполировал, завожил, красота дерева цвела в каждом повороте, изгибе и завитке.

На голове Пана, одна на другой, высились войлочные шляпы. Даже на непосвященный глаз сочетание скульптуры музейного качества и банной амуниции выглядело неуместным и вызывающим.

– Это Пан. Только не с куклами, а со скрипкой. Муж так решил...

– А кто у нас муж? – пошутил Дима, снимая очки и протирая их краем терракотового худи. А может, новичок Дима и вправду недоразобрался в хитросплетении профессионально-родственных связей шумной компании Верочкиных друзей.

– Муж у нас художник. Скульптор... Вера, что ли, не рассказывала? – Нютины губы что-то говорили, а сама она тем временем превращалась в мягкий горячий пластилин, влюбленное пульсирующее тесто.

Весь этот пластичный материал рвался в руки новенького Димы, звал лепить и ваять из него новую Нюту.

Что за еб твою мать, в панике подумала хозяйка дальними завитками мозга, еще не охваченными пожаром.

Черт, черт, черт!

...Им с Верой с детства нравились одни и те же мальчики!

1. УЖАС – Стратегия
2. СТРАДАНИЕ – Надежность
3. ЧИСТИЛИЩЕ – Устремленность в будущее
4. СОМНЕНИЕ – Уверенность
5. ВНЕЗАПНОСТЬ – Единство
6. ОДЕРЖИМОСТЬ – Одержимость
7. СТЫД – Настойчивость
8. АГРЕССИЯ – Синергия
9. НЕОБРАТИМОСТЬ – Прозрачность
10. БЕСПОМОЩНОСТЬ – Величие
11. ПАДЕНИЕ – Равновесие
12. БЕЗУМИЕ – Эволюция

Следующая встреча с Imponderability произошла у Дунина в конце ноября.

...Так горец-отец навещает дочку, отданную замуж в дальний аул, и не узнает свое робкое нежное дитя в статной женщине с потухшим взором и горой живота.

Дунин был на самом первом/главном/важном открытии. Куда вход осуществлялся по приглашениям, упакованным, конечно же, в пупырку.

Мероприятие проходило в роскошно-аскетических пространствах ART-ФАТ-ЛОФТА. Двенадцати объектов, на дунинский взгляд, было мало, маловато для огромного помещения. Но тут следует отдать должное арт-директорским мощностям и кураторским талантам Алины Шпак. Скульптуры стояли на стеклянных светящихся подиумах разреженно и разноуровнево, организуя огромный зал двенадцатью пиками. Объекты эффектно подсвечивались пульсирующим белым, алым и лиловым светом (корпоративная палитра). На прочных ножках латунные таблички с названиями и описаниями выглядели по-музейному шикарно. Смотреть экспозицию следовало не абы как, была продумана логистика, светящиеся стрелки на полу вели приглашенных по лабиринту скульптур.

Не успел Дунин войти и осмотреться, как в нижние ребра ему уперлось холодное: поднос. Яркие шоты подавали в ледяных пупырчатых стопках. У молодых официантов на груди медузами трепетали розы из пупырки, и у всех были бороды, по типу дунинской. Скульптору показалось даже, что этими официантскими бородами Алина Шпак дразнит и поддевает его лично. Уменьшенные молодые копии Дунина были повсюду. Лакеи с подносами.

С ними дядька Черномор, подумал скульптор и закинул в рот содержимое ледяной стопки, начавшей жечь ему пальцы.

Морошковая, изумился Дунин.

Собрались все топы отрасли. Даже на самых молодых лежала печать солидности. Пиарщики и продвиженцы, наоборот, солидности были напрочь лишены, многие из них носили тоже бороды и сочетали пиджаки со штанами типа шаровар, треников и немыслимыми кедами ярчайших расцветок.

Несколько художников, известных мастеров паблик-арт, перформансителей выделялись в толпе гостей человеческими, а не менеджерскими лицами и внимательным выражением глаз.

Дунина наряжала Нюта. Сама она идти отказалась, сославшись на то, что все уже видела. Потом, кажется, ей не очень хотелось видеть Алину Шпак (в этом они с мужем совпадали).

В прикиде скульптора сошлись в хрупком балансе официоз и артистизм. Умеренно рваные джинсы и черный пиджак. Васильковые кеды и синий платочек в петлице (это тебе волшебный платок, чтоб не очковал, съязвила Нюта). Свитшот с изображением таблицы Менделеева и заметные запонки в виде знака вольфрама. Нюта соорудила на голове у Дунина из коротких вьющихся волос маленькое аккуратное торнадо. Прошлась по бороде расческой и спреем.

Результатом скульптор остался доволен. Что-то маскировочное, игра, карнавал: если и звезда вечера, то инкогнито. Дунин в душе рассчитывал на триумф, но собирался принять его с прописанной в Договоре холодноватой отстраненностью.

Зато Алина Шпак царила умело и страстно. Вот кто был визуальным, смысловым и эстетическим центром мероприятия (не считая все же скульптур). Особенное, будто шевелящееся платье выдавало королеву вечера. Ногти были черные, губы алые, лицо меловое с горящими точками лихорадочных румянцев. За Алиной, не отставая, шествовали двое парней из дирекции по продвижению, один худой, другой упитанный.

Открытие снимали два федеральных канала и один городской, были также журналисты помельче: PR-служба сработала на славу.

Дунина в качестве автора опознали молниеносно, слетелись.

Рядом, как по волшебству, выросла Алина, заслонив, насколько это было возможно, фигуру скульптора.

– Куратор проекта Алина Шпак. (Она отодвинулась, демонстрируя камерам Автора.) Хочу представить вам всем Михаила Дунина. Его рукам... смотрите, какие руки (укрупнение на руки), талантам художника и визионера мы обязаны сегодняшним праздником... да, именно праздником! ...Знаете, у выставки ведь совершенно мистическая предыстория. Даже я, человек предельно рациональный, честно говоря, ПРИПУХЛА. – (У Дунина заболело под солнечным сплетением, Алина пошла чесать дальше.) – Работая над проектом, мы столкнулись с фантастически сложной задачей – соединить в одном смысловом поле большой бизнес, добывающую и перерабатывающую промышленность, и современное искусство. Звучит жутко, да? Не просто соединить, механически, конечно, нет! Смешать, но не взбалтывать (Алина хохотнула, укрупнение на рот). Вообще же, весть – если угодно – об этой творческой... смеси... рвалась наружу. Из самых глубин! Сырьевые ресурсы таятся в недрах земли и добываются оттуда в строгом согласии с наукой, законами здравого смысла, ответственности и пониманием природного баланса (Алина сказала это несколько заученно). Затем они проходят долгий цикл превращений. Полезные ископаемые становятся полимерами, а после – промышленными материалами широчайшего спектра назначения. Пенополистирол, твердый и мягкий полиэтилен... я могла бы долго перечислять, но с этим лучше справятся представители компании... – Алина сделала красивый энергичный жест в сторону своего полного спутника. Рукав ее сложного платья взметнулся и опал. – Моя задача как куратора была найти... образно говоря... (Алина сделала эффектную паузу) МЕСТО УТЕЧКИ ГАЗА. Да! Тот момент, ту формулу, когда функционал становится новым смыслом. Как в математике – числитель один и тот же – формула полимера, а вот знаменатель разный. Щелк: и обычный-привычный – простите! – ПОЛИ-ЭТИ-ЛЕН становится... художественным материалом. В отличие от холста и красок, – материалом актуальным! Говорящим на языке нашего времени. Как ученые открывают новое месторождение полезных ископаемых... нефти, газа, – мы нашли в пупырчатом оберточном материале богатейшее месторождение смыслов. Это просто сенсация! Но что интересно! Мы с коллегами пытались просчитать это месторождение... ходили, не знаю, с лозой, делали сложные расчеты... – а художник Михаил Дунин просто НАБРЕЛ на него. ИНТУИТИВНО. Методом дикой кошки. Знаете, КОПНУЛ, а оттуда забил фонтан... актуальных смыслов и значений. Как в голливудском фильме... И в этом и заключается чудо. Наши концептуальные задачи нашли свое воплощение в серии скульптур из пупырчатого упаковочного материала... Мы-то его по-свойски фамиллярно называем ПУПЫРКОЙ... (укрупнение на очаровательную озорную гримаску куратора). Все сошлось! Пазл целеполагания, смыслов и материального воплощения – сложился.

Раскрасневшаяся Алина подняла руки, как бы приглашая зрителей убедиться в парадоксальной красоте вышесказанного. Проиллюстрированного собственно выставкой.

Рукава ее платья опали черными крыльями и встали за спиной.

После долгого монолога, Алининого клекочущего голоса образовалась гулкая воронка тишины, неслышимое эхо.

Четверо журналистов и несколько человек, стоявших в сторонке и прислушивающихся, робко, затем увереннее захлопали. После паузы к ним присоединился и Дунин.

На аплодисменты не пробило только операторов. Они воспринимали происходящее строго на визуальном плане, и речь Алины была для них просто сокращениями рта, движениями пальцев, порханием рукавов.

– Наташечка, я украду тебя? – спросил Дунин и продел руку под локоть Саакянц. – Пройдемся?

Они вышли за калитку и пошли по поселку. Дома светились через два на третий, слишком далеко от большого города, чтобы приезжать на пару дней. В конце улицы догорал закат. Вкусно пахло лохматыми лиловыми хризантемами, опавшей листвой. Белел снежногодник.

– Ну, – боднула его боком Саакянц, – чего хотел? Про личную жизнь узнать?

– Наташечка! Я это... хотел давно спросить. Ну, ты сама знаешь, о чем.

Он скосил глаза на Саакянц, идущую рядом. Подруга не делала попыток подать встречную реплику.

– Смотри, – продолжил скульптор. – Со мной все ясно. С Васильевой понятно... С Черных. Даже с... – он запнулся, оба подумали про Люду, и оба промолчали. – А у тебя-то с ним что? Ты сама назвала – «ресурс». В каком смысле?

Саакянц остановилась, похлопала себя по карманам, вытащила сигареты, Дунин хрустнул зажигалкой. Они обступили в темноте огонек, оба закурили.

– В каком-каком... В мистическом! – хрипло хохотнула Саакянц, выпуская дым. – Миша, это темная история. Или, наоборот, светлая... освещающая, так сказать, некоторые моменты. Я же, Миша, пишу... Работа у меня такая: искусствовед. Пытаюсь на городском канале сделать образовательный проект, но пока не получается. Статьи пишу, колонку веду... Ну и не только это. Всяко-разно. Эссе там, рассказы. Но ты же не в курсе, на фейсбуке не бываешь, и вообще особо не интересуешься... Короче, с некоторых пор... я пишу... сначала это был рассказ, потом разросся в повесть... И, Мишаня, оно не заканчивается. Расширяется во все стороны, не только в длину. Прет, как тесто. Будто само пишется. Миша, знакомо такое ощущение? Про что? – про нас, про всю эту историю. Ты только не пугайся, Миша, но про твою, прости, баню, я написала раньше, чем ты ее задумал. Завтра мы поедem в Ч, ты в курсе? В монастыре нам дадут позвонить в колокола – сами предложат. Вот увидишь. И я еще кое-что знаю, но, Миша, это не важно. Тебе не нужно это знать, голову забивать. Про Люду, кстати, у меня был другой сюжет, не буду рассказывать. Но я почти докопалась до истины.

– Наташ, а Алину Шпак – это ты... придумала? Ввести в сюжет...

– Стоп! Не надо передергивать! Алину Шпак я ПОЗВАЛА на твою выставку. Это разные вещи. Думала, заинтересуется, напишет...

– Она и написала.

– Знаю, и все знают.

Дунин скосил на Саакянц глаза: что именно она знает. Наташа продолжила:

– Гоч приучил нас терзать бумагу, под музыку Пендерецкого. И мы все, каждый на свой лад, этим занимаемся. Рисуем, пишем, лепим. Я пишу, пишу, как заведенная.

Дунин на ходу захватил несколько соцветий голубеньких мелких хризантем, они запахли у него в ладони горько и трезво.

– Ну что? Интересуешься, что будет дальше? – спросила Саакянц с демонической усмешкой и оскалила отличные белые зубы.

– Нет. Или да. Скорей, нет.

– А я и не владею информацией. Мне порционно отпускается. Знаю не дальше, чем на день вперед.

– Саакянц, – сказал Дунин, – дай обниму. Такая родная! А хорошо, что мы с тобой тогда не...? Да? А то б...

Дунин обнял подругу, поднял, нетяжелую, покрутил в руках.

– Блин, почему я вас всех так всех люблю, а?

– Миша, это и есть ресурс. Самый важный. А с Пендерецкого нужно слезать. Тебе, Дуня, точно!

– Это ты в своем романе прочитала?

– Иди в жопу.

Вместо промозглой Измы поехали в теплый сухой Ч.

Набились в три машины.

В остатках позолоты маленький городок был мил и по-осеннему уютен. Огромная голова Ленина из полированного гранита едва умещалась на постаменте. Главная площадь количеством голубей не уступала Сан-Марко; к ней тесно прилегали старинные краснокирпичные здания школы и пожарной части и новенький пластиковый «Магнит Косметик». Сразу два театра – небольших, пропорциональных городу, зеленый и красный, выделялись на главной улице. Старинные торговые ряды были выкрашены в венерический розовый цвет. Напротив стандартной стелы «Я#СЕРДЦЕ#Ч» пыхтел пухленький старый автобус цвета зеленки со сливками. Маршрут № 1, ОДНЁРКА. Прямо на тротуаре, на икеевской табуретке-ступеньке стоял парень в клоунском костюме с вязанкой шариков. Он зазывал прохожих в розовые ряды на распродажу ростовской обуви. За рядами высились купола старинного монастыря; колокольный звон лился щедро и безудержно, как из сорванного крана.

– Прелесть, прелесть, чудо, – растрогано повторяла Терехина и снимала, снимала на телефон. Компания растянулась по главной улице.

Зашли в монастырь. Мужчины наполняли многочисленные баклаги водой из святого источника, подставляли пластик под неторопливую струйку. Девушки ходили по территории монастыря, где еще колыхались под ветром последние хризантемы, желтели на березках и на брусчатой площадке перед главным храмом остатки листьев. Вошли внутрь. В платках, капюшонах, женщины были, конечно, без юбок, как-то не сообразили. Они навязали опрятные монастырские фартуки из деревянного ящика. Осмотрели маленькую древнюю церковь. Очень худая, с красивым увядшим лицом пожилая монахиня отвечала на вопросы и была гостям искренне рада. *Дежурная по храму*, значилось на бейджике.

У выхода перетантывался мальчишка лет десяти. Чей-то сын? Чей, в монастыре?

– Хотите на колокольню подняться? – спросил он у Нюты.

– Да! – радостно сказала она. – Хочу! Девушки, нас тут на колокольню приглашают. Пойдем?

– Матушка Анисия! Матушка Анисия! – позвал мальчик радостно. – Они хотят на колокольню!

Вошли в храм сбоку, по широкой красивой лестнице. Две пожилые монахини мыли-натирали каменные полы. Нюта, Полина, Люда, Вера и Наташа, войдя гуськом, почтительно поздоровались. Монахини распрямились и молча смотрели прозрачными глазами.

Зато матушка Анисия, за всех, была разговорчива, энергична и похожа на тренера женской сборной, по, допустим, синхронному плаванию, только в монашеском одеянии.

Она повела их вглубь собора. Они прошли мимо не тронутого реставрацией куска старой стены в маленькую, будто усохшую дверку, ведущую на колокольню. Ступеньки были крутые, вытертые. В отсутствие перил все держались за шершавый съеденный временем камень старых стен. Возглавлял восхождение мальчик, он включал на маршах свет, матушка Анисия замыкала и гасила.

Раздался плеск крыльев. Прямо из-под ног выпорхнули голуби. Хорошо, что первым шел привычный, знающий здешние особенности мальчик.

Они выбрались на самый верх, под нестерпимо синее небо, сахарные плотные облака, ветер, как в песне: *веселый. А ну-ка песню нам пропой веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер!*

С тесноватой площадки открылся вид на город, реку, холмы за ней. Огромный Ленин не был виден, скрывался за монастырскими постройками. (Люде хотелось запечатлеть гранитную голову среди голубей.) Совсем внизу, под собой, они разглядели другую часть компании, группку людей в яркой одежде. Дунин был в красной куртке (цвета комариного брюха, уточнял он). В синем стеганом жилете виднелся Верин Дима. Увидели Вадима в фиолетовом тонком пуховике, Витала в оранжевой жилетке с капюшоном, в стороне от всех бродили Лиза, Игнатьев и его Лена

в защитном, обсуждали что-то, тыкали в горизонт, снимали. Герман в лимонной альпинистской парке, закинув голову, пил из фляжки.

Матушка Анисия и мальчик зазвонили, слившись в маленький оркестр. Мальчик равномерно, ловкими центрально-симметричными движениями стучал в плоские била. Матушка, наклонившись и раскачиваясь вправо-влево, ударяла чугунной колотушкой по большим тяжелым щиткам.

Они шикарно звонили, увлеченно, долго, а их компания стояла в эпицентре звона, в самом его сердце. Нюта заметила мокрые полосы на щеках у Люды и Наташи, такие оставляют виноградные улитки на гладком камне южных парапетов.

Полина, наоборот, была розовая, безмятежная, она крутила головой, осматриваясь, и одновременно старалась не спускать глаз со звонарей.

Они закончили, звон таял долго, плавно сходил на нет.

– Хотите? – матушка Анисия протянула колотушку Люде. На мелкие била встала Нюта с двумя маленькими деревянными, вроде кеглей, шутовскими.

– Все просто, – показала монахиня, просунув ладони и указывая на чугунные пластины, – раз-раз-раз, раз-раз-раз, три шага в центр и обратно, одновременно, обеими руками. – Это легко. Начните, все поймете.

– Бом-бом-бом, – начала Нюта, – бом-бом-бом, – в обратную сторону.

– Бооооом-бооооом, – откликлось большое било Люды, – бооооом-бооооом.

Без малейшего музыкального образования и опыта, они лили на маленький город музыку райской красоты и гармоничности. Люда-Нюта вошли в ритм, их руки, плечи действовали самостоятельно, Нюта даже стала осматриваться, аккуратно поворачивая голову. В поле зрения попало довольное лицо матушки Анисии: она и правда смотрела на них как тренер, гордый успехами собственных учеников. У нее было свежее пожилое лицо, из подбородка росли жесткие белые волосы, и Нюте даже они показались симпатичными.

Нюта с Людой закончили не сговариваясь, не по команде, просто музыка иссякла, звон погас, сошел на нет естественным образом.

Мальчик, забрав у Нюты, протянул колотушку Вере. Она вежливо отказалась, прижала руки к груди:

– Спасибо, мой хороший. Мне в детстве медведь на ухо наступил, я стесняюсь. Правда! Давай лучше ты, у тебя замечательно получается.

– Хотите? – спросил мальчик у бледной взволнованной Сааякянц и протянул ей колотушки.

– Она у нас с музыкальным образованием! – похвасталась Люда. – Давай, Наташка, сыграй, так здорово!

Но Сааякянц смутилась, закашлялась, замотала головой. Жестами показала, что хочет спускаться. Они еще раз жадно осмотрелись, фотографируя глазами и памятью, Люда хаотично снимала на телефон. Нюта погладила тяжелые била. Полина запахла ворот куртки, подсунула под платок вылезшие пряди.

А хорошо устроилась, думала Сааякянц, спускаясь вслед за Людой. Хочу, с успехом изображаю молодуху, ДЕВУШКУ. А когда надо, можно сказать дамой, ЖЕНЩИНОЙ средних лет, схватиться за бок, ойкнуть, охнуть, давление, дурнота, все такое...

И никто не догадается, что тебе страшно.

Совсем уже вечером Дунин пошел в мастерскую. Он на свой лад претворял в жизнь принцип «ни дня без строчки». Даже если не было начатой работы, он наводил быстрый порядок, осматривал инструменты, сушащиеся деревянные заготовки, проверял, хлопывал укутанную глину, готовил замазку-вошилку по собственному рецепту, что-то переставлял. Листал иногда альбомы: любимая до дрожи Голубкина, Коненков, Сидур, Паоло Трубецкой, Андреев доленинского пери-

ода. Иностранцы Генри Мур, симпатяга Майоль, гениальный и чудовищный Вигеланд, весельчак Ботеро с его толстухами.

Со скульптором увязался Дима-гость. С ним, на правах хозяйки, пошла Нюта. После вчерашней бани она была умиротворенная внешне, размягченная, плавная, гладкая, волосы пушились и вкусно пахли.

Филолог Дима, человек кабинетный, чрезвычайно впечатлился мастерской. Во-первых, самой архитектурой, конструкцией, большими окнами на скате крыши (верхний свет). Внутри помещение (будто бы) в разы превосходило внешние размеры домика, какой-то пространственный фокус.

Как и в городе, в Сахарово Дунин содержал художественное хозяйство в идеальном порядке. Резцы, штихеля, топорики, кисти, скребки, банки и бутылки со смесями, олифа, морилки. Услыхав слово *морилка*, Дима затрясся каким-то своим лингвистическим восторгом. А что с ним стало, когда он услышал, а потом и увидел *комель*...

А это как называется? А это для чего? – Дима задавал вопросы, Дунин отвечал подробно и терпеливо, а иногда за скульптора отвечала Нюта, накачавшая компетенции за восемь лет совместной жизни. Деревянные заготовки Дима гладил своими, без мышц, длинными пальцами, нюхал. Филолог словно опьянел от этого деревянного изобилия.

Щурясь через верстак, Дима рассматривал стоящие на полках книги, альбомы, прикреплённые к стене наброски, эскизы, фотографии. Среди прочего здесь было красивое, просто очень красивое фото Нюты, не позирующее, а удачно схваченное. Явный эскиз для скульптуры. Нюта полюбовалась собой.

– Кстати! – Дима повернулся к хозяевам так резко, что у него слетели очки. – Чуть не забыл! Ваш, из бани... сатир... стоп, нет! не сатир... – пан! – это же копия Кшиштофа Пендерецкого! Композитор такой, авангардист, поляк по происхождению... Я все мучился, где ж я его видел... Лицо такое выразительное, запоминающееся... И фрак, очки, скрипка... вы, Михаил, конечно, большой мастер... А я ведь в некотором роде меломан, тяжёлое семейное наследие, детские травмы... (Дима гоготнул). А тут в июне в Новой Опере играли «Страсти по Луке». Концертное исполнение. Всего один спектакль, представляете? На российскую премьеру приехал сам автор! Пендерецкий ведь гений, живая легенда... Хотя его музыка специфична, трудна, далеко не все воспринимают. Так вы тоже его фанат?

Востроглазые студенты обнаружили пропажу Imponderability. Немедленно.

– Ой, а гдеее? – развесила губы Евграфова. – Такие клааассные, я их полюбила... На выставке? А они вернуутся?

– Нет, Анфисочка, они покинули нас навсегда! – сказал Дунин патетически. – И зажили своей отдельной жизнью! И не вернутся к нам больше... Это как уехать в Москву из каких-нибудь Верхних Лямок Кудыкинского уезда. Ты бы вернулась?

Тема, неожиданно, увлекла Евграфову и других. И временно отвлекла от Imponderability.

Почти у каждого нашлись примеры удивительных, почти героических возвращений из столиц на малую родину.

Угомонились поздно. Дом, наконец, утих и погас.

Дунин и Нюта лежали на своей широкой богатырской кровати. Усталые, довольные, еще и тем, что завтра трехдневный марафон братания и деревенских развлечений завершится.

Наслаждаясь неподвижностью, Дунин внимательно смотрел в потолок.

– А Дима-то Веркин... – сказал он вдруг. – Эркюль, блядь, Пуаро!

Снаружи уютно выл ветер, дребезжали стекла.

С Нютиной стороны донеслись тихие всхлипы.

– Нют, ты чо? – испугался Дунин. В темноте потянулся к жене. Та откинулась, откатилась и засмеялась в полный голос, грубым солдатским смехом, подвывая и хрюкая.

Дунин всегда был смешлив, как мальчик, легко заражался, но этот Нютин хохот ему не понравился. Таким смехом, подумал он, можно захлебнуться. Как рвотой.

– Эй, перебудешь всех. На, запей, – сказал он жестко. Сунул ей в руки бутылку минералки.

Обулся, пошел на улицу курить.

Кстати! Возвращаясь к бане.

Собирая членов Пендерец-клуба Дунин совершенно не думал устраивать признаний. «Я пригласил вас, господа, чтобы сообщить вам...» И сцен разоблачения в духе Эркюля Пуаро не замышлял. Круговую исповедь в банных простынях и войлочных шапках не планировал...

Вообще не собирался касаться данной темы (Пендерецкого).

При этом у Дунина было смутное чувство, что (баней) завершился какой-то этап. А лучше б это был не этап, а финал. Истории, к которой все они причастны, так или иначе. Хотелось уже поставить жирную точку в этом музыкально-художественном квесте.

И, как раз, символически и физически очистить поры в свежесрубленном бытовом чистилище. В клубах пара, в ароматах душицы и эвкалипта.

Выпарить из голов юношескую глупость, нелепые страхи, фобии, стыдные для взрослых теть и дядь. Баня, надеялся Дунин, станет последним актом этой их Пендерец-комедии. От которой скульптор откупился (думал он) и освободился.

...Если было чего и жаль, так это творческих приходов, острого, почти полового накала, вдохновения. С которым прочно ассоциировался у него Пендерецкий.

И-эх! Ах... А! А! А! О! А!

Дальше пошла жизнь тихая, обыкновенная. Дунин работал, студенты учились. Пупырка, низведенная до упаковки, больше не искушала его.

Imponderability жила своей отдельной жизнью, Дунин не интересовался. Отрезанный ломоть.

А еще Дунин перестал слушать музыку. В мастерской. И вообще.

У него появилась новая страсть – лекции Димы Быкова.

Для него, не-филолога, в этих лекциях было что-то целебное, умывающее мозг. Дима лепил мысль, показывал анатомию литературы, мышечные узлы, биохимию прозы, объяснял, как вообще там все устроено, как работает и каким образом приводится в движение.

Быков настолько завладел Дуниным, занял его помыслы, что препод слепил из серого скульптурного пластилина отличнейший бюст писателя. Серое вещество, вот оно, серое вещество, думал Дунин, катая в руках послушную массу. На бюст пошло у него три четверга и два понедельника, дни, свободные от студентов.

Дима вышел отличный: раблезиански волоокий, ироничный, умный, схваченный в полемическом жесте.

В гипс перевести, думал Дунин, рассматривая бюст, или в бронзу?

(Про бронзу он, конечно, загнул. Сыронизировал, слишком это затратная история. И потом, куда его, бронзового, девать? На Аллею интеллектуальной славы?)

О том – куда – следовало подумать заранее. Прежде чем изводить на бюст писателя и мыслителя 25 кило отличного итальянского скульптурного пластилина.

Но! Дунин уважал творческие приходы. Они были для него не столько зов творческой природы, сколько ее закон. И отдавался им, как художественнообязанный – приказу.

Приказы выполняют, не переспрашивая.

Запеленутый в полиэтилен, в том числе от глаз любопытных студентов, Дима стоял до поры на верхней полке стеллажа.

Дунин расчехлил скульптуру всего один раз: когда приехал Черных.

– Ого, – похвалил Леша. – Мощно. Мастерство не пропьешь! Как назвал? *ВЕКОМОСТЬ*, в пандан к прошлой серии?

Дунин похлопал глазами, а потом заржал. Шутка показалась ему смешной. Как там у Ремарка (Дунин любил) – смеялся целый лес обезьян. Даже пополам согнулся, резануло смехом под дых, и закололо справа, как от бега на полный желудок.

– Ну что, брат, – продолжил Черных. – С возвращением тебя!

– К-к-куда? – спросил покатывающийся Дунин.

– Не брат, а сын! Блудный, – поправился Черных. – Как – куда? В лоно реалистического искусства.

В мастерскую заглянула Анфиса Евграфова. Был четверг, священный день-без-студентов, чем и объяснялась некоторая робость и скованность студентки.

А может, не только этим.

– Михалыгрич! Хотела посоветоваться...

– Давай! Советуйся! – взмахом ладони Дунин пригласил Анфису в кабинет-подсобку, – Присаживайся.

Сам препод опустился в знаменитое кресло с грифонами.

Кивнул начинать.

– Эта. Так вот... Мы с Натаном Евгеньевичем, куратором, развиваем тему моего диплома. Верней, сама тема родилась давно, еще на третьем курсе. А собственно контент мы продолжаем разрабатывать до сих пор. Там все время меняется... Э... вектор. Диплом будет, короче, посвящен гуманизации городской среды. Это целая программа, комплекс изменений, структурных, ментальных. И мы решили, что центральной частью станет «сад камней». Не пугайтесь, название рабочее! Это совершенно не сад, и совсем не камней, мы пока не придумали подходящего названия. Натан Евгеньевич предлагает ПОРТ ТРОП, а мне кажется, это слишком... Все эти даблмининги, знаете... Мне хочется чего-то простого. Типа APPLE.

– Простого, – крикнул Дунин. – А... что это будет?

– Объект городской среды. Коммуникационный... сад... порт... – заметалась Анфиса. – Гибрид выставочного пространства, обучающего центра, ворк-зоны, зоны смыслов (Дунин наморщил лоб). Я бы хотела, чтобы это была именно ЗОНА. Как у Тарковского, помните? Живое пространство. Со своим характером. Со своими закидонами. Сменами настроений... Эмпатией!

– Очень интересно, – удивленно похвалил Дунин. – Думаю, все получится. Тем более с таким куратором! Удачи! Приду к тебе на защиту, болеть.

– Так, Михалыгрич! Мне нужна ваша помощь... консалтинг! Как раз в создании этой ЗОНЫ! Концептуально она практически готова, осталось только сделать... Воплотить. В материале. Это будут объекты из ПУПЫРКИ. На самом деле, это вы меня вдохновили. А я Натана Евгеньевича. Эта ваша серия, объекты. В том углу стояли...

Дунин ухмыльнулся. Почесал в бороде.

– Анфиса. Пупырка – это всего лишь полиэтилен, ты в курсе? А не какая-то мыслящая материя... Не спорю, из нее можно смастерить... соорудить... очень... весьма необычные вещи. Чрезвычайно эффектные, выразительные, соглашусь. – Дунин тряхнул головой, как конь, отгоняющий слепней. – Но... живое пространство? Чувствующее... Думающее... Эмпатическое! Не представляю, как ты собираешься это делать.

– О, Михалыгрич! Это как раз самое простое, – сказала студентка с такой уверенностью, что у Дунина непроизвольно поползли вверх брови. – Самое сложное – создать объекты, физически.

Но у меня уже готовы эскизы... Правда, пока еще довольно условные. Я принесла, вот, – Анфиса плюхнула перед ним нетолстую папку.

(Студенты выучили, что эскизы Дунин воспринимает материальные, что приходится к нему с планшетом или ноутбуком и тыкать пальцем в экран бесполезно.)

Анфиса подтолкнула папку к преподавателю.

– ...Э... Михалыгрич, когда я... мы... могли бы приступить?

Дунин в своем грифоновом кресле хранил молчание.

– Пупырку я уже заказала, много! – не сдавалась Анфиса. – Еще хотела спросить... Что нам может понадобиться? Кроме клея и макетного ножа?

Что-что, мое согласие, мрачно подумал Дунин.

И Пендерецкий, сатанински захохотал он, разумеется, про себя.

Банный черт

Не ожидал его здесь встретить... Нет. Не так.

В бане, конечно, всякое может померещиться.

Тем более что я тот еще банщик. С моими сосудами.

Так, чисто за компанию.

(«Чисто за компанию» – хороший слоган для банного комплекса. Или плохой? Понятен ли интернет?).

Но, когда тебе бросают вызов мощные заслуженные мужики, отличники банного дела... Из компании женичины, с которой ты хочешь быть.

Меньше бы удивился, если бы встретил тут, не знаю, Толстого. Деревня, Толстой, естественное сочетание.

Или Пушкина. А полы кто будет мыть? Пушкин?

Это как раз понятно... Для нашего менталитета.

Или, поскольку тусовка художественная, старика Репина, казака Васнецова, не знаю, богатыря Коненкова. Не очень в них разбираюсь...

Но повстречать в деревенской бане, за стописят км от города композитора-авангардиста...

Сам Кишиштоф Пендерецкий, живой классик, встретил меня у входа. Фигурально, конечно, выразжаясь. Несмотря на близость парилки и языческую банную атмосферу, Мазстро был во фраке, белоснежной рубашке, своих фирменных тоненьких очках. Это – сверху. Нижнюю часть составляли мохнатые с мощными копытами ноги козла.

Мостиком между верхом и низом, звеном смысла, была скрипка.

Вы возразите: банный черт, обычное дело. Ряженный. Хоть со скрипкой, хоть с гармошкой.

Почему сразу Пендерецкий? Увидеть в мохнатом банном черте польского композитора? Это ж сколько надо выпить...

Узнает в графине мать.

Но, друзья мои, я не обманулся. Лицо гениального поляка выучено мной до мельчайшей черточки. Вы бы спутали, не знаю, Чайковского? Бродского? Марлен Дитрих?

Так и у меня с Пендерецким.

Вопрос: что делал мазстро – в бане?

Ответ: служил подставкой под войлочные шляпы.

Вопрос: что это, конкретно?

Ответ: деревянная скульптура (хозяин дома – художник, скульптор). Вырезана автором в загородной мастерской. Установлена в предбаннике новой бани.

Вопрос: почему в бане?

Ответ: тут как в детской загадке. Черное, блестящее, на крыше – ? Рояль. ??????????!!!!!!!!!!!!!! Мой рояль, куда хочу, туда и ставлю.

Вопрос: признал ли автор, что скульптура изображает именно Кишиштофа Пендерецкого?

Ответ: да, удалось спросить прямо. Автор не отрицал, что в образе Пана использованы черты польского композитора.

Вопрос: почему скульптор изобразил именно Кишиштофа Пендерецкого? Автор – поклонник творчества польского композитора?

Ответ: скульптор ответил уклончиво. Не отрицал, что знаком с творчеством композитора, но причислить себя к фанатам не решился.

Вопрос: почему Кишиштоф Пендерецкий изображен в таком сомнительном, можно сказать, срамном образе: сатира, Пана? Имеются ли здесь коннотации, связанные с творчеством композитора, конкретными его произведениями? (не задан)

Ответ: –

1. Аллея Толерантности
2. Питомник Любви
3. Целуй-Город
4. Площадь Правды
5. Проспект Перспективы
6. Сидячий мост
7. Тупик Тоталитаризма
8. Сашино Шоссе
9. Улица Цоя
10. Площадь Летова
11. Па-Па-Парк
12. Площадь Равных Возможностей

– Отлично придумано... Есть хорошие ходы. А почему именно двенадцать?

– Ну, как апостолов. Хорошее, сбалансированное число. Дюжина. Вам, правда, нравится? Я так долго придумывала... Тестировала на знакомых. Это уже пятый или шестой вариант списка...

– Ух ты! – вежливо восхитился Дунин. – Что ж, пупырка тебе в руки! – он кивнул на здоровенную бобину упаковочного материала. – Вот клей, вот скотч, ножницы. Можем сделать проводочные каркасы или даже что-то попрочней. Главное – начать.

Анфиса подошла к пупырке. Рулон был в три раза больше студентки. Студенисто поблескивая, бобина стояла и смотрела на Анфису.

Анфиса, это пудинг.

Пудинг, это Анфиса.

Дунин наблюдал, стоя в дверях подсобки. Странность заключалась в том, что Дунин и сам не понимал технологии. Отрезать кусок? Выкроить основу? Сделать развертку? Драпировать, как ткань на манекене? Скомкать и набирать из массы объемы?

Анфисины эскизы были весьма условны и приблизительны. С точки зрения образа все было ок, что же касается формы, все находилось в зачаточном состоянии, 2-3 недели внутриутробного развития. Этого, пожалуй, хватило бы для работы в пластилине. Начать, добавить, уточнить, детализировать.

Колдуя над своей Невесомостью, Дунин обходился не то, что без эскиза, – даже без замысла, без малейшего представления о том, как действовать и что должно получиться. Он пытался вспомнить технологию «лепки», но анализу она не поддавалась.

Чистая алхимия.

Типичный практик, Дунин всегда знал, КАК СДЕЛАТЬ. Синдром умных рук. Бывали моменты, и нередко, когда он не знал, ЧТО, сомневался в качестве идеи, замысла, проработанности

эскиза. Но на интуитивно-первобытно-родовом уровне УМЕЛ сделать все, что так или иначе проходило по ведомству ваяния и технологии.

И вот, приехали.

Дунин чувствовал... ну, можно сказать, панику. Никогда он не был так близок к провалу.

К полному фиаско. (Крушение всех надежд, шесть букв, вторая и.)

– Меня сейчас стошнит. От стыда.

– Это всего лишь секс.

– Ты тощий. Ты не в моем вкусе... У тебя руки как у девушки.

– Какие есть.

– У тебя вялый живот.

– Знаю. Самого бесит... Нужно пойти в спортзал, я куплю абонемент...

– А любовник ты... хорошо, на крепкую тройку.

– Главное, крепкую. Я не претендую... Да, не профессор.

– Я не должна... Помешалась. Двойное предательство.

– Тебе было хорошо?

– Да. Почему-то.

– Ну и хорошо. Это главное. Значит, имело смысл. Никто не узнает. Ни ... , ни А ты забудешь, обещаю. Есть такой прием НЛП...

– Тогда, может, ЕЩЕ РАЗОЧЕК?

.....

(эпизод, целиком придуманный и разыгранный Нютой на два голоса).

Какая пошлятина, думала Нюта, что у меня в голове. Я читаю и перевариваю тонны хороших книг, а думаю макулатурными словами. Все плоско и кисло. Дрянь и дешевка... Я вообще потеряла любовную квалификацию.

SOS.

СМС-ки пришли почти одновременно, с разницей в 15 минут.

Нужно встретиться по важн. делу

Дев 53 см 3500! и двенадцать радостных эмодзи.

Первая от Алины.

Вторая от Полины.

Дунину не хотелось звать Алину в мастерскую, категорически. Но арт-критик настояла. Только не в кафе, сказала она, а где тогда?

– Очень рад, – сказал он. Оказалось, правда рад. Выглядела Алина не очень. Нет, не так. Выглядела Алина безупречно, но с тревогой в глазах казалась не такой лощеной. Это, странным образом, к ней располагало.

Студентов уже не было. Анфисины «ужасы нашего городка», как он их называл, стояли отгороженные фанерной ширмой: чтобы обнаружить их, требовалось разобрать баррикаду.

– Вы в порядке? – спросил Дунин. – Чай, кофе. Есть ряженка.

– А что-нибудь выпить?

– Обижаете! Водка, коньяк? Есть ром, кто-то принес, но я не пью такую гадость. Ром – для баб, ромовых. Вина нет, к сожалению.

– Можно коньяк?

Вот это «можно» было совсем не Алиного словаря. Дунин налил ей в самую красивую керамическую стопку, синенькую снаружи, сливочную внутри, коньяк в ней горел и переливался. Нашелся лимон, Дунин нарезал его прозрачными колесиками.

Скульптор не пустил Алину, на всякий случай, в кресло с грифонами, но выделил ей отличный гостевой стул, практически гамбсовский.

– Михаил. Не удивлены моим приходом?

Он так энергично замотал головой, что в бороде зашумел ветер.

– Вы вообще ничего не знаете?

– Смотря о чем речь. Вообще я слежу за новостями... У друга дочка родилась вчера, отличная новость. А что вы имеете в виду? Говорите, а то я нервничаю.

– А вы предположите? Я знаю, с интуицией у вас все отлично.

Дунин почему-то не разозлился в ответ на дурацкое предложение. И вообще был рад затянувшейся интродукции.

– Так. Хорошо... Но, для начала, в любом случае, хотя они – вы? – и отвалили за объекты кучу бабок, – это всего лишь пупырка, клей, скотч и пара сотен скрепок из степлера.

Алина Шпак внимательно и благожелательно слушала его легкомысленный треп. Он продолжил.

– Нет, я понимаю, там одной концепции на миллион. Туда вбухано интеллектуальной, организационной энергии немеряно. Вложено корпоративных упований... Но, Алина! Будемте честны! Это все-таки не мальчик, вынимающий занозу! И не Даная...

Она слушала, кивала.

– О, я догадался! Все просто! Их – украли. Какой-нибудь сумасшедший олигарх придумал украсить ими свои три скромных гектара на Рублевке... Возможно, миллиарды он сделал в добывающей отрасли, и его поступок не лишен ностальгического чувства. В Невесомости ему дорого именно ее нефтегазовое происхождение. А не, упаси Бог, художественная ценность.

Алина тихонько заржала.

– А что? – резвился вдохновленный Дунин. – Помню случай: ночью в райцентре какие-то умельцы унесли городской фонтан с двумя наядами. А по весу это точно была не Невесомость... (Дунин хкекнул, довольный каламбуром.) Так вот, их я скорей готов понять...

– Невысоко же вы цените свой труд, Михаил.

– Мой труд щедро оплачен. И отчужден мной уважаемому Заказчику, да хранит Господь его седины...

– Слушайте. А почему вы не предположили банальный пожар?..

Дунин почувствовал, что у него затекла, занемела грудь, зашумело в ушах.

– ...Обычный пожар. Возгорание, проводка. Или поджог. Пламя сжигает полиэтилен. Хрустит латунными табличками... Объекты плавятся, текут, воняют... Выделяют токсичные вещества...

Сукин ты сын, подумал скульптор, сволочь продажная.

– Все целы? – выдохнул Дунин. – Люди? Насрать на объекты...

– Михаил. Да успокойтесь вы, Бога ради. Не было пожара... Это я так, гипотетически. Простите меня!

Дунин молчал, слушал, как пульсирует в ушах.

– И вообще все нормально! Все по плану...

А чего тогда приперлась, подумал Дунин.

– ...если бы не это, – Алина достала из сумки сложенную крафтовую бумажку. Протянула Дунину. – Вот.

Он покрутил в руках. Потянул за сложенную ножку. Оригами. Бумажный журавлик.

Дунин плеснул себе коньяка в кружку I love Lviv.

– Это... откуда?

– Во вторник привели школьников, старшеклассников. Прямо к открытию. На экскурсию. У нас организовано что-то типа выездных лекций по органической химии. С легким профориента-

ционным пафосом. А у каждого объекта лежит по такой штуковине. Одинаковые. Из упаковочной бумаги, или это обоим...

Дунин раскачивался с нехорошей улыбкой. Threnody for Victims of Hiroshima тихонько завывал в его голове.

– Кто-нибудь в курсе?

– Я. Только я... Смотрительница собрала их и передала куратору. То есть мне...

– Ох, – сказал Дунин. – Слава Богу... А то меня чуть кондратий не хватил.

– Что именно слава Богу? – спросила Алина, помолчав. – Вы считаете, все в порядке? Помните, вы меня пугали тогда... мистифицировали... в «Мангусте»? Поймите, я не могу рисковать!

– В порядке, что все живы-здоровы. А это, – он покрутил в руках сложенную бумагу, – кто-то из своих. Дразнится... Противно. Но не страшно. Так, провокация, игра...

– Кто-то из своих?

– Да. Потом объясню. Не сейчас, ладно? Главное, объектам, людям, вам – ничего не угрожает.

– Уверены?

– Алина, скажите. Вы живете одна? – ответил Дунин вопросом на вопрос.

Арт-критик поперхнулась.

– Да. Сейчас одна. А что?

– Поехали к вам? Прямо сейчас.

Алина хотела что-то сказать, но не стала. Она допила из пухлой рюмки. Прожевала, не поморщившись, колесико лимона вместе со шкуркой.

Встала. Поправила тонкий ремешок на узком плече.

Взяла двумя пальцами, как насекомое, бумажного журавля.

– Это оставить?

– Что-то случилось? Так поздно...

– Нужно было закончить... Ждал... Пока схватится.

– Это все?

– Да. Нет.

– ?

– Я в кино. В фильме...

– Ты был в кино?!

– Нет, просто я в кино. Со мной происходит кино.

– Слушай, объясни нормально. Третий час ночи...

– Помнишь объекты?

– Невесомость?

– Да. Помнишь, что я слушал, когда их делал?

– Пендерецкого... Так. Сейчас. Ты говорил мне... Памяти жертв Хиросимы?

– Смотри, что подбросили на экспозицию. Под каждый объект по такой штуковине...

.....

– Из... обоев??

– Из обоев...

– Есть идеи, кто это сделал?

– Так, предположение.

– Дунин. Но ведь это не детектив? Твое кино...

– Нет. И не фильм ужасов...

– А что? Притча? Убить дракона?

– Давай завтра? Ок, уже сегодня. Я вырубаюсь...

.....

– Эй, Дунин. Откуда журавлик? Шпак?

.....

Ужасы нашего городка прибывали. По плану, по графику, по мере поступления. К середине апреля готовы были уже девять из двенадцати.

Странно вот что. В качестве материала для Невесомости пупырка была мягкой, пластичной, как глина. Будто оплавленной. Дунин *летил* из нее.

Для «городка» пупырка выдала стройность, структурность, подчеркнутую рядами пупырей. Сейчас это был современный, энергичный, внятный городской материал.

Типа стемалита.

После недолгих внутренних торгов Дунин решил применить известный лайфхак. Никакой мистики, чистая технология на основе синтеза искусств.

Что теперь, сдохнуть, охраняя рубежи?

Мой опыт, мои наработки. Моя профессия. Моя жизнь.

– Анфиса, – сказал ей Дунин. – Вот здесь, на планшете, мы крепим твои эскизы. Тщательно продумав последовательность, внутреннюю логику. От первого до двенадцатого. Делать... создавать их... мы будем под музыку. Это такой мой способ, делюсь. Музыка я подобрал сообразно творческим задачам.

– Пендерецкого? – спросила Анфиса. – Я уже поняла, он вас вштыривает. Не поняла, правда, почему.

– Да. Вштыривает. Именно. Поймешь по ходу.

Первый объект они сделали за день. Это было *Сашино Шоссе*. Дальше пошло как по маслу.

Как по шоссе.

Дунина штырило и перло, жизнь играла мускулами, стала внятной и бодрой. Это как копать яму, по замечательно описанному Александром Чудаковым способу доступного физического наслаждения. Радость осмысленной и нужной работы. Огораживаешь колышками, натягиваешь веревку, и пошел махать заступом. Задача ясна и понятна, мышцы поют, корни срезаем ребром лопаты, яма углубляется, гора черной торфяной земли растет.

Художественные операции с Пендерецким упростились и автоматизировались до махания лопатой. За них с Анфисой думали руки. Они вошли в ритм, в унисон, вообще не разговаривали, не советовались, ничего друг у друга не уточняли. Работая над одним и тем же не слишком крупным объектом, ни разу друг друга не задели, физически. Не причинили неудобств. Это был какой-то бесконтактный балет.

Правда, вначале важно было подумать над эскизом. Проговорить его словами. Проартикулировать.

Длинный прямоугольник закреплен на ножках. Опоры стоят на земле. Похоже на длинноногую скамейку-переростка. Шоссе сначала идет параллельно земле, потом разноименные концы его делают кульбит: один совершает резкий поворот вправо вверх, второй свивается в колечко.

И сосала сушку...

Сашино Шоссе вчера было готово вечером того же дня. Они даже обедать не ходили, даже чай не пили, тянули по очереди минералку из горла, из зеленой бутылки «Новотерской».

Анфиса вытерла потный лоб тыльной стороной ладони. Села на стул:

– А... пупеть, – сказала она устало и восхищенно.

– Да, неплохо получилось, – согласился Дунин, оглядывая Шоссе. Ноги у него гудели, будто он, не присев, прошел километров двадцать.

Журавля он повесил под лампу над рабочим компом. Если подуть, или просто подышать по-сильней, журавлик завивался вокруг своей оси. Аккуратно сложенное ловкое оригами. Видна рука, не школьник делал, складывал. Журавлик, один из двенадцати. Кто-то не поленился настричь из обоев двенадцать квадратов и сложить из них журавлиную стаю.

Целая, блядь, художественная акция.

Кто, ну кто вздумал дразнить его таким подкольным, мелкотравчатым, девочкиным способом?

Главное, зачем? Вопрос целеполагания.

Запугать?

Проучить?

Вселить тревогу?

Ой, ну смешно...

Самым странным и явно незапланированным результатом журавлиной акции стал роман с Алиной Шпак.

Отторжение, неприязнь и страх внезапно, как по волшебству, обернулись своей противоположностью. Дунин слетел с катушек. Страсть обрушилась на него, как ледяная вода из бочки. В его сомнительной ценой купленной бане...

Эстетический фашизм Дунина обратился в экстатический фетишизм. Лишенная одежд арт-критик напомнила ему одновременно все лучшее в мировой культуре. Начиная с Климта, Шиле, Холдера, и заканчивая...

Женщина-ложка, женщина-ложка, бормотал скульптор, слоновая кость, черное дерево. Любость с самого детства, из-за стекла, в тихой и таинственной тьме Египетского зала. Вот почему ты белая и не загораешь, ты – из слоновой кости.

В десять лет я хотел тебя украсть, и вот краду, спустя годы...

Алина Шпак совершенно ошалела, потеряла ориентацию во времени и пространстве от потока культурологических нежностей, скульпторских ласк, щекочущих брадатых поцелуев. Последние происходили скорей из соседнего зала: Вавилон, Ассирия, мощные человекобыки с курчавыми бородами. Алина скоро превратилась, действительно, в ложку, которой Дунин загребал жар преступных удовольствий.

Глубокой ночью, всклокоченный, пьяный, он все же сорвался домой. Проверив, похлопав и потрогав в большом нагрудном кармане бумажного журавля.

Как партбилет в бородатых анекдотах.

Гоч. Очевидно, однозначно Гоч.

Кому еще это интересно?

Кто появляется и исчезает? Кто провокатор? Экспериментатор... Возмутитель.

Кто любит поучать? Педагог, бля.

Дерзайте, терзайте! Рвите бумагу! Ломайте устои!

Кого не берет морская болезнь?

Кто у нас главный по обоям?

Тупик Тоталитаризма, первый из всех, и последний, двенадцатый, не получался.

Не шел.

Что-о-о, Данила мастер, не выхо-о-о-одит Каменный цветок?

Они с Евграфовой действовали по привычной, исправно работающей схеме.

1. Посмотреть эскиз.

2. Тщательно проговорить его в деталях. Вслух! Проартикулировать.

3. Завести Пендерецкого.

4. Приступить и работать до полной готовности объекта.

Вертикальный прямоугольный ящик, довольно глубокий, как бы в обратной перспективе. Немного похож на поставленный на попа гроб. В прямоугольник вписана конструкция в виде буквы Т.

В виде эскиза выглядело очень даже неплохо, убедительно. Завершенный объект получился похож на обледенелый сельский нужник без двери. Тоже по-своему выразительно, но не то.

– Анфиса, не, не годится. У нас объекты какие? Городские. А тут – село. Ни пафоса, ни вида. Ошибка на стадии эскиза. Даже замысла. Почему Тупик? Подумай... Это сопротивление недодуманной сырой идеи. Думай, рисуй, черкай! С Натаном обсудите... А то действительно тупик.

Дунин вытолкал Евграфову, расстроенную, растерянную.

Ничего, бывает. А то все слишком гладко, сладко.

Как по нотам. Дунин улыбнулся нечаянному каламбуру...

У скульптора неожиданно образовалось несколько свободных часов. Зазор, пустота.

Вечерком хотел заглянуть Черных с бутылкой, но пока не подтвердил. Папаша!

Дунин сел в грифоновое кресло. Перед глазами качался на нитке бумажный журавлик. Скульптор вспомнил приснопамятный вечер, когда птица выпорхнула из Алининой сумки. Кровь бросилась в лицо и пах.

Дунин потянулся к телефону, вспомнил, что Алина в Венеции, на биеннале. Писать слова, посылать сердечки или селфи, все это был не дунинский стиль, и скульптор просто налил себе коньяка.

Женщина-ложка, женщина-ложка.

Тупик, однако, не шел из головы. Как мастера и технолога, Дунина такие вещи выбивали из колеи, застили все остальное, включая интересы телесного низа. Он думал про тупик, про эту странную домовину, не вписывающуюся никак в их милые, ладные, понятные обаятельные ужасы (прелести) нашего городка.

Дунин почеркал на бумажке, посклеивал между собой две буквы Т, но толку не было. Получался то турник, то вообще полная фигня.

Скульптор завел прерванного Пендерецкого, пошел по мастерской со стопкой. Коньяк маслянисто плескался, облизывая стенки. Так, наверное, тяжелые воды венецианского залива облизывают gondolu, где сидит белая в черном и алом Алина Шпак.

Скульптор помотал головой, отогнал соблазнительное видение. Осмотрел одиннадцать готовых фигур за ширмой.

В руках возникло знакомое жжение, зуд, покалывание, и настроение вдруг испортилось. Облом сегодня вышел с тупиком. Осечка! Дунин не любил, когда не получалось.

Что-то там Анфиса с Натаном не додумали... Потому и эскиз вышел формальный, пустой, не наполненный.

Или другая причина?

Захотелось лопнуть парочку пупырей, выпустить пар. Прямо пальцы зачесались... Анфисины ужасы для этого не годились, следовало сохранить целостность объектов до защиты.

Дунин направился в угол, где стояла и сверкала сильно похудевшая Анфисина бобина. Лопнул несколько штук по краю, все равно пойдут под нож. Нож, вилка, ложка, женщина-ложка.

Дунин включил у себя в голове эскиз, покрутил так и сяк. Потянул на себя мягкую слюду пупырки.

Тупик Тоталитаризма, говорите?

– Дунь, ты в Москве? Или в Сахарово? – голос у Саакянц был запыхавшийся. Наверное, звонила прямо с беговой дорожки, или гнала на велотренажере, или просто бежала. Наташка совершенствовала свои формы и содержание, бесконечно. Саакянц было что терять: высокая, тонкая,

звонкая. В юности Наташа была практически древнегреческая кора. С проступающими чертами краснофигурных бегуний: сказывались занятия легкой атлетикой. Не музыкалкой единой.

По правде говоря, лет дцать с лишним назад имел место эпизод, когда Дунину удалось рассмотреть Саакянц во всей красе двадцатилетней наготы. А вот познать, в библейском смысле этого слова, – увы, не склалось...

К их общему тщательно скрываемому сожалению. И декларируемой пользе такого исхода для обоих не-участников.

– Я в Москве. Работаю до конца июня.

– Миша, короче! Объявляется режим предельной осторожности. Не слушай ничего предсудительного. Не стой под стрелой. И вблизи высоких деревьев. Хорошо? Совет тире предупреждение. Проще говоря, никакого Пендерещкого.

– А что случилось-то? Наташечка, слышь, приезжай, а? Я один, Нюта смылась в Сахарово. У меня есть отличное белое. И к вину есть. Приезжай, я соскучился!

– Дуня! С великим бы удовольствием, но я в Тбилиси до конца недели, а потом в Мюнхен, а потом в Питер, еще не на знаю, на сколько. Мутим потрясающий проект! Миша! У меня с телевизором немножко двинулось с мертвой точки. Я тоже вина привезу... Увидимся!

– Жалко... Пока!

– Дунин, ты меня понял? Все, обнимаю!

Скульптор очнулся. Кто-то сильно тряс его, больно моталась по твердому голова. Он почувствовал свой будто чужой одеревеневший затылок.

В рамке с трудом раскрытых глаз багровело Лешино лицо. Почему такой красный?

– Ле-е-еша! – радостно протянул Дунин. – Черных! Я рааад. Какими судьбааами?

Над багровым лицом друга белым полем расстился потолок мастерской. Какой необычный ракурс! Желтело в мутных плафонах электричество. Дунин отметил черноту по стеклянным углам, запылились. Неопрятненько.

– Дунин, ты охуел? Что ты изображаешь? На тебя напал паук из Сумеречного леса?

Дунин очнулся от морока. Болело в затылке, закаменевшее тело плавало в поту. Светло прижатые к бокам руки, ломило шею.

Скульптор рванулся шасть, но не смог. Потянув шею, осмотрел себя. Он лежал плотно спеленутый прозрачной пупырькой, чернея внутри, как муха. На полу, почти на середине мастерской.

Черных стоял над ним, низко склонившись, с томатным лицом, и рвал у него на груди полиэтилен.

– Леша... Там нож где-то валялся.

Черных взрезал на Дунине полиэтиленовый кокон, вынул друга, как ветчину из вакуумной упаковки. От скульптора сильно пахло коньяком. На Черных запах подействовал успокаивающе. Это хоть что-то объясняло...

– Играешь в Тутанхамона? Я с пяти часов звоню, пишу, прихожу с коньяком. Хорошо, охранник вспомнил-пустил. Олег, ты нас знакомил... Это что за обертывания? Миша, ты спятил?

– Тупик, – сказал Дунин, – Леша, это тупик. Как пиздец, но хуже.

– Все пропало. Все посыпалось... Как карточный домик с Кевином Спейси. Дунин недавно сказал про себя: я в кино. Намекал на масштабы происходящих с ним перемен... Так вот, теперь и я в кино. Только мы с ним в разных фильмах...

Нюта сидела у Веры в ее маленькой беленькой студии. У Веры была мадера. Вера-мадера, не очень удачный выбор, но выбора не было. Важно успеть выговориться до конца бутылки, от мадеры хмелеешь быстро и наверняка.

Вера подлила в бокалы, сравняла уровень. Подняла глаза на Нюту.

– ...Причем это медленная история, странно постепенная. При всей внезапности... Началось ровно год назад. Хотя на самом деле раньше, двадцать с лишним, но это в предыдущих сериях. Я не уложусь за одну бутылку. Потом расскажу, это чистый Кинг. Вер, Дунин влюбился.

– ???

– Арт-критик, довольно известная деваха. Так вот, Дунин ее просто не переваривал. Избегал. Он боится баб с интеллектуальным напором. Сам-то не блещет, собственный его ум не в голове.

– ???

– Нет. В руках. Умные руки. Феномен мастера-ремесленника. Встречается и среди художников, станковистов, прикладников... Я знала женщину-скульптора, керамиста... мы с Дуниным у нее и познакомились – она двух слов связать не могла. Такая, вроде, знаешь, ограниченная... Зато могла слепить портрет по описанию. Точность, сходство зависели от качества описания. Будто ее руки залезали тебе в мозг, в память. Это как в пластилиновом мультике, только там монтаж, а тут прямо в режиме живого времени, – Нюта сделала глоток. – Так вот! На выставку Дунина – я тебя звала, помнишь, но ты тогда была в Швеции, не смогла прийти – привели Алину Шпак. Наташка Саакянц ее добыла. Между прочим, залучить ее не так просто. Звезда! Знаешь, и я тогда уже что-то почувствовала! Хотя Дунину эта Шпак страшно не понравилась. От слова страшно. Он ее испугался! Молодая, решительная, злая, уверенная. Опасная. Из породы самых умных. А у него ж полно комплексов. Господи, как у всех у нас. И, Вер! Эта Алина мне тогда сделала какой-то дежурный комплимент – что, мол, на этой выставке я главный экспонат. Я, а потом уже все остальные... И мне это как-то как серпом по яйцам, неправильная похвала, ненужная. Осталась от нее оскомина, хотя все хорошо, друзья, радость, вино, успех.

Нюта отдышалась, приложила к бокалу.

– И эта Шпак, в результате, запала на Мишины работы. Чем-то они ей пришили. Зацепили. И она спустя какое-то время продала их корпорации, под каким-то очень лестным соусом для Дунина как автора, и особенно для себя как куратора. Ты приблизительно знаешь эту историю. Неслабый гонорар, баня.

Нюта отхлебнула.

– Дунин всю дорогу этой Алины боялся, сторонился. Ты бы видела, как он ей перезванивал. Мучился, с духом собирался, как в прорубь нырял! А у него есть такое... если кто-то ему не люб, он как ребенок будет избегать, прятаться. Я в детстве не выносила родительского приятеля, такой Рустам. От него странно пахло. Как из дачного шкафа, когда приезжаешь после зимы. Я не входила в подробности, что он, может, одинок, недостаточно ухожен. Или, может, беден. Я просто его не переваривала и не видела в нем ни обаяния, ни ума, а он был ученый, физик. Вер, так Дунин и сейчас такой. Как я тогда...

– Он летом к ней на встречу собирался – только что не выпил на дорожку. Для храбрости. Фронтонные сто грамм. Но наелся, ты будешь смеяться, они встречались в кафе, и он повернул перед выходом полный второй обед.

– Я не пошла тогда на открытие... Стра-а-ашно пафосное! Дунина нарядила, отправила, а саму с души воротит. Потом Дунин рассказывал, что на презентации все официанты были как пародия на него: бородатые и с вьющимися волосами, как на подбор. Молодые, красивые, но – шарж. Смешно? Не знаю... Он тогда счел, что Алина таким образом щелкнула его по носу. Дунин ведь сначала на ее предложение ответил отказом... таким, снисходительным, с высоты лет... Она отказ прогрозила. Подождала, надавила, известным способом. И Дунин сдался. Результат всех устроил: у нас баня, у Алины успешный проект и шикарный клиент. Все удовлетворены, никаких претензий. Никакой славы, конечно, но это с самого начала было ясно. Хотя она сулила Дунину вход в категорию А. Но Дунин, как ни странно, не амбициозен, ему главное работу давай... Мы с этой Алиной вообще существуем на разных этажах животного мира... Кстати, не поручусь, что ее этаж – выше.

Нюта клюнула своим бокалом Верин, выпила.

– А теперь, Вера, он ее трахает. Белую, как самка аксолотля. Как шампиньон, это все Дунина сравнения. И ладно бы. Но надо знать Дунина. Он влюбился. Ходит в эротическом угаре, веселый,

счастливый. Нежности хватит на десятерых, всех готов затискать. Мне тоже перепадает. Борода лохматая, глаза синие, губы трясутся. С живота спал. Помолодел.

Нюта подлила себе мадеры.

– Вер, мне ли не знать. Восемь лет живем! Ко мне он уходил такой же, трясущийся...

Вера потянулась к Нюте, обнять, погладить, но та отпрыгнула. Мадера действовала, усиливая громкость речи, придавая движениям размашистость.

Нюта выхлебала остатки из бокала. С некоторым усилием утвердила его на столе.

– Вер. Раз у нас... у меня вечер пьяных признаний, я договорю. А я переспала с твоим Димой. Независимо от Дунина, от Шпак, от всей этой истории. Раз пятьдесят! Или сто, я не считала... Прямо вот здесь! – Нюта выставила средний палец правой руки и постучала им по собственной голове.

Анфиса ворвалась в мастерскую в понедельник рано утром, часов около двенадцати.

На шум выглянул из подсобки Дунин. Выглядел препод не очень, поникший, ссутуленный. Тусклый взгляд. Синий линялый халат вместо ковбойки. Слесарь слесарем...

– Вы в порядке, Михалыч? А то какой-то вирус ходит, у матери полработы на работу не ходит. А мне нужен ваш совет! – выпалила Евграфова на одной ноте.

Дунин кивнул осторожно, будто боялся расплескать содержимое головы. Он был какой-то чудной, замедленный, плавный в движениях. Будь Евграфова постарше и поопытней, она бы стала тасовать в голове медицинские версии произошедших с преподавателем перемен. Но Анфиса продолжала частить:

– Мы тут чуть не подрались с Натаном Евгеньевичем. *Тупик Тоталитаризма* убрали. К чертовой матери! Вы абсолютно правы... Он диссонирует, не вписывается. Спасибо, что показали мне это. Среди позитивного урбанистического поля – Тупик, и еще с какой-то каверзой. С подоплекой. Потому-то он у нас и не получался...

Дунин смотрел на Евграфову, вглядываясь, будто она была сделана из непрозрачной пупырки.

– Так вот. У нас был мозговой штурм. Мозговая битва! Натан придумал и предлагает сделать Сквер Скреп. Это, вы поняли, отголоски недавней истории в Ёбурге. Визуализация – прозрачный прямоугольник-забор, внутрь как бы вплавлены силуэты людей, держащихся за руки. Или, скорей, под локти. Ноги расставлены... Живой щит. Памятник гражданскому сознанию. Территория свободного и разумного волеизъявления.

Помолчали. Дунин смотрел уже не настолько насквозь.

– ...А мне кажется, это не актуально! – горячилась Анфиса. – Нет, конечно, актуально, но это же опять тупик. *Тупик тоталитаризма*, вид сбоку. Для меня как для автора, молодого горожанина... горожанки... есть гораздо более острые темы. Диплом же мой, не Натана! Я много думала... И с друзьями обсудила, что нам все-таки нужно от города. В городе. В идеале. Урбанистический запрос молодежи. Все сказали, единогласно: нужна БОТАЛКА!

– Боталка? – Дунин брезгливо повторил дурацкое слово.

– Именно! Бесплатная удобная эстетичная зона для учебы, занятий. Какая-то приспособленная. Вашему поколению, я знаю, нигде было... заняться сексом. А нашему – нигде учиться, в смысле, заниматься. Думать. Дома? Исключено. В библиотеке? Нет, не то! На травке в парке? Можно, в сезон, миленько, но неудобно. Нам бы хотелось делать это в компании. Друзей, единомышленников. Быть рядом, но не вместе, не мешать друг другу. Это близко к идеям коливинг. Умное, приспособленное, комфортное место. Красивое. Современное. Уважительное. Дружественное. Чобы спокойно ботать, то есть работать.

– А, в этом смысле боталка. БОТАЛКА-коворкинг?

– Или коворкинг БОТАЛКА.

Дунин немного ожил, порозовел.

– Так. Ясно. Мне нужен эскиз.

Анфиса немедленно подсунула ему несколько изрисованных листов.

– Никаких скреп и тупиков! – сказал Дунин решительно и потянулся за очками. – Конечно, БОТАЛКА. Коворкинг, ковер книг. Коливинг. Или просто БОТАЛКА.

– Ну что мне с тобой делать, – сказал обессиленный Черных. – К стулу скотчем примотать? Сдать в психушку?

Дунин сидел в грифоновом кресле, по-фараоновски положив руки на колени, и смотрел на однокурсника пустыми глазами. Вид он имел плоский, как тамареска.

– Миша. А ты вообще понимаешь, что я тебя спас? Не в смысле я герой, но если б я не пришел? А если б ты коньки отбросил в этом своем саркофаге...

Дунин молчал, не отводя глаз и не моргая.

– Выставка одна. Выставка другая. Контракт. Баня! Какого тебе еще рожна? Что ты присосался к нему? Ты наркоман, Миша?

Дунин вскинул руку, будто просясь к доске. Сказал глухо, будто еще спеленутым голосом:

– Тебе, наверное, кажется, что это сезам. Что я захожу и беру, сколько нужно. А это не так. Он меня не спрашивает. Сам звучит. В голове включается... Может, вселился?

– Может, ты отпуск возьмешь, Миша? Сменишь обстановку? Съездишь в санаторий? Грязи, воды, ванны...

– У меня защита дипломов и все, я свободен. Три недели.

– Миша. Я тебе не нянька. Не сторож. Ты взрослый мальчик, осознанный...

– Кстати! Как дочку назвали?

– Никак. Думаем, выбираем. Полина зовет «оляпкой» и «варакушкой», есть такие птички... А я зайнкой, – немедленно растаял, поглупел Черных.

Дунин закашлялся. От уменьшительных суффиксов скульптор слегка протрезвел, вернул себе объем.

– Ох, – крикнул скульптор. – Давно это было. Ну что, обмоем вашу красавицу?

Черных зашелся в неконтролируемой улыбке, расцвел, порозовел.

– Правда, красивая. В Полинку...

Они налили.

– Леша. Какой ты молодец, – Дунин помолчал, поморгал. – Скульптуры, объекты – все пыль, прах. Настоящий ваятель – это ты! – он растроганно боднул друга в плечо, выпил и окончательно протрезвел.

Алина Шпак, в ее Венеции, занимала огромную часть Дунина. Теснила грудь, затрудняла дыхание, колыхалась в животе.

Это мешало, немного. Жить и работать.

Скульптор знал один универсальный способ борьбы со смятением духа и горячкой тела.

На что ему, в конце концов, даны были руки.

Его интеллектуальные руки.

В понедельник Дунин пришел в мастерскую неестественно рано, около десяти, с готовым, исключающим и крутящимся в районе солнечного сплетения 3D эскизом.

Ушел весь день и все запасы итальянского пластилина. К вечеру *Обнаженная* была практически готова.

Миниатюрная, с формами, молодая женщина лежала в позе сфинкса. Худые плечи, стройная шея, гибко выгнутая спина. Тонкопалые кисти покоились на клавиатуре небольшого ноутбука, слившегося с фигурой в единый пластический монолит. Молодое неузнаваемое лицо, обритая голова, красивый выпуклый затылок, маленькие уши, высокий лоб.

Только пластика вытянутых ног, абрис круглых ягодич и египетский след могли привести на ум женщину-ложку. И Алину Шпак.

Дунин сначала сделал лицо обнаженной гладким, безчертым, как яйцо, а черты перенес на крышку ноутбука: лицо выходило из плоского прямоугольника таинственной маской, рельефом.

Ближе к вечеру, походив вокруг обнаженной кругами, он вернул лицо на место, убрал с крышки. А то какая-то Магриттовщина, к черту.

Обнаженную он завернул в пупырку и поставил, нелегкую, на стеллаж, где уже стоял веселый похотывающий Дима Быков, тоже в пупырке.

Лекарство подействовало.

Дунин немного успокоился.

Объекты из пупырки занимали процентов семьдесят от общего объема работ диплома по урбанистическому проектированию Анфисы Евграфовой. Была еще огромнейшая, Дунин поразился ее размерам и масштабам, теоретическая часть. Включающая, в числе прочего, результаты опросов, оформленные интересной инфографикой; в этот блок входила и видеопрезентация.

Экспозицию они выстроили прямо во дворе. Смотреть ее, шурясь на солнце, вышла из здания факультета комиссия в составе семерых ученых мужей, с бородами и без, густо татуированных, гладко бритых, с тоннелями в ушах. И человек тридцать слушателей, после темноты зала ослепленных сверкающей в лучах майского солнца пупыркой, материалом проекта.

Зрелище было достойное, Дунин мысленно поздравил себя. С Анфисой они придумали интересную навигацию, получился маленький занимательный квест. На стильных шильдиках располагались названия и остроумные описания. Пупырка празднично иллюминировала, воздух шуршал, дрожал бликами, сверкал очками преподавателей и студентов. Кто-то басовито засмеялся, кто-то взвизгнул от радости. Худышки-однокурсницы затискали Анфису. Возле уха дипломницы синел след от помады.

На защиту Евграфова оделась неожиданно по-взрослому: черные брюки, жакет. Правда, дипломница не обременила себя топом или блузкой, между лацканами горела вылезающая из декольте разноцветная татуировка в виде ретросамолета, на таком мог летать Экзюпери. На ногах сидели огромные яркие кроссовки, приводившие на память супрематических крестьян Малевича.

Анфисин Натан Евгеньевич ходил жених женихом, диплом явно превышал масштабы института и рвался на оперативный простор фестивалей. По огромнейшему секрету Анфиса призналась Дунину, что они с Натаном подали на городской грант и есть шансы.

Осмотрев фигуры, выслушав комментарии дипломницы и ее руководителя, Дунин тоже сказал пару хвалебных слов в адрес Евграфовой. Отметил упорство, подчеркнул настойчивость, восхитился трудоспособностью.

Вернулись в зал.

Анфиса запустила финальную часть презентации: в ней объекты были вписаны в городскую среду и, надо сказать, отлично в нее вписались. Тем более что Евграфова выбрала самые козырные места города.

Пока разворачивались первые кадры, Дунин понял, что видео озвучено музыкой Пендереского.

Боковым зрением препод видел, как по рядам поползло смятение, переходящее в дискомфорт.

Председатель комиссии, широченный Глеб Перец, толстыми пальцами тер виски. Доцент кафедры средового дизайна Гуссейн Чижов встал и отошел к стене. Крупнейший в стране специалист по урбанистике Артем Пуриц откинулся на спинку стула и массировал себе левую грудь. Преподаватель кафедры графического дизайна Наташа Митко стала с небольшим нарастанием амплитуды раскачиваться вперед-назад.

Мы же договорились, заскрежетал про себя Дунин. Я же сказал, чтобы даже не думала.

Скульптор почувствовал предательскую слабость, дурноту, жжение в ладонях.

В темноте, задами, рядами, препода выбрался из зала. Вдогонку крались струнные, шкрябали ударники. Интимная, опасная музыка лилась на людей, целый зал людей, большинство из которых была молодежь.

Сами, сами, думал Дунин, без меня.

Дунин снова проснулся в четыре. Каждое лето случалась с ним эта напасть. Вставал ни свет ни заря, во сколько бы ни ложился.

В целом от такого уклада была бы сплошная польза, но всяческие мысли, взявшие моду приходить по ночам, с вечера, способствовали сокращению сна до минимума. Дунин беспокоился за собственную сохранность...

Возможно, утечка сна была связана с отсутствием Нюты. Сразу стала заметна пустота и огромность кровати. Которую, вообще-то, Дунин считал лучшим местом на земле. После, конечно, мастерской.

В тот тонкий промежуток, когда остатки сна уходили в подушку, а новый день заходил в голову и вставал там, Дунин понял, что ему необходимо встретиться с Гочем.

Более того. Сделать это следовало давно. Что ж он за лох такой, почему сразу не догадался...

Нюта дразнила его рукомозгим, утверждая, что думать, анализировать, принимать решения Дунин может только руками и только во время и в процессе работы. В остальное время, утверждала жена, мозг скульптора зачехлен и находится в нерабочем состоянии.

Господи, чего проще! Найти Гоча. Припереть к стенке и все из него вытрясти. Налить старикану виски, разговаривать. Теперь они не загадочный препода и долговязый студент, а двое взрослых мужей, преподавателей, творцов, объединенных общим прошлым и общим же загадочным опытом.

Расспросить Гоча про неостановимую, выходящую из-под контроля Пендерец-эстафету. Узнать, откуда сам Эдуард Львович почерпнул идею арт-сессий. Как он вышел, в те-то годы, на ком-позиторов-авангардистов и остановил выбор именно на этих.

Почему-то Дунин был уверен, что Гоч не автор данной практики, методики, а продолжатель.

Спросить, узнать. Прямо, по-мужски, без политесов. Тем более что они заново познакомились на «Василии Косякове», во время качки в Белом море.

Если, конечно, Дунин закладывал процентов пять-семь на такую вероятность, препода не привиделся ему в бреду морской болезни...

Скульптор ринулся на поиски. Полез в Facebook. Нашлось некоторое, небольшое количество Гочей, среди которых обнаружилась одна девушка, но нужного не было.

Что-то подсказывало Дунину, что в других соцсетях вероятность встретить Гоча, Эдуарда Львовича, еще меньше.

Не в пыльных же маразматических Одноклассниках? Не в инфантильном VK... Не в нарциссическом Инстаграме.

Он забил Гоча в google. Нашлось несколько небезынтересных Гочей, один даже довольно-таки известный, но Эдуард Львович среди них обнаружен не был. Дунин уточнил: Гоч, писатель. Тут же вылез объемистый перечень книг некоего Василия Гоча. Первая называлась: *Нарабатываем плазму рунного языка*. Дунин прочел несколько раз, изумленно поморгал. Была среди книг Василия Гоча спокойная и понятная *Книга судьбы*. Нашлись *Путь за Тантру* и *Теория причинности*.

Сперва Дунину показалось, что он напал на след. Он почитал про автора, повглядывался в фото, явно из паспорта, оцифрованное, но, кроме фамилии и, приблизительно, возраста, не было ничего общего.

Он продолжил стихийные поиски, и на сайте любителей фэнтези нашел ссылки на романы Элгоча. То есть – Э.Л. Гоча, каверзно писавшегося без имени, в одно слово.

Дунин так поразился находке, что у него подскочило давление, заухало в груди, и он решил временно прервать расследование.

У них даже месячные начались одновременно. В один месяц одного года. Практически в один день. Обоем было тринадцать. То есть: на женский путь подруги вступили рука об руку, скрепив дружбу кровью.

Но – Вера немедленно доложила, отрапортовала о случившемся маме. Нюта рассказала только Вере, предоставив собственной матери догадываться о случившемся.

Вместе, с помощью деятельных советов Верини мамы, Вера и Нюта примирились с возникшими неудобствами.

Деталь, поразившая Нюту. Верина мама восприняла случившееся как радость, интимный праздник, инициацию. Она поздравила дочку, которой был сделан подарок. Так Вера получила намечанные (ими обеими) кроссовки.

У Нюты все было прозаичней. Она просто продолжила жить по новому календарю, без праздника посвящения в женщины. Мама, затариваясь в ближайшем хозяйственном магазине «Све-жесть», заодно с туалетной бумагой, шампунем, зубной пастой, покупала гигиенические средства и для дочки тоже.

Нюта тогда отметила, прочувствовала эту странность, различие в женских и семейных укладах. В остальном же девочки были бесконечно близки и похожи.

...И мальчики им всегда нравились одни и те же.

– ...он не уйдет. Я знаю точно. Во-первых, он тебя любит, тебя. Эротическое помешательство с каждым может случиться... Так ведь? А?! – и Вера пробуравила подругу жестким, без улыбки, взглядом.

Нюта не ответила. Она покрутила ножку бокала, понюхала его опустевшее нутро.

– А во-вторых, он трус. В лучшем смысле этого слова...

Нюта наконец отвлеклась от бокала. Вера сварила ей кофе, с молоком: здоровенную бадью, керамическую кружищу, полную до краев, до верхней риски. Все, как Нюта любила. Эти кукольные чашечки, пижонский костяной фарфор, сплошная эфемерность, наперстки с эспрессо – не кофе, а так, видимость, реквизит.

– Он – трус наполовину, – сказала Нюта рассудительно. – На вторую половину он бешено, дурацки храб и отважен. Когда не надо... Иногда до глупости. Мы пару раз чуть не влипли из-за этого... Я уже молчу про гипертонические кризы, лет-то ему... Но да, ты права, в нашем случае активна первая половина... Верка! Как все переплелось... Как макраме, помнишь?

...В комарином лагере «Энергетик» девочки ходили в кружок макраме. Совсем в детстве, до месячных. Обе просто помешались на этом макраме. Кружок располагался в сыром фанерном помещении, практически сарае, где за длинным столом человек двадцать девочек и пара мальчиков плели узлы под руководством немолодой Ксении Игоревны. Нюта тогда запомнила, что узлы на самом деле – рыбацкие, в разы уменьшенные морские узлы древних воителей, варягов. В глазах девочки это придало скромному рукоделию, тихому плетению из ниток героический флер, мистический ореол.

В плетении этих рыбацких узлов была неизъяснимая магическая дисциплина, не оторваться. Они плели как маньяки, как заколдованные. Ещё ряд, и пойду, ну, парочку, три, и достаточно. Но вот спасительный горн, а обед пропускать нельзя, есть-то охота.

В подарок маме Нюта сплела несуразно большой кошелек, бесформенный, чёрного цвета. Кажется, мама так и не использовала его по назначению, но хранила в нем носовые платки, идеально белые, с мережкой и вышивкой. Вот было время, сморкались в тканевые платочки, стирали их, гладили – с ума сойти...

В старших отрядах, вспомнила Нюта, танцы были сплошное макраме, сплетались-переплетались. В то лето, с макраме, они очень удачно, симметрично влюбились в близнецов, Лешу и Боря Боярко, но Леша обоим нравился чуть больше.

Изданных книг у писателя Элгоча оказалось две, 2011 года и 2015-го. Дунин заказал их на Лабиринте, где у Нюты была именная скидка.

*Исчезнувшие в Кратово.
Воровка финалов.*

Обе категории 12+, в мягких и ярких обложках, книжки имели такой жалкий вид, что у Дунина перехватило дыхание. Итог... Жил человек, учился, мечтал, творил... И вот.

Кирюха, Игорь и Тося – обычные подростки из подмосковного Кратова. В нем-то, знакомом им до последней травинки, ребята однажды находят ход в заброшенное бомбоубежище: лаз в земле, замаскированный дикорастущими люпинами. Любители приключений принимают решение исследовать находку. Больше в Кратово их никто не видел. Значит ли это, что ребята исчезли? Куда привел искателей тайный ход?

Хххоссподи, подумал Дунин. Тоже мне фэнтези... Какой-то разведенный «Кортик»...

В детстве Сима перенесла психологическую травму – смерть верного друга, безродного пса Хитачи, с которым вместе росла и выросла. Смерть собаки, конец, финал – как ни назови этот естественный и неотвратимый для всех исход – стал для девочки переломным моментом и указал ей собственный, особый путь. Все книги, которые попадают Симе в руки, она лишает финала: нескольких последних страниц. Никто больше не сможет ответить: а чем закончилось? Что будет с книгами, лишенными финалов, и чем закончится собственная история Симы?

Ойнимагу, запечалился Дунин. Эдуард Львович, Эдуард Львович, детский сад, штаны на лямках. Может, это он для денег? Или для внуков-подростков? Или позднее отцовство? Бывает же, вштыривает, и начинают строчить стихи-сказки... А Гоч же педагог, наверное, с методической целью, с воспитательным прицелом.

Скульптор уважительно загрустил о шикарных книгах другого Гоча, Василия. *Нарабатываем плазму рунного языка!*

Дунин положил *Исчезнувших в Кратово* и *Воровку финалов* на середину стола, на видное место, твердо вознамерившись прочесть книжки в самое ближайшее время.

Алина вернулась, болезнь возобновилась. Никакие укоры совести, доводы разума, мысли о неправильности такого поведения не могли удержать Дунина от Алины.

Сколько тебе лет, корил себя Дунин, каждый раз тая сердцем при виде ее подъезда. Неброский желтый дом, поздний конструктивизм. Со вкусом девушка.

Желтый дом, как мед, я влип, я вклеился.

Желтый дом, я сошел с ума.

Дунин лепил женщину-ложку. То едва касаясь, оглаживая ладонью, электризирующей кожу. То веселой побегкой до странности нежных пальцев. Размягченная, гладкая, растянутая как тесто для пахлавы, теплая как хорошо вымешанная глина, глина-Алина годилась сейчас для любых экспериментов.

Она могла стечь и застыть лестницей-волной.

Изогнуться и раскинуться роденовской возлюбленной.

Закаменеть скифской бабой.

Арт-критик Алина Шпак, волевая, решительная, энергичная, мало походила на самое себя, и все-таки это была она.

– Миша, – сказала после, обдувая богатырское тело арт-любовника. – Што ты со мной делаешь? Меня уже друзья не узнают... Походка, говорят, другая, лицо... Глаза не твои. Верни мои глаза, Дунин!

– Я куда-то их сунул, забыл куда, – пошутил скульптор.

– Миша, я хотела написать, но ты же не читаешь... Мы больше не будем... эээ... встречаться. В этом качестве. Хорошенького понемножку. Тем более ты женат. На молодой красивой женщине. Ты прекрасен, мой возлюбленный. Но мне нужны силы, ясная голова, мои злые зеленые глаза. Я не хочу быть белой и мягкой. Точней, я не могу удерживать это состояние только на время встреч. Дунин, ты затопил меня и выплескиваешься из ушей и глаз. Меня скоро смоем, как Венецию. Это уже не я. Я чуть не сорвала проект! Я продолжала важную встречу... А это моя жизнь, моя работа. То, ради чего! Я так не могу...

– А я?

– А ты художник Дунин. Родился в городе Ветлуга Нижегородской области. Закончил... за-была, что ты закончил? Доцент КАШГУ. Хороший художник. Хороший любовник, – Алина закрыла глаза, потянулась, – очень. Огонь моих чресел. Но если бы только их, Миша, я бы отлично с тобой встречалась и с удовольствием трахалась пару-тройку раз в месяц. Но ты меня разобрал на атомы и пересобрал заново. Мне это не подходит. Не, опыт потрясающий, правда... Незабываемый... Я тебе благодарна... Але! Дунин, ты куда? Четвертый час...

Нищему собраться – подпоясаться. Дунин не стал принимать душ в алой Алининой ванной, пошел горько-соленый в майскую ночь.

Удрученная Алина провожала скульптора.

– Кстати, – сказала Шпак, пока Дунин шнуровал свои довольно-таки старперские, на Алинин вкус, летние ботинки, – пока я пахала на биеннале, была совершена попытка поджога. На выставке в Екатеринбурге. Моментально сработала сигнализация, успели, погасили. Немного пострадало *Единство*.

– *ВНЕЗАПНОСТЬ*, – автоматически поправил скульптор.

– Дунин. Угадай, на кого я подумала?

В Сахарово стоял прекрасный девственный июнь. В развитии здесь все немного отставало от города, Нюта очень это ценила. Листва была уже не молочно-зеленая, как в мае, а холодноватая, в голубизну, как у Сомова с Борисовым-Мусатовым, что значило: впереди еще куча лета, вагоны, и можно не волноваться. Есть его десертной ложкой. Город уже отгрел сиренями, благоухал пирожными цветущих каштанов, здесь косили траву, и над стриженными местами вставал грустный соломенный запах уходящего лета. А в Сахарово все было свежее, влажное, хрустящее, не набрало еще окончательный летний размер, сирень только собиралась взорваться, сушила взрывчатку на солнце. Ландыши стояли зародышами, бело-голубели в зарослях цветки съедобной кислицы, лиловели цветы веронички, которые Дунин обычно принимал за незабудки.

Я в раю, думала Нюта. Я здесь одна, никакой Адам не свернет меня с пути истинного, не осквернит мое хрустальное содержательное одиночество. Иногда, достаточно часто, являлся ей Дунин, веселый, бешеный, добрый, и она наливала себе белого вина, доводя объем шипучей минералкой, коктейль хорошо осаждал грусть. Изредка возникал Дима, и тогда она бросала все – статью, лейку, оранжевый кусторез, и справлялась подручным способом, пока парень любимой подруги не оставлял ее в покое.

Звонок раздался не вовремя. Нюта глянула: Дунин. Не с первого раза попала мечтательным пальцем на сенсорный кружок.

Ответила.

– Дунин.

– Привет. Ты как?

– Наслаждаюсь, – честно ответила Нюта. – Одиночеством. Есть новости?

– Главная новость: я соскучился. Мне тебя не хватает... Я приеду.
– Еще?
– Я нашел Гоча. Думал, какой же я дурак, гадаю на кофейной гуще, строю гипотезы. Ведь есть же кого спросить! Ну, ты знаешь мои аналитические таланты...

Нюта хмыкнула.

– ...И сразу же потерял, – скульптор сделал такую огромную томительную паузу, что Нюта не выдержала.

– Ну?! В смысле? Опять исчез?

– Да, насовсем. Умер в октябре. Вроде не старый, 68...

– Ох, – расстроилась и сразу потеплела Нюта. – Миша, я тебе сочувствую. Жалко человека. И тебя...

– От удара...

– Мне очень жаль...

– И еще новость. Знаешь, как Черных с Полиной называли дочку?

– ???

– Ну, предположи!

– Дунин, не томи. Не собираюсь я гадать... Ксения? Дарья? Аглая?

– Назвали – Кристиной. Соригинальничали... Кристиной, Нюта!!

– Ого. Это в чью же честь? – и, очнувшись: – Знаешь, Дунин, ты не приезжай, не надо.

«Не ждали».

Предовольная сияющая Евграфова зашла, когда студентов в здании практически уже не осталось. Сессия закончилась, все разъехались, мелькали в коридорах преподы, принимающие хвосты у должников, администрация, охранники.

Она и выглядела не как студентка.

– Михалыгрч, – Анфиса возникла в мастерской красивая, элегантная, на каблуках, в огромных темных очках, сидящих на темени. Образ моментально устанавливал дистанцию, Дунин при вык к Евграфовой в джинсах, футболке, с распиханными за уши волосами, с неухоженными детскими руками. А тут – столичная штучка, одетая концептуально и женственно. С макияжем. С педикюром. Анфиса выглядела как молодая да ранняя пиар-менеджер городской администрации. Красивая, умная и хваткая, стремительно делающая карьеру.

Черт! Она была похожа куколку Шпак, куколку не в смысле девушку-красотку, а стадию развития насекомого, из которой лет через пять вылупится Шпак-бабочка, актуальная художница, колумнистка или арт-критик.

– Это вам!!! – сказала Анфиса и выставила на стол, перед Дуниным, прямо под парящим журавликом, литровый флакон коньяка, тяжелый как гиря. – Экстра Старый!

– Как я? – ослабился Дунин.

– Ну чтооо вы! – возразила Анфиса не слишком горячо. – Вы в самом соку! В расцвете... Я все думала, чем мне порадовать Михалыгрча. Вы мне так помогли... больше чем помогли. Это был очень важный опыт... Я благодарна вам...

Дунин покосился на Евграфову. Они все сговорились, что ли, эти девушки на букву А?

– У меня пятерка, вы знаете? И похвала от института, сказали: диплом выдающийся. Это успех.

– Заслуженный, Анфиса! – сказал Дунин искренне.

– Знаете... Вы ведь раньше ушли, я видела. Они, комиссия, были в таком восторге, что... просто обессилели. Катарсис! У Артема Игнатьевича даже случился сердечный приступ... скорую вызывали. Представляет? Это победа. Мы их сразили!

Эта дура искренне радовалась тому, что к преподавателю приезжала скорая. И считала это признаком успеха.

У Дунина заболело в груди.

– Это не мы, Анфисочка, – произнес Дунин медленно, с угрозой. – Это ты! Я просил не трогать Пендерецкого. Я предупреждал. А ты озвучила видео *концертом для виолончели с оркестром 1964 года!* Ты... людей подставила! Могло случиться что угодно... жертвы... Так и вышло.

Анфисино лицо стало жестким, губы брезгливо сложились в нитку. Это выражение так хорошо вязалось с ее новым имиджем, что Дунин, вдруг, остро прочувствовал взаимосвязь всего со всем, вечный брак формы и содержания.

Выпускница заговорила тихо, спокойно, жестко и снисходительно. Студентка – куколка, послушная, внимающая. Выпускница – бабочка, яркая, уверенная, летит куда хочет. Тем более с похвалами и рекомендациями.

– Михалыгринч, ну вы смешной такой, правда... Пендерецкий – что, ваша собственность? Запрещать его... Вы патент оформили? Копирайт? Да на него друг мой давно подсел, больше года. Когда вы мне про «Сияние» рассказали. Пендерецкий – в открытом доступе... Я сама часто слушаю, стало нравиться. Его оперы и симфонии не надо покупать, как метилэфедрон. Это – не наркотик. Это музыка! Вам, я давно это поняла, кажется, что вы – жрец тайного культа. Посвященный. Главный магистр Ордена Пендерецкого... А это. Просто-напросто. Всего-навсего. Музыка!

Хорошо и печально знакомые интонации подтвердили опасения Дунина. Он молчал, в груди ворочалась большая тесная штуковина. Заныло плечо.

Анфиса почувствовала, что перегнула, но правда была дороже.

– Я вам вот что скажу, Михалыгринч! Не только Пендерецкий так работает. Все глубоко индивидуально. У меня подружка, Дашка Липницкая, все делает под *Trio Wanderer* Шоссона. Ее талисман. Ее прет под эту музыку. Она с этим *Wanderer* уже третий грант получает!

Вид у Дунина сделался совсем потерянный, Евграфова немного испугалась. Жаль, пора убежать, а то можно было бы в знак примирения выпить с преподом Экстра Старого...

– Да все живы же! И здоровы... Более того! Михалыгринч, проект получил грант. Он будет эээ... воплощаться. Реализация в городской среде. А ведь это все вы... благодаря вам! И Пендерецкому, вы же не станете отрицать? Ваша фамилия будет в титрах, имейте в виду! И его тоже! Все, мне пора...

Она потянулась, чмокнула Дунина в щеку тщательно подмазанными серо-коричневыми губами, а через минуту от Евграфовой остался только сильный запах дождя, смешанного с разогретой летней пылью. Дунин уже знал, так пахнут Анфисины духи.

Чертова Алина ушла, но не прошла. Она застряла в Дунине, как сломанный ключ в скважине. Ни взад, ни вперед.

Огромная тяжесть клонила Дунина к земле.

При этом он был пуст, словно из него выкачали воздух.

А еще Дунин задыхался без Ньюты.

И вообще задыхался.

Поддерживая видимость жизни, скульптор ходил в мастерскую. Студенты разошлись на вакации, здание опустело, стало гулким.

Единственным видом деятельности, доступным скульптору и более-менее заполняющим пустоту, было сооружение нового стеллажа. Огромного, как эшафот для Марии-Антуанетты.

На нижние полки, рассчитал Дунин, уйдут мешки с гипсом, валюшки глины, встанут запасы пластилина. Верх займут постоянно прибывающие ученические работы, а на средние ляжет бумага, у рачительного Дунина хранились запасы бумаги в рулонах и в листах. Последние хозяйственный скульптор подхватил, когда закрывалась в соседнем корпусе типография и раздавала имущество.

Там же он подобрал несколько отличных стульев, в том числе известный «гамбсовский», и неформатный, почти квадратный стол с толстенной прочной столешницей.

На этом столе Дунина и обнаружил охранник Олег. Олег был родом из-под Саранска, работал в институте вахтовым способом, сменяясь с саранским же Валерой, своим одноклассником. В сезон они всегда привозили на продажу чудесный мед. Запасы меда хранились в их крошечной опрятной каптерке, его с удовольствием брали охочие до натуральных продуктов преподаватели вуза.

В мастерскую Олег заходил иногда поглазеть на интересное. Однажды охранник попросил полепить. Дунин дал ему шмат глины, подложку из линолеума, набор стеков. Олег слепил большую грубую чашку с ручкой в виде вставшего члена.

Дунин не моргнув глазом похвалил поделку, сказал, хорошая идея, можно было бы сделать линейку сувениров для урологической отрасли, для какой-нибудь клиники, не знаю, УРО-ПРО. Скульптор обжег и проглазировал кружку, вернул автору готовое изделие.

Олег неделю цвел и улыбался из-за стекла проходной, как влюбленный. Сила искусства, подумал тогда Дунин.

Дунин никогда не прятал от него ни объекты, ни скульптуры, как, скажем, от студентов. Олег первым увидел Диму Быкова, хорошо знакомого ему по телевизору, признал сходство, похвалил. *Обнаженную* скульптор ему не показывал, мало ли. Объекты, и первые, *Невесомость*, и вторые, *Ужасы городка*, Олег видел, но не проявил к ним ни малейшего интереса.

Спросил только, почему Дунин брал пупырку. У них под Саранском из подобной пупырки, воздушно-пузырьковой пленки, делали парники, и такое покрытие считалось самым лучшим и эффективным при выращивании овощей, особенно помидоров. Олегу было немного странно видеть, на что изводит преподаватель Миша такой ценный материал, но у богатых свои причуды. К тому же художники, как известно, вообще все больные на голову, и Дунин среди них еще ничего, более-менее нормальный.

На охрану позвонила жена, после того как больше суток Дунин не брал телефон и не выходил на связь никаким другим образом.

– Миш? – заглянул Олег, было не заперто.

Скульптор лежал на квадратном столе, аккуратно разложив руки и выставив в потолок борода. Поза была знакома Олегу по книжкам, такая картинка, кажется, имела в учебнике.

Ни крови, ни ушибов. Вокруг носа и губ расходилась голубизна.

Твердым пальцем Олег набрал скорую.

Нюта примчалась сразу же. Нашла Дунина в кардиологическом отделении 4-й горбольницы. Скульптора уже перевели из реанимации в общую палату.

Бледный Дунин расцвел глазами, потянулся обнять. Нюта нажала ему на плечи.

– Лежи, лежи, Дунин. И молчи. Потом все расскажешь.

На тумбочке вырос букет люпинов: лиловые, розовые, желтые.

– Ты легко отделался... Богатырь, а сердце слабое.

Дунин молча взял Нютину руку, прижал к лицу.

– Все рвутся к тебе. Терехина, Черных, Лизка, Игнатьев. Саакянц звонила, рыдала, передавала «но пассаран». Она через неделю приезжает. Я всем велела пока сидеть и не рыпаться. Не беспокоить больного...

Дунин кивал под Нютиной ладонью ровно, как метроном.

Хорошо пошла *Космогония*. Под нее Дунин сделал первый ярус, укрепил основание, соорудил снизу вместительный ящик. Вечерком догнал *Эманациями для двух струнных оркестров 1959 года*.

Ого, радовался, Дунин, я его укротил. Он у меня теперь просто фон. Как бубнящее радио... Как что-то-угодно-ФМ в машине.

Всего-навсего просто напросто музыка. Никакой зависимости.

Во вторник запустил *Дьяволов Лудена*. Захотелось человеческих голосов. *Дьяволы* пошли на ура.

Среда, весь день стеной шел дождь, слушал концерты для скрипки с оркестром. Наводил на стеллаж лоск, сделал надежные крепежи.

В четверг завел *Чакону памяти Иоанна Павла*, музыка зашла, подняла дух на хорошую высоту. Духоподъемная, хоть и не веселая, и почти без авангардных пендерецких штуковин, изредка взвизгнут, задребезжат струнные, а так почти XIX век. Дунин радовался внутреннему покою, от-
сутствию творческой горячки, зуда и чесотки.

Под *Чакону* выкрасил стеллаж черной морилкой.

В пятницу утром решил попробовать этого хваленого Анфисино Шоссона, под которого ее подруга гранты получает. Завел *Triuo Wanderer*. Сел рядом, у компа, как у радиоточки: слушатель.

Хорошая музыка, он понимал эту Дашу. Но нет, не мое! Ничто внутри не дрогнет, не взмоет, просто ласка для ушей, фон.

Не то.

Походил, поколдовал еще над стеллажом, укрепил верхушку. В здании института штробили, грохали, уже начался ремонт, рассчитанный на все лето.

Скульптор завел любимый свой *Трен, Плач по жертвам Хиросимы*. Печальный, хаотичный. Зазвучало, поползло, и события последних двух лет выстроились у Дунина в голове качественным, захватывающим, тщательно смонтированным кино.

В своем отчетливо видимом и понятном причинно-следственном порядке.

Дунин ходил по мастерской, вспоминал ее причастную к событиям географию, смотрел, слушал.

Здесь появился сверкающий УЖАС, первенец Пендерец-эпопей.

Сюда я их прятал, объекты, тогда еще не-НЕВЕСОМОСТЬ, припрятывал от зорких глаз, тщательно.

Вот синяя столешница верстака. Он же барная стойка, здесь же мы сошлись с Алиной...

Выставка – была повсюду, здесь, здесь и здесь, и там.

А вот тут мы с Анфисой ваяли ее *Городок*. Теперь он обретет нормальную, не-пупырчатую плоть, вырастет где-нибудь в парке, или на площади, где там его воздвигнут, о нем напишет Афиша и все кому не лень, Анфиса станет давать интервью, а вот прославит ее, как ни странно, БОТАЛКА.

Здесь я лежал в убранстве Тутанхамона, уставив в потолок ступни и бороду.

Не знаю даже, благодарить мне вас – или мы на ты? – пан Пендерецкий, за этот опыт, или же проклинать. Никогда не вел счет потерям и приобретениям, а тут хоть табличку вешай: было-стало, приход-расход.

Трен закончился, Дунин поставил на повтор.

Какая прекрасная, хотя и совершенно невыносимая музыка. Пыточная. Невозможно представить, чтобы кто-то отвалил кругленькую сумму и пришел мучиться, среди других нарядных людей, в оперу. Пришел, в костюме, с причесанной бородой, смотреть на сцену и слушать.

Можно закрыть глаза, даже нужно. А если станет плохо?

– Есть в зале врач?! – кричит хорошо одетый мужчина в партере.

– Врача, врача, – подхватывают все, – врача!

– Есть! Я – физиотерапевт, – сутулая фигура встает на балконе второго яруса.

– Коллега! Скажите же, что это прекрасно!

Дунин улыбнулся анекдоту, и тут ему ударило в грудь. Бляха-муха, больновато, больновато-тенько.

Сесть. Лечь.

Дунин оперся на свой гигантский стол, размером с теннисный. Присел. Подтянул себя на середину. Прилег.

Хорошо. Полежу тут, подожду, пока не пройдет, подумал Дунин, ой, бля, как больно.

Родной, понятный, любимый кружил, завывал, лился и погромыхивал Пендерецкий.

Наташа Саакянц приехала в Сахарово, и оно сразу засияло, будто поймало луч южного солнца. Худая, загорелая, белозубая, в стильно-мятых льнах, Наташка была чистая радость и энергия. Комета позитива и добра.

...В отличие от хозяев, как всегда радушных и приветливых, но странно тихих, как бы приглушенных, *присмиревших* (Наташа проговорила слово про себя). Особенно это касалось Дунина. После больницы скульптор носил себя прямо, торжественно и осторожно, как розовый куст в кадке.

Наташа видела друзей будто сквозь кальку. В старых книгах, в семейной библиотеке Саакянц таких было около десятка, калькой перекладывали иллюстрации, которые сквозь туманную муть выглядели размытыми, далекими и загадочными.

Или, оперируя нынешней реальностью, словно их обработали в специальном графическом редакторе, не иллюстрации, а Дунина и Ньюто.

Или это все мои культурологические фантазии и химеры, подумала Саакянц и стала выгружать на огромный стол (у Дуниных все было богатырское, преувеличенное) щедрые кавказские дары: вина в бутылках и кувшинах, круги сыра, чурчхелу, похожую на бордовый эспандер из латекса, кульки специй. Хозяева смотрели на грузинский натюрморт с почтительным уважением, будто подарки предназначались не им, а третьим лицам, а Дунин с Ньютой всего лишь посредники.

Монашеская отстраненность, произнеслось в голове у Саакянц, но все рефлексии смыло первым же бокалом цинандали. Наташа расколдовала Дуниных, велев немедленно откупорить и выпить. Они подчинились, нацедив себе в бокалы комариное, дегустационное количество амброзии.

У Саакянц была куча новостей, она кипела их рассказать, но придерживала на попозже. На после бани. О которой, именно о дунинской, сказала, мечтала с осени.

В красивой, светлой вкуснопахнущей бане они парились, парили и блаженствовали троицей олимпийских богов. Дунин, правда, высоко теперь не забирался. Взлетали веники, шипела вода на камнях, тела истекали потом и блестели, как покрытые глазурью. Участники банной мистерии не разговаривали, издавая только сладострастные стоны и блаженное кряхтение.

После третьего захода Наташа не выдержала. Объявила, что запускается в сентябре с телевизионным проектом. Это будет бомба, сказала Саакянц уверенно и сладко. Я это точно знаю...

С моими-то визионерскими способностями.

Дунин притянул полуголую коричневую Саакянц, чмокнул в щеку.

– Я рад, – сказал скульптор сердечно. – Ты молодчага, Наташечка. Мечты сбываются! Главное, ты так этого хотела...

– Я мечтала действительно! – подчеркнула Саакянц. – Визуализировала. Артикулировала... Я проект придумала в голове, сложила, прописала в деталях. Выстроила, из кирпичиков. И кирпичи эти обросли плотью. Стали реальностью...

Дунин уважительно поднял брови, почесал в бороде. Как-то он постарел, заметила Наташа, а ведь мы, считай, ровесники...

– Миша, как сам? Как ты? – спросила Наташа.

– Вроде получше.

– А вообще? Самочувствие?

– Норм.

– Ты... завязал?

– С чем, Наташечка??

– Ну... с музыкой, – Наташа обвела глазами красивое светлое помещение предбанника в поисках Пана. Дунин перехватил ее взгляд.

– Нету! – развел он руками. – Переехал товарищ Пендерецкий. Больше здесь не проживает. А кстати, Наташа. О чем хотел спросить.

– Да, дорогой. Да, друзья! – Наташа вскочила, подтянула простыню. – У меня же теперь кулурилогическое ток-шоу. Мне нужно тренироваться! Нарастивать дискуссионные мышцы. Мускулатуру. Мучайте меня вопросами! На засыпку! С подковырками...

– А с подъебками можно? – улыбнулся Дунин. – Вот, например. Ты владеешь техникой оригами?

Лицо Сааякянц застыло на долю секунды, и она заулыбалась еще ярче. Дунин, ни к месту, вспомнил, что родня у Наташи сплошь стоматологи, ортодонты и протезисты.

– Ну, на самом примитивном уровне...

– Журавлика сложить сможешь? Из бумаги... – Дунин любовался тем, как медленно, едва заметно глаза Наташи меняют выражение, сползает с лица улыбка.

– А. Да. Думаю, смогу, там не очень сложно, – ответила Наташа все еще лучезарным дикторским тоном.

– А из обоев? – уточнил Дунин.

Нюта сидела на широченной лавке с ногами, в позе скорчившегося мальчика, и молча переводила взгляд с Дунина на Наташу.

– Да, – сказала Сааякянц без улыбки. Она побледнела, золотисто-розовые щеки и лоб стали серыми. – Могу. Из обоев. Двенадцать штук...

И она замолчала. Они все молчали.

Дунин молчал каменно. Внутри него все рушилось, сыпалось и вставало на новые места, проливалось печалью, умывалось пониманием.

Нюта молчала как человек, который долго мучительно болел, но вдруг получил хорошие результаты анализов.

Наташа молчала, будто речь, говорение были для нее всегда самым естественным и любимым занятием, но немота вдруг запечатала ей уста.

Никто не знал, кому должна принадлежать следующая реплика. Ни у кого не было версий, куда сдвинется сюжет. Балансирующий, как бумажный журавль, на одной остро сложенной треугольной ножке.

– Все, – решительно заявила Нюта, вставая. – Я пошла. Это ваши дела. Сами разбирайтесь.

Она, не прячась, скинула простыню, натянула трусики, накинула майку, вошла в легкую, на резинке, широкую юбку. Вдела ноги в ярко-желтые кроксы.

– У вас час, потом ужин.

– Зачем это? Я правда не понял... – сказал Дунин, когда за Нютой закрылась белая липовая дверь. – Знаешь, я сам художник. И меня иногда накрывает. То предвидением, то еще чем-то... Я когда работаю, чего только не вижу, в рабочей отключке... У меня некоторые скульптуры появляются прямо в голове. Говорят, приказывают: лепи. И пока не сделаешь, жизни не будет... Слушай, но я не влезаю ни в чью жизнь! Есть осторожность. Есть границы. Есть замки. Есть чувство края, наконец...

Наташа молчала. Она налила себе чаю и сдувала дымок с поверхности.

Дунин продолжил.

– Я помню же, ты говорила, что все пишешь, записываешь. И знаешь сюжет, на шаг вперед. И что многое придумала сама. Я даже мог угадать, где твои придумки, а где оно само... Но эти долбаные журавли! Они сломали сюжет. Это грубое вмешательство, Наташа! Телесное, материальное. После этих журавлей все пошло через... наперекосяк... Ты мне чуть жизнь не сломала. Мы могли разойтись... Я мог умереть, Наташа. Сдохнуть... Не велика потеря, я понимаю, но кой-кому я немножко дорог...

– Я не знала... Я не хотела! – сказала Саакянц. – Думала: это просто арт. Маленькая акция для усиления сюжета. Господи, это всего лишь двенадцать маленьких сраных оригами! Школьные бумажные журавлики. Шутка.

– Шутка, – повторил Дунин.

– Просто: принесла, разложила. Легко! Беспрепятственно! Или ты думаешь, там толпы, на этой вашей выставке? Как на Куинджи? Как на Мунке? Там никого, Миша! Зеро! Белые стены, смотрительница и двенадцать твоих пупырчатых истуканов.

Дунин раскачивался на лавке взад-вперед. В простыне он был похож на молодого, еще не облысевшего Сократа.

– Представь, я на всех подумал. Кроме тебя, святой и кристальной. Даже на Черных. Люда, конечно, вряд ли. Может, Витал, он всегда был с придурью. Игнатьев мог, гипотетически. Помнишь, он гипсам подрисовывал волосы в паху и подмышками? Я даже старика Гоча подозревал... Он умер, ты в курсе?

– Да, – виновато сказала Саакянц. – Я в курсе, но это не я...

– Ты этими журавлями такого наворотила, Наташа. Не нарочно, я понимаю.

Саакянц молчала.

– *И в том строю есть промежутки ма-а-алый, быть может, это место для меня*, – пропел Дунин, слегка фальшивя. – Итак, просто шутка?

– Доктор. Вы меня раскололи... Да, это просто культурологическая шутка. В чистом виде! Так у тебя все шло гладко, сладко, что захотелось вмешаться. Добавить перчику! Пошутить. Невиннейшим образом! Просто: назад, в прошлое. Але, Дунин! Привет от четвертой группы. От Гоча! Из Катищево! Кстати! – неожиданно воспрянула Саакянц. – Ты слышал про Ушаца?

– Нет, – удивился Дунин.

– О! Так это пароль всех, кто закончил МАРХИ. Кодовое слово. Архитектурный мем. В со-роковых учился в МАРХИ такой Ушак, Михаил Лазаревич. Потом, позже, стал карикатуристом, работал в «Крокодиле». В «Веселых картинках»... Но еще когда он был студентом, что-то под-писал, кажется, мольберт: УШАЦ. И пошло – поехало. Архитекторы оставляют везде этот пароль: УШАЦ. Значит: здесь были люди из МАРХИ. Помнишь «Афону»?

– Любимый фильм, – ответил Дунин автоматически.

– Там в сцене, где Афоня приводит домой героя Леонова... забыла, как звать... Ну, который «эй, родственник!».

– Коля. Штукатур.

– Да. Так на стенке, прямо на обоях (Наташа испуганно съежилась) написано УШАЦ. Дане-лия же учился в архитектурном, до того, как стал режиссером. И в «Не горюй!» есть этот УШАЦ.

– Очень интересно. Правда. Но какая связь? Все это про другое...

– Не про другое... Про наше, Пендерецкое, – стояла на своем Саакянц.

– Наташа. А чего ты замуж не вышла? Вон какая красивая... веселая... успешная! Фигура ши-карная, – Дунин провел по Наташе медленным взглядом, снизу вверх: красивые ступни с розо-выми ногтями без лака, длинные голени, отличные коленки, дышащая под простыней маленькая грудь, ломкие ключицы, свежая шея, раскрасневшееся лицо, потерянные глаза.

– О! А! Все, я поняла... Ты думаешь: мелкая женская месть? Укус, укол. Все могло пойти по-другому, если б...

Скульптор молчал, смотрел. Она была все еще очень привлекательная, розовая и золотая, злая и растерянная.

– Дунин. А может, я другой сексуальной ориентации... А? Не приходило в голову, маскулин-ный ты мой?

– Ой, не звезды!

– И не думаю. Все, хватит меня казнить! – заорала Наташа.

Вскочила, содрала простыню.

– Стоооп, – сказал Дунин ласково, – сидеть! Мы еще не закончили. – Он приладил простыню на прежнее место. – Есть вопросы и уточнения. Кристина Черных – твоих рук дело?

– А что такого? Имя как имя. У Полины есть польские крови. Прабабку звали Кристина Колачковска. Кшыся...

– Терехина?

– Я тебе уже говорила. У меня все было по-другому. Без травм и падений...

– Гоч, – сказал Дунин, просто так.

– Я с ним встречалась осенью, в октябре. Хотела расспросить о Пендерецком. Собственное культурологическое расследование. Я ведь тоже жертва, не забывай... Не ты один... Спросила, откуда взял методику (сам придумал, но я сомневаюсь). Практиковал ли еще где-нибудь (нет). Что он думает обо всех этих опытах, творческих приступах, их последствиях (ерунда, психосоматика, совпадения, литературщина). Использовал ли он сам эту технику для творческого транса (я похож на идиота?). Знаешь, он так странно держался. Вызывающе, нагло. Паясничал. Такой хамский бешеный дед. Я вспылила... поорала... надавила... немножко. (Дунин покачал головой.) Да, знаю, ты думал, я белая и пушистая. До сегодняшнего дня. Я немножко поднажала. Намекнула, что опыт имел серьезные последствия... И Гоч ушел в несознанку.

Наташа замолчала, налила себе чаю, погоняла своим дыханием дымок над золотистой поверхностью.

– И?

– И он умер. Скоро. Инфаркт... Ты знаешь.

– Короче, ушел от разговора. Я понял, – сказал Дунин. – Все, одевайся. Я есть хочу. И курить. Но мне теперь нельзя...

Они курили, Дунин электронную сигарету, вдыхая одуряющую смесь табака, табаков, цветущего чубушника. Наташа, закончив, сразу прикурила следующую.

– Миша! Миша! – позвал высокий, с жестяным дребезжанием мужской голос.

За забором, как ребенок в манеже, держась двумя руками за доски, стоял здоровенный парень в белой кепке, и улыбался во весь рот. Бросались в глаза кривые угулявшие зубы.

Соседский Саша. Сын Ирины.

За год с лишним Дунин отвык от мысли, что у них есть/были соседи.

Дунин подошел, приподнявшись, перекинул через забор руку.

– Ты... надолго? – спросил Дунин, не зная, что сказать. – Как сам? Давно не виделись... Старик, я страшно рад тебя видеть!

– Я в отпуск, на две недели. Нужно домом заниматься. И огородом! – Саша сиял, светился, говорил ясно и чеканно. Что-то в нем изменилось. – Новость знаешь?

Дунин нахмурился, погрустнел, покивал.

– Ириша! Ириша! – закричал Саша, – Иди сюда, с кем я тебя познакомлю. Миша, я женился!

Из дома вышла невысокая женщина лет тридцати. Вид у нее был хмурый, или, скорей, напуганный. Никакая, подумал Дунин.

Приятная.

Прекрасная.

Тоже Ирина.

– Ириша, познакомься! Это Миша! – ликовал Саша. – Наш сосед. Он хороший. Добрый! Он художник! А Ириша – работает в детском саду! Методистом!!! – похвастался он.

Дунину даже не пришлось изображать восхищение, оно наполняло его, распирало изнутри.

Ириша робко приблизилась к забору, у нее была странная походка, будто по колодке на каждой ноге. Тоже инвалид, догадался Дунин.

Привлеченная выкриками, с полотенцем в руках подошла Нюта.

– Аня! Познакомься, Аня! Это моя жена Ириша. Ириша, это Аня. Аня журналист! Ириша работает в детском саду. Методистом!

– Здравствуй, Саша! Здравствуйте, Ирина! – сказала Нюта сердечно и немного по слогам. – Саша, я тебя поздравляю! Мы очень рады тебя видеть. Мы скужали! Нам тебя не хватало. Думали о тебе, как там наш Саша...

Пока соседи миловались через штакетник, Саакянц ускользнула в дом. Она быстро налила себе полный бокал цинандали и залпом выпила.

Одна часть Наташи, гонимая новым пониманием ситуации и алым, как закат, встающим внутри стыдом, желала смыться под шумок, уехать, пока хозяева воркуют с соседями у забора. Другая часть Саакянц поспешила выпить, чтобы точно нельзя было за рюль.

Испить, так сказать, до дна.

Она налила еще. Тем более что хозяева, она сразу это заметила, не выказывали прежнего интереса к выпивке...

Скульптура, как всегда у Дунина, появилась сразу в виде готового 3D эскиза, крутящегося в голове, во всех плоскостях, и позволяющего оглядеть себя со всех точек. Даже снизу.

Название он тоже уже знал.

Дунин лепил, по-былинному, семь дней. Мог бы управиться быстрее, но стал сильно уставать. Его хватало часов на пять интенсивной работы, не то что раньше.

Эх.

Довольно большая, около метра в высоту, скульптура изображала обнаженную женщину. (Почему-то я не удивлен, подумал Дунин с шутовскими интонациями Игнатьева.) Обнаженная стояла на коленях, наклонившись вперед, в трудной неустойчивой позе. Красиво напряглись мышцы расставленных бедер. Худая спина, остро торчат лопатки, подняты и широко разведены локти.

Поза приводила на ум эротическое ретро-фото, запомнившееся Дунину еще в студенческую доинтернетную пору – девушка кокетливо застегивает кружевной лиф: петельки и крючочки спереди, между грудями. Согласно его на тот момент не очень большому, но стремительно пополняющемуся опыту, бюстгалтеры застегивались на спине. Что было удобно для маневра: объятие, преодолев точку невозврата, переходило в раздевание.

Обнаженная прижимало руки к груди странным, мучительным жестом, будто пыталась вырвать сердце, или наоборот, удерживать, не выпустить что-то, рвущееся изнутри.

На длинной шее выступивший хрупкий позвонок обозначал наклон головы. Красивой геометрией лежали площадочки худых плеч, такие естественные погончики. Головка плечевой кости, Дунин обожал эту анатомическую деталь, заметную только у худых, худощавых людей. Короткая стрижка обнажала слегка оттопыренные уши, подчеркивала женственность. Пластика шеи, подбородка, складки у рта выдавала зрелость модели: не девушка, но взрослая женщина.

Открытые пустые глаза смотрели перед собой.

Напряжение передавала поза ступней, торчащих пяток, худых голеней, маленьких атлетических ягодиц. Косточки бедер, впалый мускулистый живот, узел пупка.

Дунин сделал несколько снимков: на экране смартфона лучше были видны мелкие изъяны. Он долго возился, завершая скульптуру, пальпируя ее умными пальцами.

Вечером в мастерскую заехала Нюта. Так у них теперь было заведено, возвращались домой вместе.

Дунин показал, представил ей новоприбывшую.

До того он скульптуру от жены прятал.

Никогда и никому не показывал незаконченное, кроме одного-единственного раза. Тогда он сам позвал, пригласил Лену Слободцеву, приятельницу, филологиню, посмотреть на юного Пушкина.

Требуя подтвердить или оспорить попадание в образ.

Леночка сказала искренне: да, это он! Узнаю брата Сашу... Дунин выдохнул, гора упала с плеч, правда, прямо гранитная глыба, он сам терпеть не мог профанацию, опасался встать в колонну авторов бесчисленных *памятников и статуй*.

Но Лене в этом деле можно было доверять.

Потом они с ней очень мило накатили. У него был отличный белый портвейн, просто амброзия. Обмыли Пушкина, и у той серии, кстати, все очень хорошо сложилось, можно сказать, счастливая судьба.

Нюта молча ходила вокруг скульптуры. Кружила, бродила, отступала, приближалась, как на выставке единственного экспоната.

Лицо ее размягчилось, как всегда, когда она видела что-то прекрасное. Честное Нютино лицо не умело врать, сводить счеты.

Она присела, заглянула обнаженной в глаза. Коснулась плеча, лопаток.

– Наташка, – сказала ласково.

– Да. Почти... Хочешь знать, как называется? – спросил Дунин.

Нюта кивнула.

– *Женщина, вынимающая занозу*, – объявил скульптор.

Нюта повела пунктирным легчайшим касанием по губам обнаженной, по твердому подбородку, тонкой напряженной шее. Тронула беззащитные ключицы, обвела зияющую точку яремной впадины.

– Я... что-то такое и подумала. Ты талантливый, Дунин.

– Ладно, поехали. Я не ел с утра.

– Еще бы, – сказала Нюта. – Конечно...

Дунин, как хрустальную, запеленал *Вынимающую занозу* пупырькой, аккуратно ушли остатки Анфисиной бобины.

– Вот и хорошо, – вслух подумал Дунин, – хорошо!

Андрей ТАВРОВ

ФЛОТ В АВЛИДЕ

Авлида. Начало войны

Солдаты как столбы комаров
покачиваются в колодцах тел
строй кораблей линейных
собиран с весельной прямою
бабочка над девочкой Ифой
гнездо из воздуха вьет

Мы были живыми, живыми,
мы кровь свою шевелили
как карту Европы рукой бестелесной
порывом ветра, да воплем детским

меж нами стоит минотавр
себя в себе на мизинце держит балансом
шевелит языком кривые весы
на чаше одной – парус в поту и крови
на второй – листопад, невнятная речь Бытия
он в себе и в бабочке – человек в человеке

когда человек из человека выходит
в поезде загораются занавески
Гераклит мажет себя навозом
цепеллином черным взлетает к рогатым звездам
шнуровали футбольный мяч
как лицо его с розой в ноздре
розой с пустым дыханьем Ифы внутри

Сущее умирает, не умирая, плачет не плача
говорит без слова поет без звука

вспоминаемый строй кораблей со стекла твоего исчезает смутно
вослед именам отплывающим от зарезанной лани

Андрей Тавров родился в городе Ростов-на-Дону в 1948 году. Окончил филологический факультет МГУ по отделению русской филологии в 1971 году. Автор 20 книг стихов и прозы, публикаций в журналах («Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Воздух», «Урал», «Арион», «Новая Юность» и др.), участвовал в ряде поэтических антологий. Главный редактор поэтической серии издательства «Русский Гулливер», главный редактор журнала «Гвидеон». Лауреат большой премии «Московский наблюдатель» (2017), премии Андрея Белого (2019).

Журавль

У длинного журавля ни ветрил ни руля
и в клюве его зола, а сам – земля
у него в ногах сердца убиенных птах
с людской многочисленной головой
меж парусов и плах

У длинноногой и журавлиной гроша слеза
не стоит пускай а в небе кочует снаряд
из птичьей ключицы ясного взгляда
трубок и перьев и людских, заблудившихся в красных светилах
продольных и мерзлых как метр на лафете стай

Зачем тебе голова твоего мужа, царица?
Она уже – колесо в пене, как конь отскакавший в попоне,
она уже – плеча
она уже спица, коей воздух в глазах прожилками вяжут,
она уже пароход на Волге с музыкой по берегам

Зри!
Рок расположен там, где клювоногие Парки
тянут нить, тянут персть в продольное время
нет времени для парохода в музыке среди садов неотъемных
ни пятой ни йотой не смочь туда Року-Судьбе
нет входа времени, пища детерминации, логическому событию
туда. Не быть им в бесшумном крике, небесном лике,
в занебесной трубе.

У длинного журавля ни времени ни рубля,
но кость с нуля и судьба с нуля
и капилляры, вытканы словно плат
на черной земле лежат.

Ах журавль, пенелопин корабль, пожалей царей
дай из клюва испить твоих серебряных снегирей
не уходи от меня колодцем о ста ногах
но возьми меня в небо в мускулистых руках
в мыслящих облаках

Скачет белая лань в темный угол, в короб земной
с разорванной шеей, с родной отцово-девичьей головой
темная лань ты сердце мое не рань
поплачь над птичьей моей, забубенной моей судьбой

пока корни в землю идут, пока ангел мнет целлофан
небес, пока время стоит пропадая в дереве и свержке

пусть бьет из чаши живой и единой на всех фонтан
красной рукой дотянувшись до бакена на реке

а на волнах человек с сердечной землей стоит
сам как бакен, качаясь, горит
видит ясно грудная его земля
полет занебесного журавля.

Зверь

Обратной птицей из стекла
ты в тишину мою влетела,
свеча зажечься не смогла,
но вышел сильный свет из тела.

И зверь глядит на облик свой
убитым из двустволки оком,
припоминая, как живой,
суть бега в воздухе глубоком.

Он имя шепчет и плывет
в огромном пламени открытом,
где сад стоит в ночи болидом
и в небо вывернулся грот.

Идет к кораблям минотавр...

Идет к кораблям минотавр,
черный, как мавр, как лавр

в правом роге время вверх течет,
в левом – вниз, а он, как звездочет
к окулярам глаз своих припал,
ветер зренье чубом растрепал

Он живот зажал, где звезды говорят
и платоновых фигур танцует рой
и стеклянные гранаты их горят
чтобы оставался ты живой

шепчут там беззвучные слова
от которых в розе тишина
и одна лишь ангела глава
с песней чудной между них слышна

вот шаги его и тело разбрелись
словно птица вынута из глаз

распадается и вверх и вниз
там где части исчезают нас

но играют все ж над рогом, что торчит
из песка над разными костями
сфера, куб, октаэдр и щит
среди небес осенних всех восьми

станет тело прахом, а язык
птицей чуждой в воздух улетит,
но стоят над кораблями, правдой их
сфера, куб, октаэдр и щит

это как с той стороны земли
зеркало чуть дрогнет и блеснет
и что было близко и вдали
на лице любимом не умрет

О небо...

О небо, говори со мною
свой непослушный рот едва я приоткрою,
чтоб леонидов и комет огонь и воркотня
мне грудь избив, расширили меня
до черепицы крыш и сада из Катулла
и зяблика, что жизнью нам мерцает
и в воздухе стоит и улетает
в сады где Лесбию червяк недавно ждал,
как будто он в огнях большой вокзал
и где Валерий бился чтоб войти
туда откуда вышел он лицом
и песней на губах с воробушком-птенцом,
собой исчезнуть вновь как корибант
для гнутых губ для гулкого ребра.

О неба сильный рот, задуй мне в дудку,
как хоронили словно незабудку
бомжиху Юрьевну и лоб ее нетлен
как белый флот проплыл всего взамен,
а ты во мне смеялось
звездой звало и розой озарялось
и в глубине земли
как гвозди черви пели и росли.

Мы не напрасны, я и твой Катулл
слезой сбегим с посеребренных скул,
как будто мир еще совсем не начат
а только всходит первая трава,

что нас укроет, но едва-едва,
и жидкий глас птенца нас с ним оплачет.

О небо говори, сколь мощны пропилен
твоих садов, как гулко вещество
пошедшее на кровь, птенцов, зверей и
на звуком тронутое существо.

Твоей гармонии двоякое лицо
соединит распад с нетленьем,
проступит в бабочке, как в кладезе кольцо
ее домировое дуновенье.

А мы, длинней червя и ниже птицы,
одни смыкаем общие ресницы
и с ними и с кукушкой и со львом,
и звук один в глуби твоей поем.

Одиссей наблюдает ночь

Ночь идет спиной вперед за ним, к заливу и
спиной вперед идут навстречу корабли
строенье мира схоже с муравейником
осторожно Одиссей вынимает глаза,
созвездие их к другим созвездиям посылает
видит теперь много прозрачных сфер
будто их вместо мыла выдували из хрусталя
жук движется головой назад по песку

Одиссей следит как смещаются мировые сферы
словно колеса телеги с голыми мертвыми людьми,
исчезающими прежде своего появления
в самовозрастающем логосе,
в сферах, входящих и выходящих друг из друга
с легким звоном, будто тенькнула птичка
Нет у космоса конца, но есть
разговор и музыка для великих.
Одиссей глотает слюну осторожно, как вдевающий
нитку в ушко, слюна изо рта стекает в светила
и нитями льется на мускулистую грудь.
Сферы стоят далекие как он сам, когда мыслит себя,
человек это ручная работа Ананке,
ночь падает в них обоих как в очки
куст едва ли виден на сфере дальней эллипсовидной
или это кузнечик?
Нет, се человек, руки тянет что-то напевает, что-то
бормочет на непонятном языке, так далеко он

не плачете как младенцы, не умолкаете как старцы, чтобы
стать шепотом духа в строящем, видящем ухе?

Рождаясь и умирая в одно и то же отсутствие времени,
у каждого из вас в руке фонарь, освещающий мир,
ослепляющий «знающих», владеющих информацией.

Эти слова говорю не я, а мой безымянный
рождающий имя с воплем и воплем
в присутствии Небесного существа,
умирающий вместе с речкой, любимым лицом, серебряной
и золотой рыбой в ночном фонтане с черной водой.
Кто же тот, кто видит все это, кто же тот, Бесконечный,
что принимает имя как муку
рождения?
Струится ручей, трепещет листва, солнце восходит,
пронизаны безымянным и именами. «Все вещи
в труде» – Экклезиаст, «в войне», добавил Гераклит Темный,
Александр, Иоанна, Леда, Гермес, Антигона,
мы пьем из имен, покуда их не теряем.
Не все из имен сожигают Небесные, но пишет человек
собой на белом камне,

на тропинках и одиночестве, на плаче и плеске волны,
на серых сквозняках городов, на смерти матери и рождении дитяти,
в пустой и бесконечной глубине сердца:
Иония, Магда, Тесей, Андромаха, Эос, Мария.

С той стороны коня

С той стороны коня есть человек
сюда он смотрит умными глазами
и нет преград меж взглядом их и нами,
рождает нас один живой объем
вот почему коня мы узнаем
не как преграду, а как сгусток понимания.

Дитя кричит, теряя в родах знание
и стонет старец, обретая
его у гроба. Птица золотая,
листва, слетая, кто стоит за вами,
с той стороны в огромной неба яме?

Я думаю тот я, струящийся как свет,
ружейными не опаленный именами,
в котором неразменный ход планет
сменяется другими временами,
где губы говорят, но формы слова нет.

О лес осенний, оловянный дирижабль,
ты вытянут в длину и синью ты воздушен,
листвой горяч и мышцей обнаружен,
несущей птиц и озера скрижаль
сдвигающий нам яблоко глазное
без Архимеда, рычагом Земли.

О лес осенний, соколу внемли
с той стороны его есть человек,
он смыслом выступает из-под век,
как светлой щелью найденная лампа.

Вот мы летим, мы верные часы,
струятся в ветре синие власы,
дюралева ласточка взлетает
и головой рассерженной кивает.

А лось застыл весь в сини по колено
его уста медь буквы жгут собой
и вижу я, что там, за ним, из плена
ушедший я стою всей ширию мировой.

Тиресий и Елена

Тиресий старец в космос погружен
змеиной чешуей и женским оком
не старец, а паук семи времен
в них отразившись ненароком.
он мир провидит как сова,
чья среди мертвых бродит голова.

Елена говорит: возьми меня!
другого не хочу мужского я огня.
И гнезда полые скитаются по небу,
и птицы линзы ясные несут,
рыбак рождает сильным оком нерпу,
разрушив глаза крепкий изумруд.

Есть мир сцеплений, говорит Тиресий,
и мир колес, где втулка – пустота,
и в звездном смешаны замесе
тот и другой, как нагота
с твоим богохранимым телом
в шелках и золоте, и белым.

Елена плавает пред ним,
пятою тверди не касаясь.
а он – стокрылый херувим
в тоске кричит, как мертвый заяц.

Его уста, как рыбы хвост,
Эврип левиафаном сокрушают
и сотни кораблей пылают
среди удаленных звезд

Есть скрытая гармония, он шепчет,
она сильнее явной, кто ж увидит
ее, Елена, глядя на тебя,
она внутри сияет, косточки кузнечик,
как солнечный снежок вдоль потаенных речек,
а к ней притронется Ахилл –
и станет ангелом или сожжется!

И встали мертвые могил,
и вышли девы из колодца,
пока ей старец говорил
слова, лежащие в основе жизни,
в составе мертвых и живых
и звезды с астероидами висли
в его немой загробной бороде.

Берет иглу Елена
и зашивает мелкими стежками
прорехи на его одежде и на теле,
такими мелкими, что их слеза крупнее –
отверстия на горле, сердце, животе и на плече вот...
А он стоит пред ней, как невод
в серебряном плаще
и его око на свече.

В синиц двояковыпуклом стекле
пусть мир нелегкий прояснится,
и пусть сирень в Елену обратится,
и человек в пылающем огне
своей судьбы – в себя преобразится.

Дитя осенних рощ, качелей легких птица!
лети и песню пой, и птице отвечай,
еще! еще! еще!

покуда, горяча,
ничья свеча в тебе горит и длится.

Тиресий

Зачем Тиресий шепчущий тростник ты
зачем Тиресий плачущий лесник ты
зачем ты – дочь, что тяжко мыслит яблоком,
таким тяжелым, полным крови облаком
что в яблоке плывет как черепаха
зачем Тиресий ты печальный колокол

зачем Тиресий ты стеклянный мальчик
зачем ты парус стертый в кровь до мяса
и клювом говоришь весь день свои четыре слова
и белой девочкой бежишь в волну
и ешь себя своей змеиной головой
и в телефон ослепшим глазом смотришь

и там в краю далеком
зачем ты белый белый самолет
над муравейником с железным оком

Флот в Авлиде

Снег идет и замечает мачты,
мерзлый флаг колеблется, лисьи следы по палубе,
корабли стоят строем, как вбок идущий колодец,
бесконечный, безлюдный и безразличный.
Кинь им горсть зерен – не пошевелиятся,
не сбегутся, не заворкуют,
из черепа песню не вынут, не изогнут
чьи-то губы отважным криком.
Стоят забывая себя постепенно
пока время и мысль не выветрят их контуры
вместе с контурами гор и светил.

Что, Батюшков, тебе в Авлиде...

Что Батюшков тебе в Авлиде
Сердечный мой зачем тебе Авлида
здесь звезды страшные горят
и птицы медью говорят
и волны, словно волк крылатый
тебя на части разорвать
хотят в тоске продолговатой
и красным языком лизать

Здесь лица жгутся Гераклита
с Гармонией, что вечно скрыта
под веком льва, под оком птицы
и в позвонке стоит как спица

Что, Батюшков, тебе в Эврипе
в двуногой пучеглазой рыбе
в деве, рожденной для ножа,
в ракушке с четверть этажа?

Но он, гармонией, как кровью
окутанный, стоит к ушам
прижав залив и, дрогнув бровью,
к суровым не идет мужам,

но чует ухом звук ничтожный
из раковины осторожной,
как таракан там или снег
снежинкой шепчется у век.

Он говорит: сие ушко
игольное не снести Атланту,
сколь смертных внутрь его ушло,
сколь звезд взамен пришло обратно.

Ждут ветра паруса. Ждут рыб
пустые сети, ждет полета
птенец и полнолуныя – лед,
чтоб лоб растаял в форме грота,
но Батюшков уже не ждет.

А он стоит в ушке иголки
и сам себе, и ей ушко
и в нем поют снега и волки
и время в вечность перешло
и вот сейчас в нее войдет
и русский снег и смертный пот.

НЕВИДИМАЯ НИТЬ

Рассказ

Андрей сам с севера, а в Москву приехал месяц назад. Приехал не один, с ним был друг детства, Ваня. Ваня уже не в первый раз приезжал в Москву, там у него был знакомый бригадир, который вызывал его на сезонные работы: раз в полгода, пару раз в год. Когда Ваню вызывали, он уговаривал поехать с ним, но Андрей наотрез отказывался: пожилой отец, семья, ученики. Как он их оставит? «Не могу», – говорил он Ване. Но в тот раз он сам попросился, поскольку больше не мог оставаться в родном городе.

В Москве они занялись ремонтом квартиры одного большого человека, кажется, из федеральных ведомств (какой-то там Николай Иванович, они не запомнили фамилию). Это была многокомнатная, просторная сталинская квартира с потолками по пять метров, окнами во всю стену и видом на Москву-реку, Парк Горького. «Большому человеку большая квартира», – говорил Ваня с важным, хозяйским лицом. Он часто произносил готовые фразы, и Андрей всегда улыбался им тихой улыбкой, поскольку знал в Ване слабость к прелестям жизни, к богатству, показухе. Но он всегда списывал ее на сиротливое детство, на вечную обиду на тех, кому повезло иметь дом, родителей, карманные деньги. У Вани этого не было. Он был лишен всего с самого детства, и это не могло не отразиться на нем.

В Москве они были привязаны друг к другу как братья: просыпались вместе, вместе работали, ели из общей кастрюли и на общем матрасе ложились спать. В выходные дни Ваня звал Андрея в центр города, посмотреть Кремль, Лубянку, но он отказывался, его не тянуло. Он столкнулся с непривычным физическим трудом, который отнимал у него все силы, желания. Он не был против такой усталости, поскольку отправлялся в Москву из расчета, что потрудится, подзаработает, вернется домой и дома уже успокоится, разберется, что делать дальше, как жить. Ваня же гулял по центру города, набирался впечатлений, а затем возвращался и рассказывал с лицом повидавшего человека, как все богато, с умом устроено, как солидно живут москвичи, со смыслом.

Так они жили, трудились, со дня на день завершали отделку. В один из таких дней приехал их круглолицый бригадир-прораб, знакомый Вани, и нарушил их братский покой. Быстро поздоровался и сразу объявил резким взмахом руки, что деньги откладываются, но «вопрос решается». Ваня опустился на лестницу стремянки, а Андрей остался стоять со шпателем в руках. «Сергея, что нам делать?» – спросил Ваня у бригадира. «Ждать, – тут же ответил бригадир с оживленным лицом. – Не сейчас, но деньги будут. Вы не переживайте, парни, держитесь пока, работайте. Я разберусь». Ваня кивнул, переглянулся с Андреем, и они дали понять друг другу, что продолжают работу.

Вечером того же дня вместе с бригадиром приехал незнакомый человек в черном костюме, кожаных туфлях и с золотыми запонками. Они сразу обратили внимание на запонки, говорившие о нем больше, чем его лицо, слова. Он вяло пожал им руки, коротко, без охоты поинтересовался,

Арен Ванян родился в 1992 году. Живет в Москве. Окончил социологический факультет Высшей школы экономики. Автор исследования «Москва Александра Солженицына» (<https://topos.memo.ru/category/561>). Публиковался в журнале «Знамя».

откуда они, и осмотрел при них квартиру. Бригадир не отлипал от него ни секунды, комментировал каждый участок и сантиметр, на которой незнакомец направлял взгляд. Когда они ушли, Андрей узнал от Вани, что это был зять хозяйина квартира, и именно ему эта квартира будет подарена. Затем он приезжал еще пару раз, но говорил только с бригадиром. Они с Ваней утешали друг друга, что бригадир не упускал случая не только подлизаться к нему, но и обсудить их деньги.

По-хорошему, Андрей совсем не думал о деньгах, пока не узнал, что им могут не заплатить. Он долгое время вообще ни о чем не думал из-за изматывающего труда. Но теперь, когда к нему возвращалось тревожное чувство очередной неудачи, беды или несчастья, он снова был вынужден думать. Он думал, что может остаться без денег в Москве, может не вернуться домой, и от этих переживаний у него снова начались бессонные ночи, и его снова сковывала внутренняя тревога, от которой он не знал, как избавиться.

До приезда в Москву он пережил тяжелые дни. В общем-то, в эти дни с ним не случилось ничего особенного, такие вещи случаются с каждым человеком. Его же беда была в том, что несчастья навалились на него скопом, друг за другом: два тяжелых удара, без предупреждения, переломали всю прежнюю жизнь.

Андрей был очень привязан к отцу. Всему важнейшему, что он вынес из жизни, он обязан отцу и его наставлениям. Но последние годы, особенно после свадьбы и переезда в город, Андрей все реже навещал его в деревне. Наташа, его жена, не любила жизни с родителями, любила городскую самостоятельность и приучала Андрея к ней. Может, поэтому ему было важно, чтобы отец приехал к ним из деревни и отпраздновал рядом с ним свое шестидесятилетие.

Накануне дня рождения, когда отец должен был приехать, Андрей нашел его на лестничной площадке своего дома. Лифт не заработал, отец решил подняться самостоятельно – и тогда с ним случился удар. Он уже не дышал, когда Андрей увидел его. Пришлось поволочь тело в квартиру – и затем только вызвать скорую.

Ровно через неделю после похорон, когда он только-только стал оправляться, случился второй удар. Его уволили из школы по анонимному доносу, и он остался без работы. Кто-то... Да нет, не кто-то, так как Андрей уверен, что это была преподавательница истории: родители ее мужа – стукача из прокуратуры, которого он знает с детства, – были не в ладах с его отцом еще с советских лет. И эта «кто-то» донесла до Натальи Юрьевны, директрисы школы – женщины опытной, неглупой, но боязливой за свое место, – что на уроках обществознания, которые он вел, «разворачиваются антигосударственные дискуссии». В качестве доказательства «антигосударственных дискуссий» она зачитала отрывки фраз, произнесенных им на уроке и якобы записанных на клочке бумаги кем-то из учеников: *«Но надо знать их [украинцев] общий накал сейчас. Раз не уладилось за века – значит, выпало проявить благоразумие нам. Мы обязаны отдать решение им самим – федералистам или сепаратистам, кто из них кого убедит. Не уступить – безумие и жестокость... И чем мягче, чем терпимее, чем разъяснительнее мы будем сейчас, тем большие надежды восстановить единство в будущем. Пусть поживут [независимо], попробуют...»* Когда он объяснил директрисе, кому принадлежат эти слова и почему он их процитировал перед взрослыми, неглупыми, думающими старшеклассниками, она развела руками: «Андрюша, – сказала она своим пожилым, но деловитым голосом, – я боюсь, что человек, которому это было нужно, не остановится на этом. Мы оба догадываемся, почему это случилось. Я обещаю тебе помочь потом, но сейчас, понимаешь, не то время, чтобы...» Далее Андрей слушать не стал. Он поднялся и вышел из кабинета.

Он пришел домой, пересказал Наташе, ожидавшей второго, и в ее глазах прорезался страх. Хоть она и уверила его, что все образуется, он не мог теперь успокоиться: ее обеспокоенный взгляд преследовал его. Вечером, подавляя страх, он хотел почитать сыну новую книгу, купленную накануне, но в тот вечер егохватило только на наблюдение, как его трехлетний Коленка играл с оловянными солдатами и отчего-то старательно отрывал ногу одному из них. Андрею хотелось попросить сына не делать этого, но он не нашел в себе сил. Неизвестно, что на него нашло, но ночью он не мог уснуть и чувствовал себя таким никчемным, беспомощным перед людьми, миром, что ему захотелось как можно скорее сорваться куда-нибудь. Ему было все равно, чем

заниматься и где, ему просто нужно было на время сменить обстановку. Наташа не одобрила его решения, пыталась его образумить, а когда поняла, что он не шутит, обиделась, еще больше испугалась и не рассказала ничего сыну. Но Андрей не мог ничего с собой поделать. Он обещал, что вернется через месяц, и попросил Ваню забрать его в Москву.

В день, когда все работы были наконец-то завершены, они ждали бригадира. Он прикатил под вечер, как обычно веселенький, и сразу объявил во весь голос, что приехал не с пустыми руками. Затем уже, чуть понизив голос, добавил, что у него только половина денег. Когда появится оставшая часть, он не знает, но обещает, что перешлет, когда получит. Это было лучше чем ничего, но Ваня все равно заявил, что это их не устраивает. «Мы должны были получить больше, – сказал он. – Мы так не договаривались». Тогда бригадир сел на табуретку посреди барака, устало опустил на колени руки и впервые за время, что они знали его, заговорил спокойно, без излишней радости: «Это правда, что мы так не договаривались. Я тоже, знаешь ли, не договаривался с Алексеем (зятёк хозяйина), что не получу всё обещанное. Это раз, – сказал он, выставив указательный палец. – Два, – отрезал он, выставив второй палец и подняв на Ваню строгий взгляд: – Раньше я всё тебе выплачивал? А, Ваня, скажи, всё я тебе выплачивал?» Ваня опустил голову, словно ребенок, которого отчитывали, и кивнул бригадиру. «Раньше я тебе всё выплачивал, – произнес бригадир. – Но вот, впервые у меня проблемы, и теперь ты предъявляешь мне, что мы так не договаривались. Вот, значит, Ваня, по каким правилам ты играешь. Понятно. Ну, пусть. Пусть так, Ваня. Я запомню, не забуду. Перехожу к три, – сказал бригадир, выставив третий палец, и посмотрел на них уже холодно, отрешенно. – Вы можете что-то сделать в этой ситуации?» И тогда Ваня совсем не нашел, что ответить ему – даже голова, взгляд застыли, не двигались. В самом деле, кем они были? Что могли сделать? «Мужики... – сказал бригадир, постукивая кончиками трех пальцев по колену, словно готовясь довести до них важную, искреннюю мысль. – Я не ветробоб. Я своих не кидаю. Я, знаете, хлебнул немало лиха, жизни повидал и в вашем положении бывал... Так что знайте: когда я говорю, что заплачу вам ваши деньги, – заговорил он с чуть наигранным, плохо скрываемым презрением, – то говорю без вранья. Поэтому либо верьте мне, езжайте домой и ждите ваши деньги, либо разбирайтесь сами с Алексеем или, упаси Господи, с Николаем Ивановичем». Бригадир еще раз отстучал тройкой пальцев по колену, неспешно поднялся, устало оглядел их и уже с расстановкой добавил: «Но, бля, уверяю, что тогда вам вообще хана».

Они покорно, по-рабски закивали ему. Его последние слова достигли своей цели, поставили их на место. Представление «провинция безмозглая, добралась до Москвы и что-то *требует*» наконец-то кончилось. Им напомнили, кто они, можно было расходиться. Даже настроение приподнялось оттого, что все кончилось. Бригадир, снова повеселев, снова вспомнив свою артистичность, по-барски приподнял голову, сузил взгляд и отсчитал положенную половину денег, а затем – внезапно – перебрал пальцами еще по пяти тысячной купюре. «На билеты на поезд. Чтобы не думали обо мне лишнего», – добавил он строго, но улыбаясь глазами. Затем подскочил с табуретки, предупредил, что завтра, после их ухода, придут гастарбайтеры и разберут барак, и уже в дверях наспех пожал им руки и запрыгнул в свой джип. Больше Андрей его не видел.

Вечером Ваня ушел в магазин. Андрей остался один, позвонил жене, узнал, как она, как самочувствие, как сын, и обещал, что завтра приедет. Ее голос не откликнулся особой радостью, поэтому о деньгах он промолчал. Они уже договорили, когда Ваня вернулся из магазина с парой бутылок «Журавлей», пластиковыми стаканами, блоком синего LD, банкой маринованных огурцов и буханкой черного хлеба. Сели ужинать. Ваня открыл бутылку, сразу налил Андрею, хотя он не соглашался сразу. Андрей редко пил, но после разговора с женой ему вроде как хотелось рюмку, может, две. Ваня все же настоял, что для приличия надо выпить посолиднее и преломил хлеб, передав Андрею половину. После первой рюмки они выпили по второй, а после второй – по третьей, а потом – по четвертой... Под первую бутылку они хорошо разговорились, в основном о детстве и юности, о временах, когда не было хандры, а было легкое, подъемное отношение к жизни. Со второй бутылки разговор сделался бессвязнее и расплывчатее, и ностальгия постепенно перетекла в меланхолию. Андрей вконец захмелел, веки уже слипались, когда Ване отчего-то

совсем взгрустнулось и он тихо, с сердцем напел: «Не ругайте меня дома, меня не за что ругать; мое дело молодое, мне охота погулять...» Андрей слушал его, поддерживая рукой подбородок, и смотрел ему в глаза, гадал, отчего у них такое новое, опечаленное выражение, точно из их глубины с ним говорил еще один человек.

Ване захотелось станцевать, он встал и молча пошел дугой, но чуть не свалился на пол. Затем он захотел пойти за третьей, но Андрей еле уговорил его не делать этого. Одной рукой он ухватился за его плечо, а другой указал на потолок, пьяным голосом умолая: «Не надо, Ваня, хватит. Отец повторял мне: пойдешь еще за одной – правда на небо улетит... Не надо! Завтра вокзал, дорога... Нам домой пора...» Ваня внял его словам, лег на матрас прямо в одежде. Андрей решил, что утром наведет порядок. Он кое-как сбросил с себя одежду и лег рядом с Ваней, стянув на себя край покрывала. Холодная была ночь, начало декабря. Ваня лежал рядом, глядел на потолок и степенно, культурно, со всей серьезностью перекрестился и уснул. Андрею не показалось. Уверенный, что Ваня засыпает, Андрей перевернулся на бок, спиной к другу, и увидел в углу сумку, черную сумку, в которой были их деньги и паспорта. Он прислушивался к Ваниному сопению и глядел на черную сумку. Неожиданно, сами напросившись, подскочили мысли, что он получил только половину денег, а скоро будут новые расходы, второй ребенок родится, первый в садик пойдет, и что он будет тогда делать, куда пойдет работать?.. Андрей закрыл глаза, потряс головой, отгоняя от себя бесовщину. Сознание погрузилось во тьму. Во тьме он разглядел жену, которая ждала его домой, ждала-печалилась с округленным животом, и от мысли, что он скоро вернется к ним, попросит прощения, и она поцелует его лоб, как когда-то в детстве целовала бабушка, и они заживут как жили, ему снова стало все мило, хорошо, и тогда он заснул.

Раньше Андрей просыпался благодаря голосу своего друга, но в тот день он проснулся сам. Впервые за время в Москве. Открыл глаза – и не нашел мобильного. Затем приподнялся на локоть и не увидел сумки в углу. Ничего не было. Оглянулся – и друга тоже не увидел. Его тут же выплонуло в одних трусах на улицу, но было пустынно: не было ни друга, ни сумки, ни людей.

Примерно через час пришли гастарбайтеры, человек шесть. Андрей попросил у одного из них мобильный телефон, подержал в руках, но так и не вспомнил ни одного номера. Спросил, приедет ли бригадир, но они развели руками. Он кивнул им, вышел на улицу и сразу задумался, куда пойти. В самом деле, куда? Он оказался совсем один и без мобильного, без документов и денег. Еще несколько часов назад он был человеком, у него были документы и деньги на дорогу домой, а сейчас не осталось ничего, он стал ничем, и никто не знал его в Москве.

Андрей побрел по декабрьским улицам. Чтобы не поддаться страху, он отгонял от себя мысль, что остался на улице. Не соглашался с этим и уверял себя, что найдет выход. В нем теплилось еще много надежды.

Ноги несли его по Тверской, Моховой, Воздвиженке. Он без толку плутал по центральным московским улицам и смотрел на достопримечательности, которые избегал целый месяц. Мимо него проходили ухоженные москвичи, и его взгляд цеплялся за них, словно надеялся на что-то. Может, на то, что они без слов поймут его положение и помогут ему, беззащитному и беспомощному. Надежда, слишком много надежды, жалости к себе, мешали ему очнуться от болезненного сна.

Он не сразу почувствовал голод. Часов через шесть, как оказался на улице. Прошел мимо «Хлеба насущного», кафе-пекарни, и вспомнил, что не ел с прошлого вечера. Остановился перед витриной, за которой были теплый свет, кофе, круассаны, и понял, что лучше не видеть этого. Он перевел взгляд на пару средних лет, хорошо одетых, с чистыми лицами, посмотрел на кольца на их безымянных пальцах и услышал обрывки их разговоров о делах, детях, бестселлерах, свободном времени, пробках, ценах на бензин, кинопрокатных новинках. Ему тоже захотелось поговорить с кем-нибудь о чем-то таком же бесполезном, повседневном, нормальном.

Андрей бесцельно зашагал дальше. Несмотря на внутреннее сопротивление, с ним все равно происходили перемены. В первый день на улице тело еще не изменяло: ему хватало сил, вынос-

ливости, терпения; об этом природа позаботилась. В первый день на улице Андрею изменяли мозги. Он с трудом, с болью очищался от привычного сознания наличия еды, сна, стабильности. С очищением от естественных привычек он постепенно терял власть над чувствительностью, в нем исчезало все накопившееся безразличие. От этого он делался все более беззащитным.

Когда смеркалось и поднялся ветер, сердце впервые крепко сжалось от страха, что приближается ночь на улице. В ответ на страх в нем поднялась новая волна досады, что он поехал в проклятую Москву, оставил дом, жену, ребенка, поперся в этот грязный, безразличный город, где его оставили в дураках. Остыв, он снова задумался, что надо искать выход, надо спастись. Страх толкал его найти хоть какую-нибудь, пусть самую жалкую и низкую, но помощь.

Все изнутри него сопротивлялось, когда он направился к полицейской машине. Столько зла они причиняли его семье, особенно отцу, но стоило ему впервые оказаться на улице, как все его презрение улетучилось. Многие ценности, которым его научил отец, разом выветрились из головы. То ли из желания разжалобить полицейского, то ли из беззащитности, Андрей обхватил себя руками, вцепившись в локти, и заговорил. Молодой, нагловатый полицейский, уже с брюшком и двойным подбородком, долго не хотел его замечать. Уткнувшись в мобилу, он знал, что кто-то стоит рядом, бубнит что-то, но не шевелил пальцем, не двигал бровью. Поняв, что этот кто-то не уходит, он тяжело вздохнул, опустил стекло и обратил унылый взгляд. Выслушав, он промямлил бычьими губами, что единственное, чем может помочь, – это забрать в обезьянник. «Мужик, – добавил он голосом, ставившим в вину присутствие “кого-то” рядом с ним, – знаешь, сколько у меня *реальных* дел?» Настроение лени, малодушия, отвратительной сытости. Он хотел, чтобы незнакомец исчез, и Андрей ушел, едва не извинившись перед ним.

Прошло еще два часа, уже была ночь. От холода, все усилившегося, Андрей всерьез задумался о ночлеге. Он пробовал войти в подъезды, но двери были закрыты, и кодовые комбинации не срабатывали. Он звонил на случайные номера квартир с просьбой, чтобы его пустили, но когда десятый подряд человек либо не ответил на домофонный звонок, либо отказался открывать дверь, Андрей с боязнью произнес: «Неужто прямо на улице спать?» По его спине пробежал мороз. Где ему спать, если он ничего не найдет? Куда себя деть? Голод, сон, декабрь. Он увидел длинный подземный переход и с радостью подумал, что хоть там ляжет, согреется и, глядишь, поспит. Он чуть не вбежал в него, спускаясь, перепрыгивал ступени и уже разлегся, когда его настиг сначала сквозняк, а затем попался на глаза бездомный, которого он не сразу заметил, – лежал в паре метров напротив с расстегнутой ширинкой, с закрытыми глазами и полукрытым ртом. Андрей сорвался обратно на улицу.

Он дошел до первого двора, лег на скамейку на детской площадке и закрыл глаза. Затем почувствовал, как что-то опустилось на лицо, что-то влажное. «Что это?» – спросил он себя, а когда поднял веки, увидел снег, первый снег. «Так и быть, – подумал он, и слезы – жалости или отчаяния, а может, и того и другого – чуть не выступили на его лице. – Буду спать под снегом. Первый снег, когда я первый день на улице. Так и быть». Андрей не знал, что его ждет ночью, лишь надеялся, что поспит, теперь уже под снегом. Но он не спал почти всю ночь. Были минуты, когда ветер немного стихал, и Андрей дышал спокойнее, веря в скорый сон, но это было ненадолго. Словно только для того, чтобы наверстать этот отдых, ветер налетал с новой силой и еще злее колот и рвал, и Андрей мерз, бился и стучал зубами, держась за дрожащие колени и живот, и проклинал ветер, себя и людей. Во дворе многоэтажного дома, где сотни квартир, никто не знал, не замечал его. Они спали в своих отопленных квартирах, на мягких кроватях, под теплыми одеялами, пока он лежал ночью на улице, в декабре, без еды и сна.

Он не помнит, как уснул и как спал. Помнит только, как открыл глаза и словно из могилы увидел снежинки, на которые падал свет, утренний золотистый свет. Ветра не было, и освещенные снежинки неспешно ложились на деревья, на землю, на его лицо. Они были прекрасны, и Андрей подумал, что все кончилось, он в раю. Но это было не так, он был еще жив. Он понял, что еще жив, когда увидел за снежинками и светом жильцов дома, которые не впускали его в подъезд и не замечали ночью: женщину с пакетами, старика с коляской и одинокого мужчину, бросившего

на него недоверчивый взгляд. Они были слишком обыденными для рая, а он верил, что в раю не существует обыденности. Верил, что там все окрашено благословенным золотистым светом, и неспешно падают снежинки, и люди любят себя ими, лежа в саду, и им всегда тепло.

Каждый день на улице сердце Андрея сжимал новый страх. Во второй день страх прокрался не только в мозги, но и в тело. После сна на улице сил почти не осталось. Голод сделался нестерпимее, одежда отяжелела от влаги. Мысли стали резче и обрывистее. Он больше не мучился от знания-незнания, бездомный он или нет, а только боялся, что снова может ничего не съесть и остаться ночевать на улице.

Андрей дошел до шумного, людного Киевского вокзала, надеясь, что в привокзальной толпе ему помогут. Он спустился в переход, и его приютила бездомная пара алкашей с покрасневшими от холода лицами. Они сразу предложили ему сесть рядом с ними, но он отчего-то замешкался. Им это не понравилось. Когда же он еще отказался пить с ними, они совсем обозлились. Андрей попросил у них прощения и ушел. Нужно было видеть их запившие, тупые, беспомощные лица. «Не нужно выдумывать никаких теорий об устройстве мира, чтобы узнать мир, – подумал про себя Андрей. – Просто забудь, что у тебя есть дом, и пойди на вокзал, попробуй прожить там хотя бы день. Без лишних слов тебе сразу откроется, что войны в мире больше, чем самого мира; что человеку выгоднее быть безразличным и злым, чем открытым и добродетельным; что выживет в конце концов только тот, у кого хватит сил проломить башку другому. И ничто тебя не переубедит в этом».

С площади вокзала он зашел согреться в метро, но добропорядочные сотрудники метрополитена пригрозили ему полицией. Он открыл тяжелые двери соседнего с метро кафе, чтобы спросить воды, которой не пил больше суток, но милovidные официанты прогнали его обратно на улицу. Он даже зашел в библиотеку, надеясь, что там его не тронут, что там он может согреться и поспать хотя бы час, но молодой человек, полный веры в прогрессивное, справедливое человечество, демонстративно встал, когда увидел его немытую провинциальную физиономию, и вышел из зала; сотрудницы библиотеки тут же устремили на него косые взгляды. Андрею стало стыдно, ноги сами вынесли его на улицу.

Остаток дня, до вечера, он шлялся по городу, не оглядываясь на названия улиц или лица людей. Иногда вдали мелькала Москва-река, и он представлял себе ее обледеневшую воду. «Или брошусь, – думал он, – или помру от голода. Так или иначе это кончится».

К вечеру, когда голод сделался нестерпим, он сдался. Он сбросил остатки нормальности и стал попрошайничать. Он хотел есть. Он умоляюще глядел на хороших и добрых горожан и клянчил у них деньги. Он наконец-то избавился от низкой души и зажил, как остальные, высокими инстинктами. «Если бы я поел... – повторял Андрей про себя, как мантру, когда подходил к очередному человеку с умоляющим лицом. – Если бы я согрелся...» Он приставал к красиво и богато одетым москвичам, мужчинам и женщинам, просил у них помощи, совета, денег на дорогу, но они смотрели на него с презрением. Он подходил к людям с интеллигентскими лицами, просил дать червонец на хлеб, но у них не было времени на таких, как он. Подходил к подросткам, но они попросту не замечали его. Только дети поглядывали на Андрея с удивлением, но как ребенок мог помочь ему? Неизвестно, пережил бы он ту ночь, если бы не одна женщина – пожилая, в длинном черном пальто и черном платке, словно из подземелья, – которая сунула ему в руку сторублевку и прошла дальше, не поднимая головы. Андрей проводил ее надтреснутым от благодарности взглядом.

Он зашел в продуктовый магазин, и продавщица тут же потянулась к стограммовкам, но он отмахнулся и озлобленно произнес, что ему нужно 500 грамм хлеба и бутылка воды. Столько хлеба, рассказывал ему отец, выдавали заключенным. Если столько хватало отцу, значит, решил Андрей, хватит и ему. Он расплатился, ушел в очередной двор в районе Киевской или Студенческой, сел на скамейку и торопливо отщипал хлеб по кусочкам, спешно прожевал его и запил водой. Он не знал, что не надо торопиться, не надо запивать водой и жадно жевать. Не знал, что когда спишь на улице и не ешь сутками, хлеб надо сосать, как сахар, как леденец, чтобы подольше

утолить голод. Ему стало жарко, голова закружилась. Он лег и проспал несмотря на холод много часов, наверное, пять или шесть.

Утром он проснулся от холода, с новой силой пробравшего ему спину. Проживать новый, уже третий день на улице не было ни сил, ни желания. Он вышел на просторный тротуар, сел недалеко от церкви и протянул руку. Люди проходили мимо. За первый час, пока он сидел на заснеженном асфальте с протянутой рукой, ему ничего, ни рубля не подкинули. Медленно и сознательно Андрей почувствовал ненависть ко всем, кто не замечал его, кто спал дома, имел работу. Кто получал зарплату. Кто видел любимых, родных. Кто не бросал их, не подводил и выполнял обещания. Кто знал, как жить, чтобы не оказаться на улице. Как же их было много. Ненависть переполняла Андрея, когда он задумался, кто вообще в ответе за все, что случилось с ним, за то, что случится с женой, детьми, когда они узнают обо всем. Кто вообще в ответе за людей. Затем долго и мучительно, против воли, он думал об отце. Отец, который как-то сводил концы с концами и умудрялся сам выживать, смотреть за родителями и наставлять, воспитывать его, своего непутевого сына. Отец справлялся со всем, а у него не получилось. Он не смог. С этой мыслью в Андрее что-то опустело, что-то выветрилось из него. Ему сделалось совсем одиноко. Люди все еще проходили мимо.

Когда ты возненавидел людей; когда ты не можешь забыть, что твой близкий друг, тот, кто называл тебя братом, бросил, обчистил тебя; когда ты не знаешь, что будет с женой и детьми; когда не знаешь, кто в ответе за все преступления; когда ты остаешься совсем, бесповоротно один в этом мире, и никто тебя не видит и не знает, – вот тогда тебе хочется запить. Больше всего в ту секунду Андрею захотелось запить, напиться, нажраться, налакаться – так, чтобы забыть, как ему одиноко, как ему не хочется дальше жить.

Но что-то удержало его. Что-то твердо подсказало ему, что один глоток – и бездомные с Киевского вокзала, и шаг в пропасть, и никогда не вернуться в прежнюю жизнь. Это не мозги подсказали ему, не тело и не воля, чей последний стук не уступал ни голоду, ни холоду, но уступил одиночеству, – это подсказал инстинкт, чувство самосохранения. Это инстинкты подсказали ему: *она* хочет, чтобы ты выпил. *Она* так заберет тебя. Андрей крепче схватился за живот, закрыл глаза что есть силы и стал лихорадочно трясти головой, прогонять *ее* руганью, грязной, матерной руганью, какую только знал. Он не признавал, что делает это вслух, как сумасшедший, как умалишенный, рядом с церковью, отчего обыкновенные, нормальные люди держались от него подальше, точно могли подхватить заразу.

В середине дня, когда он на какое-то время прогнал *ее* и очнулся в подобию здорового ума, он смог дойти до малолюдного парка, в котором было полно статуй, памятников – серых, холодных, заброшенных. Это были памятники вождям, советским партийцам. Был там и главный из них, с таракаными усищами, из-за черной тени которого люди по сей день лишаются ума. Но Андрей глядел на него как на остальных и не чувствовал ничего, кроме равнодушия. В действительности ему было проще смотреть в мертвые каменные глаза, чем в живые людские. От живых он устал. Он прятал от них взгляд, поскольку боялся, что они дадут ему денег, на которые он сорвется и купить выпивки, уступит *ей*. Он даже радовался чувству голода, пока оно не причинило ему новую боль, от которой у него стало сводить ноги. Взявшись за живот, он опустился на бордюр на задворках парка. Было чувство, словно нечто изживается из него. Он еще раз сделал усилие над собой и попробовал отвлечься, заглушить боль от голода какими-то мыслями. Но у него не получилось, мыслей не нашлось. *Она* побеждала.

Андрею было стыдно умирать в парке, на глазах у людей. Так и не поев, он покрепче обхватил живот руками и кое-как добрал до закрытого двора на Якиманке, до тупика старого полузаброшенного дома. В тупике, рядом с раздолбанным подъездом, были помойка и облезлая скамейка. Он лег на скамейку.

Было холодно и не было слышно ничего, кроме свиста ветра. Было так холодно, что казалось, что он лежит в одних трусах. У него слезились глаза, изо рта валил пар. Он съежился из последних сил. Вдруг одна-единственная мысль закружилась в сознании. Мысль, что он может не вернуться

в мир. Что этой ночью все может кончиться. Отчего-то Андрей наполнился маленькой радостью. Тихо, одиноко умереть, пусть от холода – но все кончится, больше не о чем будет думать, вспоминать, тревожиться, незачем будет метаться, бороться, некого будет проклинать или умолять, – а можно будет избыть последнюю боль, надежду, отпустить последний сгусток воли и желаний и долгожданно выдохнуть, наконец-то уснуть.

Андрея еще раз пробрала дрожь. Когда она прошла, он потерял сознание.

Но Андрею не повезло, его разбудили. Незнакомый мужчина тряс его за плечо и испуганно глядел на него в оба глаза. Машинально, с трудом соображая, Андрей захотел подняться, но почувствовал неладное. Что-то с руками. Декабрь. Он спал на улице. Снова сделав слабое движение, он опять не смог оторвать руки. Он опустил взгляд: примерзли к скамейке. Он не чувствовал рук, но теперь знал, что почувствует, если отдерет – резко, одним махом – и почувствует с новой болью. «Кажется, нужна горячая вода, – произнес мужчина, приглядываясь к его рукам. – Подождите, я принесу».

Незнакомец ушел. Андрей приподнялся на колени и старался думать не о странном знакомце, а о том, как ему оторвать руки от скамейки, чтобы не остаться без рук. Вскоре мужчина вернулся с кастрюлей воды. И медленно, тонкой струей полил воду на его обледеневшие, отвердевшие руки. Вместе с водой на снег полилась розовая струйка крови. Он оторвал руки, чувствуя обжигающую боль. Незнакомец протянул варежки и пригласил в подъезд дома. «У меня ничего нет», – прерывистым голос выговорил Андрей. «Вы замёрзнете на улице, – настоял незнакомец. – Идемте в подъезд».

В подъезде незнакомец растерялся, поскольку не знал, куда положить Андрея, и предложил пойти на лестничную клетку. Андрей отчего-то содрогнулся. Изнутри хрустнуло знакомое чувство, какая-то старая мысль захотела пробиться сквозь ледяную корку, но он был не готов к этому. Затем незнакомец отнес кастрюлю домой и вернулся с пледом и бинтом. «Держите, согрейтесь». – «Благодарю, – сказал Андрей, не поднимая глаз. – Большое спасибо». Незнакомец, уткнув руки в бедра, смотрел на него, стараясь понять, все ли сделал, что мог. Под белым светом из окна, падавшим ему на голову, проглядывалось его кругловатое, непримечательное лицо с маленькими карими глазами и пухлыми губами. Лицо совершенно обыкновенного человека. Андрею показалось, что незнакомец сам не понимал, что делает, – его рассеянные глаза не верили происходящему. В них был блеск, свет, за которым он неожиданно последовал – может, впервые в жизни, – но он не знал, каким должен быть следующий шаг. Когда их молчание затянулось, незнакомец потряс плечами и проговорил: «Ну... Если понадобится, то поднимайтесь на третий этаж, в тридцать седьмую квартиру. Вряд ли буду спать». – «Хорошо, – сказал Андрей, признательно кивнув. – Большое спасибо». Незнакомец снова ушел.

А Андрей опять остался один. Ему не спалось. Лежа на полу у лестницы, он заново забинтовал руки, грелся и думал о мистических случайностях. Уже во второй раз, когда он был уверен, что приблизился его конец, случилось нечто удивительное, необъяснимое. Сначала женщина в черном, теперь этот чужак. Спрятав руки между ног, втянув голову в плечи, он смотрел на свет, падавший теперь на его лицо, и думал о чудесах, в которые никогда не верил.

Через какое-то время незнакомец вернулся. «Как вы?» – спросил он, и Андрей сразу почувствовал запах выпивки. «Получше», – ответил он, приподнимая голову. «Не хотите в дом?» – спросил незнакомец. Подвыпивший, он изменился, стал менее аккуратен, более настойчив, и от этого казалось, что он немного не в себе. «Странно спрашивать у вас такое. Давайте, может, в дом?» Андрею стало неудобно. Незнакомец это заметил. «Я не настаиваю, – добавил он, – но какой смысл спать в подъезде, когда можно переночевать дома, в тепле? Спокойно переночуйте эту ночь у меня. Я все равно один, все разехали».

Андрей уступил ему. Они поднялись на третий этаж, вошли в квартиру. В коридоре и комнатах было темно, свет исходил только с кухни. Незнакомец сразу прошел на кухню. Андрей тем временем медленно стягивал примерзшие к стопам ботинки и стаскивал с плеч отяжелевшую от

влаги и грязи куртку. Стоило ему ступить ногой на пол, увидеть стены, потолок, люстру и двери, как на его тело нахлынула волна удивления от существования пола, стен, потолка, люстры и дверей – вещей, придуманных человеком для существования в закрытом пространстве, в доме. Ощущение безграничной, бесприютной улицы, преследовавшее его последние дни, сразу сжалось в нем и тут же, не дав осознать, разжалось, развернулось в ощущении домашнего уюта. Он пробуждался.

«Может, хотите в душ?» – спросил незнакомец, вернувшись в темный коридор и не дожидаясь ответа, показал ему ванную. «Душ не помешал бы», – добавил он со смущением. Андрей послушался его. На стиральной машине уже лежали футболка, спортивные брюки, носки и перекись с ватой. «И когда он успел?» – подумал он, стаскивая с себя прилипшую к телу одежду. – И что ему от меня нужно?» Он увидел свое отражение в зеркале: непричесанный, небритый, лицо красное, в каких-то пятнах. Он встал под душ, закрыл глаза и прислушивался к заново пробуждающимся мыслям: как хорошо в квартире, в безопасности, как наконец-то ему повезло. Затем аккуратно обработал перекисью ссадины на ладонях и снова их крепко забинтовал.

Когда он вышел из ванной, незнакомец был на кухне. Он сидел за столом, покачивая ногой и тревожно озираясь: кажется, впервые задумался, что вытворяет. Андрей лучше разглядел его: лысеющий брюнет, неуверенный взгляд маленьких глаз, тоненький нос, толстые ярко-розовые губы; что-то татарское сквозило в его лице. Рост невысокий, плечи широкие, небольшой живот. Морщины и седые проблески на висках. Типичный тридцатипятилетний мужчина, городской трудоголик. «Вина?» – спросил незнакомец, глядя на Андрея. – Или виски?» На столе были полупустая бутылка виски и пепельница, набитая бычками. По телевизору шли вечерние новости. От слабого кухонного света в Андрее снова защемили знакомого чувства. «Нет», – ответил он. – Не хочу». – «Жаль», – ответил незнакомец. От его ответа Андрею показалось, что, может, именно за этим он приглашал его в дом. Он остался стоять на пороге кухни. «Не возражаешь, если я продолжу?» – спросил незнакомец, кивая на бутылку.

Андрей не успел ответить, как незнакомец опомнился, тут же подскочил к нему и протянул руку. «Анатолий, – представился он. – Или Толя. Лучше просто Толя». – «Андрей, – ответил он, пожав руку. – Я не против, Толя. Это ваш дом, делайте что хотите». – «Нет, не мой. Сестры, – ответил Толя, указав на свободный стул. – Уехала с детьми в Египет. Я тут за кошкой присматриваю. – Он приотворил форточку и закурил. – А где кошка, черт ее знает. Андрей, не стой как статуя, садись уже. А чаю будешь?» – «Чаю с удовольствием». Толя сразу стукнул свободной рукой по шельку чайника. «Ты, наверное, еще голоден будь здоров?» – спросил он, выпуская дым в форточку. – Когда ел в последний раз?» – «Вчера». – «Сейчас придумаю что-нибудь. – Толя подошел к холодильнику, держа в толстых губах сигарету. – Ты думаешь, что я ненормальный? Да? – Он перебирал продукты, не глядя на Андрея, и продолжал говорить, не дожидаясь ответа. – Не знаю, как тебя в этом разубедить. Остается лишь поверить на слово».

Чайник вскипел. Андрей поднялся, но Толя показал рукой, что сам все сделает. Он налил в кружку воды, опустил заварку и поднес ему дымящийся чай. Андрей поблагодарил его и аккуратно приложил руки к горячей кружке, сделал глоток. Впустив в желудок кипяток, наслаждаясь им, он сказал, что утром уйдет, не побеспокоит его больше. Толя ответил, что он может не спешить, все равно никому нет дела до него. Затем вернулся к более насущной проблеме. «Так, – пробормотал он, глядя на экран телевизора, но обращаясь к Андрею, – в холодильнике есть сосиски и пельмени. Устроит?» Андрей кивнул. «Сосиски или пельмени?» – уточнил Толя. – «Без разницы», – ответил Андрей. «Окей, сосиски».

Тогда он сразу подумал, что, наверное, лучше бы выбрал пельмени. А затем, подумав о подуманном, поразился себе: еще пару часов назад был на улице, готовился умирать, ежась на скамейке, а теперь, оказавшись в квартире, согревшись и получив возможность поесть, *выбирает*; всего час – и все забылось, стерлось.

Толя тем временем возился у плиты, не отрываясь от сигареты и поглядывая на телевизор. Иногда в нем проглядывала спешка, суета, словно он забывал, что ему нужно делать, а иногда

он успокаивался, но не без усилия. Он положил перед Андреем тарелку с сосисками, достал из холодильника кетчупа с майонезом и батон хлеба. Не говоря ничего, преломил кусок, улыбнулся добродушной улыбкой чуть подвыпившего человека и пожелал приятного аппетита. Андрей поблагодарил и чуть не набросился на пищу, но осек себя и стал есть медленно, хорошо прожевывая. Когда доел, Толя спросил: «Расскажешь, что с тобой приключилось? У тебя лицо... Как это сказать? Ты не похож...» – «На бездомного?» – уточнил Андрей. – «Да. – Толя отхлебнул виски. – По правде, сам не понял, что на меня нашло. Обычно я такими вещами не занимаюсь».

Андрей закивал ему, не зная, что добавить. «Так расскажешь, что стряслось?» – снова спросил Толя. – Или не хочешь?» – «Нет, почему?» – отозвался Андрей и стал рассказывать, но почти сразу пожалел об этом. В тепле, только поев, ему все больше хотелось одного – забыть хоть на время обо всем случившемся с ним, а не возвращаться к пережитому. Но он чувствовал себя гостем, да и уже начал говорить. Он рассказал Толе, что приехал в Москву на заработки, что работал у таких-то людей. От этого Толино лицо почему-то помрачнело. Когда он пересказывал вслух все случившееся с ним, в нем то и дело рождались новые, непроясненные мысли, какие-то смутные догадки, что, как и почему произошло; но он не успевал сосредоточиться на этих мыслях, они ускользали от него. Да и ему все меньше хотелось продолжать сбивчивый рассказ. Когда все совсем расклеилось, он закончил на том, как Ваня обчистил его, и он очутился на улице без денег и документов. «Ну а дальше, – добавил он, – улица, ночи на улице». – «Давно это случилось?» – «Дня три назад», – ответил он. – «Вовремя мы встретились друг другу», – подытожил Толя. К концу рассказа он был в меру пьян, взгляд его снова поблескивал.

«Тебе просто не повезло», – произнес Толя, прерывая молчание. Андрей согласился с ним. «Почему-то кому-то везет, а кому-то нет, да?» – спросил Толя. Андрей снова подтвердил его правоту.

Толя подвинул стул, сел боком к нему, прильнул спиной к стене и приподнял голову. Они ничего не говорили, слушая шум новостей. Затем Андрей спросил его, чем он занимается. «Вообще?» – уточнил Толя. – «Да». – «Точно хочешь знать?» – «Что-то секретное?» – переспросил, ухмыльнувшись, Андрей. – «Так-то да», – ответил Толя. Андрей сказал ему, что пусть расскажет, если считает нужным рассказать. Его дело, он ни на чем не настаивает. Толя с задумчивым взглядом покрутил в руках бокал с виски.

Андрей не сразу заметил, что Толе к этому времени всерьез взгрустнулось. Он перевел взгляд с бокала на окно, и Андрей увидел в оконном отражении, что Толя насмешливо скривил губу. «Чем я занимаюсь? Перебираю дела, бумажки, перенаправляю звонки... Архивы, бумажки, звоночки, понимаешь? Руку жму, улыбаюсь нужным людям. Сажу перед монитором целый день, данные заношу. Так, мелкая шерсть на фоне больших людей. – Толя повернулся, подлил себе еще виски, хотя с каждым бокалом все больше мрачнел. – Ты не против, если я поговорю? Мне, не совру, очень хочется поговорить. Я не помню, когда последний раз с кем-то разговаривал. По-настоящему разговаривал, понимаешь?»

Андрей не ждал этого, но деваться было некуда. «Да, конечно, – ответил он, делая глоток чая и надеясь, что это ненадолго. – Говори». Толя поблагодарил кивком, еще отхлебнул из бокала и впервые поморщился от выпивки. Затем заговорил – с большим желанием, чем Андрей: «Знаешь, что меня больше всего расстраивает на работе? Даже не эти бумажки-звоночки. Даже не то, что я ими уже десять лет занимаюсь. – Он закурил еще одну сигарету. – Больше всего меня расстраивает, что я не умею врать. И красть. Врать и красть. Если бы умел, то уже через год меня освободили от бумажек и звоночков. А я не научился. Нет этого во мне». Он стукнул себя по груди и замолчал. Глаза его рыскали, голова думала. «Я был уверен, что попав на такую службу, получу статус, деньги, власть. Все мне это твердили: родители, жена, друзья. Затем прошел год, второй, третий, я так и не научился врать. Без вранья – себе и остальным – не вышло ни статуса, ни денег, ни власти. Ни хрена не вышло. Я знаю людей, которые все время лгут и все время воруют. Я очень хорошо знаю таких людей. Я с ними каждый день работаю. У них все вышло, все получилось, потому что

они все время лгут, все время воруют и все время обставляют других людей. – Теперь уже беспечный взгляд направился на Андрея. – Знаешь каких?»

Они рассмеялись нервным смехом. Оба, не сговариваясь, поняли, о ком речь. Толя докурил сигарету, затушил бычок в пепельнице, сразу закурил новую. «Есть те, кто лжет и крадет, – заговорил он фальшиво-высоким тоном, – и те, кого обманывают, у кого крадут. Те, кто берет от жизни все, и те, кто теряет в жизни все. Те, кто сидят на вершине мира, и те, кто тащат этот мир на плечах. Другой философии я не знаю».

Несмотря на смех, Андрею было не по себе от такой резкой откровенности чужого человека, от этой важной интонации подвыпившего мужика. Слушая его вполуха, он спрашивал про себя: «Зачем мне все это, зачем ты рассказываешь мне все?» Чужая откровенность неприятна. К тому же усталость, изломанность, сонливость. И, главное, неизвестный, неосознаваемый страх, подкрадывавшийся к нему, как только начался этот поток откровенностей, а может, и раньше – еще когда он только вошел в подъезд.

По новостям показали Крымский мост. Панорама охватывала его. Затем на экране появились многодетные семьи, которые путешествуют по Крыму на автомобиле. Толя пристально всмотрелся в их лица, подливая себе еще виски. Андрей наблюдал за ним, за льющим в граненый стакан алкоголем, и с неприязнью думал, что, по справедливости, *вот так* люди оказываются на улицах, но уж точно не так, как он; он не заслуживал случившегося с ним.

«Я мечтал объездить весь мир, – заговорил с новой силой Толя. – Но в итоге не могу никуда выехать из России. Я даже в сраную Турцию не уеду. Только этот блядский Крым. – Толя посмотрел на Андрея с посерьезневшим лицом. – Подорвал бы его на хуй, и всю эту страну на хуй, на хуй. Смешно, да, а мы каждое лето проводим в Крыму. Один и тот же пляж, один и тот же отель, один и тот же блядский Коктебель». – «Так почему не поехать куда-то еще?» – спросил Андрей. – «Служба», – ответил Толя, пожав плечами. «Если бы, если бы только эта крымская хуйня! – Он взял секундную паузу, а затем указал сигаретой на экран. – Посмотри на этих мудозвовов. (Андрей поглядел на улыбающихся детей на экране.) Довольные какие. У тебя есть дети? (Андрей кивнул.) Хотел сказать, чтобы ты никогда их не заводил. С каждым годом все больше отдаляются. Я своего пацана отправил на футбол, а то он такой одинокий, потерянный, ни с кем не общается. Как он будет жить в этом зверином мире без друзей, кому откроется, кому будет нужен? – Толя опустил взгляд на пол, почесал голову. – Я боялся заводить детей, тем более мальчика. Жена... – Он покрутил раскрытой ладонью в воздухе, словно взвешивая, рассказывать или нет. – Спустила столько лет продолжаю спрашивать себя, правильно я поступил или нет, надо было жениться или сглупил по молодости. А она все меньше беспокоится, что я догадываюсь обо всем. – Он усмехнулся сам себе, сделал еще глоток. – Ты спрашиваешь, где я работаю. Сейчас узнаешь».

Толя неожиданно поднялся, вышел из кухни. Андрей был уверен, что сейчас он покажет ему пистолет или что-нибудь в этом роде. Столько раз уже случалось, что кто-нибудь по пьяни, особенно посреди ночи и после бутылочной болтовни, хвастался оружием в доме. Ему сделалось противно и от него, и от шума, льющегося из телевизора. Насмотрятся, налагаются и начинается цирк с конями. Андрей просидел в ожидании полминуты. Наконец Толя вернулся с торжественным видом.

«Должность, ебать! Вышла замуж за чекиста! – Толя показывал раскрытую ксиву. – Когда раскусила, что я неудачник, уже было поздно метаться, сливать меня, понимаешь? По инерции продолжала играть в жену. В жену, ночующую в чужой квартире. Ну, знаешь, как это бывает, когда жена свое не получает: сразу на тебя всех собак навесит, детей у матери оставит, а сама направо и налево, направо и... Да ты сам видишь... – Толя махнул сначала на бутылку, затем на свой живот, на пьяное лицо и затем куда-то в сторону. Он стоял посреди кухни, чуть пошатываясь, с глупой, невинной улыбкой и вдруг, глядя на Андрея, воскликнул насмешливо-трагическим тоном, потрясая ксивой: – Как истовый христианин я не вмешиваюсь и не сопротивляюсь! Все понимаю, все принимаю и все прощаю. Оттого и не вмешиваюсь, не сопротивляюсь...»

Что-то неприятное кольнуло Андрея, когда Толя показал ему чекистскую ксиву. Он сразу увидел перед собой отца, а затем мента с двойным подбородком, вспомнил его ленивый взгляд и свое унижение. У него проскользнула мысль, что следует уйти отсюда, как только получится. Сначала выпасться, а затем – от греха подальше – смыться от этого чудака. Он безобидный, но на грани помешательства. Это было очевидно. Андрей сидел на месте, значительно кивнул ему на его признание и поинтересовался, зачем он женился, завел детей и устроился на чекистскую службу – это, может, в самом деле его интересовало, – если так не хотел всего этого.

«Как зачем? Все само случилось, – с пьяно-невинным лицом ответил Толя, садясь на стул. – Даже не случилось, а свалилось на голову. Живу, знаешь, земли под собой не чую, а только ловлю на голову новые беды, проблемы. По-нашему вполне, стихийно, то есть по-скотски. Вот, давно, еще молодым, расстался с девушкой, которую вроде как любил, по-настоящему. Спустя месяц после расставания сделал предложение другой девушке, моей жене нынешней, с которой был знаком всего пару недель. В вечер, когда сделал ей предложение и она согласилась, мы пошли в ресторан на Манежной площади. И все время в ресторане меня преследовала родительская фраза, что мне нужна “подходящая должности жена”. Весь вечер я смотрел на нее и мысленно примерял образ “подходящей должности жены”, – а она, блядь, так подходила под этот образ, так вписывалась в эту роль!

Затем я думал, что встану на ноги, все заблаговременно устрою, но сразу влез в кредиты: свадьба, ипотека... Детей хотел после тридцати, но стал отцом в двадцать восемь... Стихия, понимаешь?

А служба... Я же это, повелся на ипотеку, потому и приоделся в чекистский мундир. К тому же брали по связям – отцовский друг детства был заведующим нашего отдела; сам отец был ментом всю жизнь, а меня вот, видишь, размечтался чекистом сделать. И все было хорошо, он устроил меня, но через четыре месяца его друг помер. И все заглохло. Все те обезьяны, которые пришли со мной десять лет назад, уже получили свои квартиры, один я выплачиваю полноценную ипотеку. Иногда мне обещают, что помогут, устроят все, но я перестал им верить. Будь язык подлиннее, пошустрее, поглубже пролез в очко Павлу Лаврентьевичу, давно помогли бы, а так... – Его лицо снова помрачнело. – Ты просто пойми, зачем люди идут в ФСБ: когда восемнадцатилетний пацан узнает, сколько материальных благ может быть у него и сколько у его сверстников, тогда он угорваривает себя, что делает все правильно. А родители... Как родители были довольны! Батя в присутствии других играл в гордого отца, а мать, когда встречалась с родственниками или подругами, тихо, со значением говорила: “На его должности обещают помочь с ипотекой – в наши времена это так важно”. Меня корбило от этих фраз: меньше всего в этом возрасте пацан задумывается об ипотеке. Всю жизнь родители прожили в съемной квартире, а на меня вот понадеялись... Но я не распознал знак, повелся. Сам виноват, да?

А как хорошо было, когда не было еще никакой службы. Подростком, влюбленный в интернет, мечтал, что стану программистом – конечно, втайне от родителей. Однако отец, не спросив и не обсудив ничего с матерью, которой он больше не доверял после “экспериментов с музыкой”, настоял, чтобы я поступал в академию ФСБ. И я, хоть и не хотел, послушался его. Пока друзья бухали, пробовали наркоту и кайфовали с девочками, я проводил сутки напролет в подготовке к ответственной, *служебной* жизни. Затем, правда, случился один яркий период: некоторое время, ближе к окончанию академии, отец внезапно тяжело заболел, и я поработал на нормальной работе, программировал на фрилансе. Время, когда он болел, а я был свободен от него, было самым счастливым временем. Тогда я впервые попутешествовал, впервые влюбился, пристрастился к выпивке, во благо себе или во зло, не знаю, но пристрастился намертво. Какая-то яркая, осмысленная жизнь была, чувство жизни такой неподдельной, подлинной. Я чувствовал себя исполненным.

Что за эксперименты с музыкой? Да, мать хотела, чтобы я пошел в музыкалку, учился скрипке. Настояла, что “надо” заниматься музыкой, приобщаться к культуре. Мещанские привычки. Сама в юности мечтала посвятить жизнь музыке, но не сделала этого. Что мать, что отец – ничего не

добились, все на мои плечи свалили. Музыкалки, правда, хватило всего на год. После того как преподаватель в который раз ебнул меня линейкой по руке и я пришел домой с покрасневшими ладонями, родители обо всем догадались, и занятия “пришлось” прекратить.

А до этого еще дзюдо было, тоже *занятие мечты*. Туда уже отец загнал. Я не хотел в дзюдо, хотел в баскетбол или футбол, в командные виды спорта, где много людей, коллективная ответственность, но батя посчитал, что мне надо возмужать после приобщения к культуре, и я проходил без удовольствия три года. Правда, так и не победил, к его разочарованию, ни в одном соревновании: сплошные серебро да бронзы.

Хорошо помню день, когда я последний раз надел кимоно. Был полуфинал окружных соревнований, почему-то смежных, я должен был драться в полуфинале с девчонкой. Когда она опрокинула меня лицом на татами и из носа брызнула кровь, арбитр тут же остановил бой и засчитал ей победу. Я поднялся в слезах и с окровавленным лицом и увидел, что место отца на трибуне уже опустело. Он не стал дожидаться боя за третье место *после такого* позора. Он ушел ждать своего непутевого сына в машине. Мне кажется, он был готов бросить меня насовсем, но что-то все-таки удержало его. Бой за бронзу, понятное дело, я выиграл, но никому уже это не было интересно».

К этому моменту своего рассказа Толя снова отпустил мрачность и был глубоко грустен, рас-терян. Он говорил, говорил и говорил, затягивая Андрея все глубже в воронку своей неудачно прожитой жизни, своего нерасхлебанного прошлого; и Андрей уже не помнил, когда, в который час, несмотря на сопротивление, что-то оборвалось в нем, неприязнь позабылась, и он слушал Толю в оба уха, по-настоящему, сердцем слушал его, сопереживал ему и печалился за него. Точно из-под груди злобы и отвращения к нему, а точнее, к его службе, Андрею послышался крик о помощи. Толя был незнакомый ему человек и не должен был столько рассказывать о себе, но Андрей – или кто-то другой в нем? – почувствовал, что должен выслушать его.

«Я вот сейчас рассказал тебе это все, – произнес Толя подытоживающим голосом, глядя внимательно в одну точку, в которой точно собрались все его прошедшие годы, – и понял, что все в своей жизни делал не по своей воле. По материнской, по отцовской воле, по воле жены, по воле Павла Лаврентьевича, по воле детей, а по своей воле ничего не делал. Все в моей жизни протекало по чужой воле, по чужому “надо”. Как надо было другим, так я и делал. Я сам во всем виноват. Не было никакой стихии, а была одна чужая воля. – Толя закрыл глаза. – Знаешь, Андрей, почему я сразу вбежал на кухню, когда мы вошли?» – Андрей отрицательно потряс головой. «Не знаю», – ответил он. – «И хорошо, что не знаешь. Надеюсь, никто никогда не узнает».

Толя открыл глаза. Он не мог встать и попросил о помощи. Андрей подошел к нему, взял за руки, поднял его тело – Толя совсем не держался на ногах – и, следуя пьяным указаниям, донес до спальни комнаты и уложил в кровать. Лежа, Толя протянул ему руку, чтобы Андрей задержался. «В гостиной есть кресло, диван... Ложись, где хочешь». Андрей поблагодарил его. «Знаешь, – добавил Толя, глядя на него и приподняв края губ, из-за чего его лицо казалось задумчивым, – пока тебя не встретил, мне было так хуево. Никогда в жизни никому не рассказывал столько о себе. Сраная исповедь получилась, да?» Андрей усмехнулся. «Я увидел тебя на улице и зацепился за тебя. Направил все мысли на тебя, чтобы не думать, в каком блядском тупике очутился. Иначе не знаю, как, чего... А ты не испугался... Ты меня спас, да? Выслушал, дал выпустить из себя все, что тащил в себе. Никому в жизни не рассказывал столько, сколько тебе в эту ночь. Ни родителям, ни жене, никому. Никому не было интересно, кроме тебя. Только ты выслушал меня».

Толя повернулся на бок, спиной к нему, и подложил руки под голову. Андрей накрыл его одеялом, взял себе другое, прикрыл дверь спальни и ушел на кухню. Думал помыть тарелки, но отложил на утро. Взял потерявшую цвет чайную заварку, открыл дверцу под раковиной и увидел веревку в мусорном ведре и кирпич мыла.

Сознание быстро, мигом все схватило. «Вымазался и покаялся. Понятно». Чувства, настроение – все обнулилось. Андрей выкинул заварку, закрыл дверцу и ушел в гостиную.

В гостиной он лег на диван, накрыв себя одеялом. На улице светало. «А может, – подумал он, – он все соврал? Стал бы фсбшник мне рассказывать, что работает в ФСБ? Стал бы пересказывать свою жизнь?» Он лежал с открытыми глазами, никуда толком не глядя. «Но фотография-то его в ксиве, и имя тоже». Он вспомнил беспомощность Толи, его жалкую покорность судьбе.

Тогда же на столе что-то мигнуло под проблесками света. Что-то из кожи. Он подошел к столу. Это было портмоне. Андрей машинально раскрыл его: там было тысяч десять, не меньше. Он сразу подумал, что ему хватит до дома, что ничего не мешает прямо сейчас забрать деньги. «Восстановить справедливость, – проносилось в его сознании. – Стать тем, кто на вершине мира, кому везет. Или хотя бы тем, кто берет от жизни если не все, то хоть что-то. Ваню же ничего не смущало, когда он обокрал меня и бросил без денег и документов?»

Донесся шорох. Андрей бросил портмоне на стол и обернулся. Это был кот – огненно-рыжий, серьезный. Он прыгнул с кресла, со своего трона, и неспешными королевскими шагами подошел к нему, устремив по-львиному величавый прищур. «Или дожидаться утра, пока он не проснется, – подумал Андрей, не сводя ответного взгляда с кота. – Метро заработает. Доеду до вокзала – и домой. Уже светает, метро скоро совсем откроется». Кот остановился, больше не приближаясь к нему, держа дистанцию, но назидательного взгляда не сводил. Андрей тоже не двигался с места, смотрел в ответ. Им овладело чувство, что он смотрит куда-то глубже кота, дальше, чем видел перед собой. «Да, лучше отложить, – размышлял он. – Можно даже не спать, просто дождусь открытия метро и сорвусь».

Он отвернулся от кота, сел на диван, решив не ложиться, чтобы не уснуть. Его взгляд поплыл по комнате, затем по улице за окном, а затем направился на кота, возвращавшегося на кресло. Андрей сам не заметил, как мысли о портмоне ушли на край сознания, а в центре снова оказался прошедший день, точнее, вечер, воспоминания, которым он отдавался. Как Толя принес ему воды. Как пригласил в подъезд, накрыл в подъезде пледом. Как странное чувство охватило его на лестничной площадке. Как затем такое же знакомое чувство пробудилось из-за кухонного света, а затем за столом, когда Толя взялся исповедоваться. Он испугался его, хотел сбежать, но выслушал все, что он наговорил. И как будто помог ему этим. «А ведь в самом деле помог, – подумал Андрей, вспомнив веревку в мусорном ведре. – Спас жизнь этому идиоту. В самом деле спас». Ему захотелось рассмеяться, но почему-то не вышло. Кот уже опустил голову на лапы, собирался спать.

Он перевел взгляд на утреннее небо за окном, на умножавшийся свет. «Кто светел, тот и свят», – вспомнил он слова из старой песни. Затем новая мысль врезалась в сознание: знакомое чувство в подъезде, когда он лег на лестницу, было напоминанием об отце. Да, отец. Лежал на полу, без сознания. Нашел его уже мертвым. Подбежал к нему, хотел поднять его, а у него изо рта кровь течет. Опоздал.

Сознание умолкло. Андрей притих. В безмолвии, его охватившем, он прислушался к сердцебиению. Ему снова вспомнилась кухня, слабый свет, исповедь Толи. Собственное чувство сопротивления. Нужно было что-то сломать в себе, чтобы услышать другого человека. Живого человека. Также знакомое чувство. Так же, кажется, когда-то сопротивлялся чему-то. Ему снова вспомнилось мертвое тело отца на лестнице.

Словно из ниоткуда, без предупреждения он увидел перед собой картину из детства. Вечер из начала девяностых, отец пришел домой вдребезги пьяный. Единственный раз в жизни пришел пьяный, еще и в ссадинах, с потрепанными волосами, со рваным рукавом рубахи. Встал на пороге дома, стыдливо поглядел на них и опустил голову. Андрей тут же онемел, испугался его. Он никогда не видел его в таком виде. Бабушка сразу посадила отца на кровать. Он не отвечал на ее расспросы. Затем, когда она сама замолчала, он виновато развел руками, потряс головой и, не поднимая взгляда, забормотал, еле связывая слова, перебивая рассказ руганью, которой он никогда больше не слышал от него. Отец ввязался в дело с ментами, в котором его, конечно, обманули, раздели, сделали крайним и выплюнули на обочину. Отец замолчал, как договорил. У него запрыгала нижняя челюсть, он схватился за виски, резко замычал и разревелся, громко и безостановочно. Бабушка в испуге сразу взялась его утихомиривать, но он оттолкнул ее, и она

убежала на кухню за валерьянкой. Андрей же, позабыв про собственный испуг, почувствовал, как что-то треснуло, оборвалось в нем, – и он взял отца за руку, сжал ее изо всех сил и закричал: «Папочка, перестань! Перестань плакать, папочка, перестань!» Ему хотелось отнять всю его боль, все унижение, им пережитое, хотелось раствориться в нем и облегчить его страдания. У него не получается вспомнить, смог ли он тогда сделать этого. Ему вспомнилось только, что они сидели вдвоем с отцом, схватившись друг за друга, как за утопающих, и ревели навзрыд. Бабушка успокоила их: у нее были твердые нервы и крепкое сердце.

Андрей снова вернулся в настоящее время, в комнату, в которой были только он и спавший кот. Волной накатила усталость, и Андрей все-таки лег. Подложив забинтованные руки под подушку, он глядел перед собой. На следующий день отца увезли в город, отдали под следствие. Ему он сказал, что едет на какую-то стройку, оставит его на время с бабушкой. Сказал, что нужно на время проветрить голову, сменить обстановку, не более. Через неделю состоялся липовый суд, отец не произнес ни слова; его приговорили к шести годам колонии строгого режима. Бабушка ни о чем не рассказывала. Все шесть лет Андрей скучал по отцу, чувствовал себя провинившимся. Через шесть лет отец вернулся другим человеком, с другим лицом, взглядом, морщинами. Былой близости, теплоты между ними уже не было, но он все равно старался быть хорошим сыном. Он уже знал всю правду к тому времени. Все знал и старался быть хорошим, достойным сыном. Однажды, когда он уже повзрослел, отец сказал ему: «Не вздумай мстить за меня. Не человеку мстить и воздавать».

Андрей слабо рассмеялся, пока в сознании проносились мысли: «Уехал в город, на стройку, конечно. Оставил меня одного. Ну да. Никого не напоминает? Как мы, оказывается, похожи. Как похожи!» Он засмеялся еще громче, и с кресла блеснул недовольный взгляд кота.

Прошло двадцать лет. Смерть и похороны отца, глупое увольнение Андрея, беременность жены, сын и его бессилие перед обстоятельствами, его страх. Внезапное желание сбежать в Москву, или попытать удачу в диких условиях. Неудачи. Бездомность. «Как Толя сказал? Нет стихии, есть только чужая воля и собственная вина, – подумал Андрей. – Я сам привел себя в это положение, точно сознательно делал все, чтобы мое положение в Москве ухудшалось, – словно наказывал себя за неудачи, за то, что думал, что так не похож на отца. За то, что не спас отца от тюрьмы. За то, что в действительности я так похож на отца».

А может, он не наказывал себя, а просто испытывал себя на прочность? Где страх, там и испытания. Надо было понять, хватит у него мужественности или нет. Есть у него достоинство или нет. Ведь его отец пережил следствие и суд, никого не сдав, пережил тюрьму – с достоинством, мужественно, молча. Может, теперь его мучения, испытания позади?

Может, теперь он вернется домой?

К этому времени за окном уже было совсем светло. Утренний золотистый свет разливался по улице и задевал комнату. Полусонный, Андрей снова прокрутил в сознании разговор на кухне, благодаря которому воскресли воспоминания об отце, благодаря которым ему открылось, зачем он уехал от семьи. «А если бы я испугался Толи и не выслушал его? Если бы я отвернулся от него?» И следующий режущий вопрос: «А если бы Толя, находясь в отчаянии, отвернулся от меня, не спас меня прошедшей ночью?» Андрей увидел перед собой жалкое лицо Толи, который, несмотря на все несчастья, несмотря на отчаяние, тоже спас ему жизнь. «Казалось бы, – произнес он про себя, – двое самых невезучих, самых несчастливых людей в этом городе, по всем правилам враги – а спасли друг другу жизни». И снова все озарилось, вспыхнуло ослепительным светом в сознании Андрея: «Получается, я связан не только с отцом, не только с родными, не только с семьей, не только с теми, кого знаю и люблю – но и с Толей, с незнакомыми мне людьми, с теми, кого почему-то не люблю. Я со всеми ними связан невидимой нитью. Мы все связаны друг с другом невидимой нитью». И последний вопрос, окончательно выжегший его изнутри: «А кто эту нить связывает между нами? Кто нас всех связывает друг с другом?»

Андрей перевел взгляд со света на кота. Он по-царски, подложив обе лапы под подбородок, мирно спал. Было в нем что-то величественное, неземное. Глядя на него, Андрей вспомнил про

портмоне. Он удивился, как просто сначала осудил Толю, а затем решил, что ограбит его. Ограбит человека, который спас его от очередной ночи на улице. «Пережил бы я еще одну ночь? Не уверен. А если бы я его ограбил? Я бы только ухудшил свое положение. Получил бы деньги, да, но не прекратил стихию, чужую волю, дурной круг, в который попал, в который загнан с самого начала. Только усугубил бы все и свое наказание. Мне не нужны деньги, да и не за деньгами я поехал в Москву». Эта мысль была последней мыслью. От усталости и перенапряжения его тело и ум вконец обессилели.

Андрей накрыл спину одеялом и тут же уснул.

На следующий день его разбудил Толя – добрый, нелепый, с бестолковым взглядом и извинительной улыбкой. Накормил его, напоил чаем, написал на клочке бумаги адрес центра социальной помощи бездомным, уговорил взять денег и – как показалось Андрею, не без облегчения – проводил до метро.

Перед прощанием Толя ни с того ни с сего сказал, что у него настроение прожить нормальный день, полный обыкновенных радостей и удовольствий: взять хинкали в грузинской забегаловке, живого нефilterованного пива в соседнем подъезде и, развалившись на диване, посмотреть футбол. «Может, зарядить немного, коэффициент больно хорош», – добавил он, чуть смущаясь и кивая на телефон в руке. Андрей никогда не делал ставок, поэтому не знал, что сказать. Он пожал Толе руку, еще раз поблагодарил за ночлег и попрощался.

Он приехал на вокзал, пообедал в фастфуде и выпил кофе из автомата, пока ждал вечерний поезд. В поезде он дал взятку проводнице, чтобы она закрыла глаза на отсутствие паспорта, и уже в пути подслушал разговор двух молодых толстобрюхих соседей, как один из их друзей накануне дня смерти провел самый обычный, самый нормальный день с самыми естественными радостями. По неизвестной причине, перед тем как наложить на себя руки, их другу были важны не близкие, не родные, не дети и не истина или смысл жизни, а сон до полудня, сытный обед, бутылка столового крымского вина, спокойный, самый обыкновенный вечер с любовницей в бильярдной, а затем ночная прогулка в районном парке в одиночестве, после чего он сел в автомобиль, отправился на опустевшую дачу своих родителей, отыскал на чердаке Вальтер модели ПЗБК, принадлежавший его деду, служившему в ГРУ, аккуратно положил его укороченный ствол себе в рот, зажмурил глаза и выстрелил.

Ночью Андрей спрашивал себя, правильно ли поступил, что оставил Толю. Но в ту ночь ответа на вопросы он не нашел. Вместо ответа ему приснился странный сон: будто поезд доставил его не в родной город, а в больницу, где он отчаянно хотел узнать, все ли в порядке с Толей, но вместо этого его отправили в операционную, накрыли одеялом и незаметно отняли указательный палец правой руки. Когда он спросил врача, зачем он это сделал, то получил ответ: «Чтобы выбирать больше не приходилось». Тогда Андрей спросил, куда же ему теперь идти без указательного пальца, и доктор кивнул на кота из гостиной, тоже находившегося в операционной, и спокойно ответил: «За ним и иди». Когда Андрей захотел подняться с операционного стола, чтобы пойти за котом, то ударился головой о койку сверху и проснулся. К тому времени его толстобрюхие соседи уже отложили в сторону серьезные разговоры и, опустошив пару двухлитровых пластиковых бутылок черниговского пива, обсуждали «хохлов».

К утру Андрей приехал в родной город. На последние деньги из тех, что ему дал Толя, он доехал на автобусе до дома. Лифт, как обычно, не работал, и он поднялся по лестнице. Волнуясь, постучал в дверь квартиры. На вопрос Наташи, кто это, он ответил: «Это я, Андрей». Дверь чуть не отлетела. Наташа стояла, глядя на него секунды две-три, не веря своим глазам, а он смотрел на нее – живот ее совсем округлился, – и она тут же запричитала его: что случилось, где был, почему так выглядишь?! Затем уже остыла, обняла его, расцеловала и пожалела, и уже по-другому, по-родному, по-матерински спросила, что случилось, где он был и почему так выглядит.

Все родные и близкие были напуганы и обеспокоены его с Ваней исчезновением: их в самом деле искали, отправляли запросы в милицию, в вокзалы, в больницы, в морги, в центры социальной помощи, но единственное, что им удалось выяснить, это то, что в первых числах декабря на обледеневшей Москве-реке был найден труп мужчины средних лет – им, как позже выяснилось, оказался Ваня. Что с ним приключилось и как он там очутился, точно выяснить не удалось, но, по всей вероятности, его туда сбросили, столкнули, то есть это было убийство. Никто, кроме Наташи, не узнал, каким образом Андрей оказался на улице.

Из дома Андрей никак не мог выяснить что-либо о Толе. Телефона его у него не было, в социальных сетях его обнаружить не удалось: оно и не удивительно, ведь если верить этому чудаку, он был чекистом. Андрей не без смеха вспоминал ту ночь и при этом беспокоился за судьбу этого человека, спасшего ему жизнь.

Спустя несколько месяцев, летом, когда он восстановил мобильный номер и документы и готовился к поступлению на полставки преподавателем истории в университете, ему позвонили с московского номера. Незнакомый женский голос поинтересовался, куда отправить деньги; оказывается, круглолицый бригадир в самом деле собирался отправить – и отправил – обещанные деньги.

Уже через много лет, пять или шесть, они с женой и детьми отправились на несколько летних дней в Москву: погулять, посмотреть город. Перед поездкой и в дороге Андрей переживал, что на него нахлынут воспоминания, особенно когда он пойдет по улицам, по которым беспомощно плутал в одиночестве пять или шесть лет назад.

В первый московский день – это был предосенний августовский день, с самого утра собирался дождь – они спокойно спускались по Мясницкой и разговаривали с женой о самых обычных вещах, о ценах на жилье или следующем отпуске, а иногда со своими вопросами в их разговор вклинивались дети. Младший, больше напоминавший мать, требовал вкусной еды, а старший, похожий по настроению на отца, глядел на серое небо, забитое тучами, и спрашивал: «Дождь скоро пойдет, а дождь – это погода со смыслом, так, папа?» – «Наверное, Коленька», – отвечал Андрей, в очередной раз гадая, откуда к нему приходят такие вопросы, и вернулся к разговору с женой о предполагаемых ценах на жилье в Москве, о возможной поездке в Петербург, если получится сэкономить денег.

Они прошли по переходу и вышли на Никольскую улицу. Андрей увидел со спины бездомного мужчину-попрошайку – сидел, прислонившись спиной к стене дома, второго по правой стороне. Его фигура показалась Андрею знакомой. Ничего не говоря, он оставил жену с детьми, подошел к мужчине и заглянул ему в лицо – но не узнал в нем того, кого искала его память. Бездомный поглядел на Андрея удивленным взглядом пьяного человека и спросил мелочи «на бухло». Андрей безразлично покачал головой и вернулся к жене и детям.

На вопрос жены, все ли в порядке, Андрей нерешительно кивнул, и они спустились по Никольской к Красной площади.

Евгений СОШКИН

Шедшая впереди стала падать,
Но падала странно медленно
И почему-то не ускоряясь, а замедляясь.
Можно было поймать ее на лету,
Но и я как будто замедлился.

Потом она привалилась к асфальту,
К его горизонтальной стене,
И ударила по нему почти без размаха
Своим затылком египетского образца.

Потом ее приподняли (я тоже),
Усадили (я тоже и подал солнечные очки),
Поставили на ноги,
И всё это с какой-то суетливой поспешностью,
Хотя почему бы ей в самом деле не полежать? –
Как будто чувствуя свою вину,
Торопясь поднять упавший по нашей вине предмет,
Поставить на прежнее место,
Притвориться, что ничего не было.

Сблизи она смахивала на цыпленка с пухом на голове,
Бодро перешагнувшего порог сенильности.
Сразу очухалась и принялась уверять, что с ней всё в порядке, полный порядок.
Ее спутница, выше ее, вероятно дочь, тоже старая, лысеющая,
Поддерживала ее и плакала, говоря, что ненавидит эти туфли,
А та высмеивала ее в третьем лице, вот глупая, *метумтетет*,
Я ушиблась, а она плачет. Вот смотрите, я в полном порядке, могу станцевать.
Она стала показывать, как она может станцевать, а дочь продолжала плакать.
Это было еще безобразней, чем звук столкновения головы с тротуаром.
Казалось, ее душа переселилась в ту, что стояла рядом и проливала слезы
Над ее танцующим телом.

Евгений Сошкин родился в 1974 году в Харькове. Автор книги стихов «Лето сурка» (2011), монографии «Гипограмматика: Книга о Мандельштаме» (2015), статей по истории, поэтике и теории литературы, один из редакторов журнала «Солнечное сплетение» (1998–2004), научных сборников «Империя N: Набоков и наследники» (2006), «Генделев: Стихи. Проза. Поэтика. Текстология» (2017) и др. изданий. Стихи публиковались в журналах «Воздух», «Двоегочие», «Зеркало», «Новое литературное обозрение», «Носорог», «TextOnly» и др. Живет в Израиле.

Баллада об адском огне

*Привыкнуть можно ко всему, даже к жизни.
Услышав, как при нем оплакивают участь
грешников, горящих в адском огне, Лафонтен
заметил: «Льщу себя надеждой, что рано или
поздно они привыкают и начинают чувство-
вать себя там, как рыба в воде».*

Шамфор

средняя англия
кропилась дождем
под ней преисподняя
горела огнем

в самой серёдке
в самом низу
белел белый шум
зудел ровный зуд

там новобранцы
сквозь липкий дым
сбившись в кучу
просили воды

но серная морось
кислотная мга
испарялась прямо
около рта

встречавшие
раскрыв зонты
запахнув плащи
дали цветы

пришли все
кто имел скелет
и простые чины
и сакралитет

они поздравляли
свежий призыв
худшим из худших
вручали призы

а кто на земле
не служил злу
и не был другом
его слуг

кто был заступником
сирот и вдов
тому грехи
отпускались в долг

средняя анлия
кропилась дождем
под ней преисподняя
горела огнем

бокс маленький но всё помещается
под антресоль приспособили перевернутую кровать
лиза и я считаем мещанством
снимать квартиру но не рожать

лиза ходит как шахматный конь а я по-тюленьи
передвигаюсь а сплю в очках на спине
на моих свитерах бугорки от ее коленей
мы принимаем ванну из пены дней

лиза отлично знает что я не умею злиться
и тем не менее любит меня дразнить
когда выпадут зубы дразнит меня лиза
будет удобней целоваться без них

Баллада канатной дороги

порется огонь домотканый
хлопковый льняной конопляный

в черные сыпучие росы
ноги зарываются босы

в черной высоте колокольной
колокол висит безглагольно

и с цепи не рвется ушатом
в черноту колодезной шахты

свечек нарвала у причала
нишкни камышу прошептала

к лодочнику села сам-третьей
лодочник того не заметил

только закряхтел от балласта
половина свечек погасла

берег подымался отлого
до горы с канатной дорогой

на гору тянулись канаты
над лыжни полоской несжатой

ехала в чудной стеклотаре
с давешним попутчиком в паре

а с горы что вся клокотала
встречная ползла стеклотара

сидя неестественно прямо
то по одному то попарно

в новых картузах и косынках
мертвые тряслися в кабинках

дед семёныч с желтой медалью
кузнецов с цыганкой наталей

генка с настей маечка с верой
тетя рая с дядей валерой

тетя галя об руку с мамой
баба люба с курицей рябой

хлопает огонь полотняный
что же ты видала светлана

Пчелиная баллада

например ты вышел из комы
напиться колы
тут как тут смотровые пчелы
уж мы заждались

стерильными хоботками
взяли мы кровь христову
и отправили по кровостоку
в банк крови

всю до последней взятки
чтоб не загустела
душа твоего тела
пахнувшая гречихой

но теперь
прикованный к столбику ртути
о святотрутенъ
ты наш спаситель

мы покрыли тебя
мохнатым войском
заткали воском
уста и ноздри

чтоб не выдал себя
ни пульсом ни разговором
чтоб ни зверь ни ворон
не позорил тебя

это началось после седьмого укола
моя девочка пришла волоча бинты
и в зубах ее желтых как молоко
были не тапки а лоскуты

и в подставленный слуховой аппарат
молча дышал как хулиган в интерком
немолодой уже комарик-кастрат
с аккуратно подпиленным хоботком

а мои любимые перепела
запеченные на все голоса
стали не пепел и не зола
до восхода теста за полчаса

Мальчик-с-пальчик

сынок великана фермера
хоть был его меньше втрое
море глотал на первое
сушу глодал на второе

да и жена великана
была не то чтобы маленькая
во рту громадные камни
запросто перемалывала

их девочки вечно спавшие
круглые как мишень

обе пошли в папашу
% на 96

они покато храпели
и чтоб маму позвать
храпом двигали мебель
даже свою кровать

...мужчины ушли за торфом
мать шила я не спеша
разматывал шнур бикфордов
и ни одна душа

меня не видела кроме
злющей суки в прыжке
что плавает в луже крови
как мой окурок в плевке

к концу ежедневной солнца кремации
дворик нашего монастыря
покрывается мелким цветом акации
точней покрывался бы если б не я

тут с утра до вечера крутятся пчелы
задевая слабые лепестки
и как очумелые мукомолы
поднимая тучи цветочной муки

да еще маршрут обезьяньей стаи
по ветвям от стены до стены пролег
и все-таки наш настоятель настаивает
чтобы я подметал весь день напролет

даже ночью сквозь шум источника
с самого дна глубокого сна
я услышу как желтая точка
сорвется – и нет им, нет им числа

а ни свет ни заря подскочит кочет
и заиграет пчелиный сбор
до чего ж мне порою хочется
выбить этот желтый ковер

но наша корова – такая старая
что крестец торчит как рогов острия –
наблюдает за мною как аватара
настоятеля нашего монастыря

Птица пират

когда еще в мир
не пришел копирайт
а подпись была
только пробой пера
в те дни человеку
вверялась в опеку
большая надежная
птица пират

она повторяла
худые слова
она приносила
в когтях острова
над птичьим базаром
она птерозавром
отвесно плевала
на птичьи права

мы счета годам
не вели за кормой
пока не заспорил
пират мой со мной
и шпагой пирату
грозил я как брату
вращая белками
и брызжа слюной

наутро я бросился
к богу утрат
и он приклонил
слуховой аппарат
но след ее в тучах
простыл уж горячий
той птицы
которую звали пират

Ребенку мне мама не раз,
Присев у постели моей,
Певала красивый романс
Ямщик, не гони лошадей.

И, как на античных ристаньях,
Со свистом и гиком ямщик,

На козлах азартно привстав,
Нахлестывал тех горемык.

Мне было всегда невдомёк,
Хоть я и смущенно молчал:
Зачем сердобольный ездок
Упрашивает лихача?

Он барин, ему ли просить?
Как будто нельзя приказать!
С чего б это вдруг по Руси
Ямщик разъезжал как хозяин?

А что он бормочет под нос,
Махорки в него натащив, –
Куражистый, бритый под ноль,
Широкобородый ямщик?

Рисково летать на таком –
Такой порешит за пятак,
А кто не богат пятаком –
Того порешит и за так.

Но вот поездов перестук
По шву распорол горизонт,
Карета с версты на версту
Начнет загребать колесом

И лошади, будто в чаду,
Доскачут до первых машин, –
Он скоро поймет, почему
Мне некуда больше спешить.

последнее время я всё роняю
но всё успеваю поймать
правда счет уже все равно не сравняю
нереально в таком формате

но когда бредущая в одеяле
по пояс и в сквозняке
по щиколотку на спутниковом канале
ужасов из ночного пакета

добредет я скажу ей ты изменилась
глупо скрывать озноб

но ты не худшее что со мной случилось
и лучшее что могло бы

это будет любовь с последнего взгляда
и я выйду с ней на просторы
нескончаемого камнепада
в широкий дверной костер

как срубленные генеалогические деревья
уносимые течением и как сброшенные рога
с нанесенными на них равными деленьями
с побегами

то вымывающими небесные берега

то

в зависимости от ветки метафоры
создающими запруды на пути верхних вод –
что впрочем нисколько не уменьшает трафика
вымыванием берегов компенсируется с лихвой –

летят поезда обгоняя дождевые цистерны
которые тоже стягиваются к африканской зиме
хрупкие сосуды кровеносной системы
раскинутой до краев небесных земель

так над серыми покосившимися ливнями
сливаясь как сливаются давние дни
над нашим домом ветвящимися клиньями
расплетенными ручьями текут журавли

Журавли накануне

журавли на озере хула кукурузную дань собирали
амбарами на колесах люди доставляли ее
откупаясь от этих воздушных пиратов
чтоб долину не обратили в жнивье

а после все эти зерна хлопьями опускались
так и не достигая земли и воды
витая как споры в фильмах про постапокалипсис
где последние люди разбивают первые сады

и зонтами солнечными раскрываясь попеременно
над кормушками выкупленных полей

журавли красиво сбрасывали экскременты
как будто ребенок выругался тысяча журавлей

На предполагаемую смерть Машеньки

над тобой склонились
братья дождь и град

брат акупунктурщик
и брат гомеопат

за тобой приехал
наш мусоровоз

мыши и гекконы
водят хоровод

В крытом бассейне росли ихтиандры,
Цапли свободно паслись.
Ежевечерне с дальней веранды
Звуки рояля неслись.

Людам-кораллам эти концерты
Были как сладостный зов.
Цапли – и те разевали пинцеты,
Выпустив скользкий улов.

Каждый из нас бы встал у штурвала,
В темной пучине погиб...
Но не для нас пианистка играла –
Что ей какой-то полип!

РАССКАЗЫ

Бешенковский

А.Б.

Каждую свою фразу Борис Ефимович Бешенковский начинал либо со слова «сволочи», либо со слова «идiotы». Сделала его таким жизнь. В армию его призвали в мае 1941 года. Часть, располагавшаяся в белорусском Пинске, с ходу оказалась в окружении. Кто-то погиб в первых боях, кто-то оказался в плену, уцелевшие прятались в лесах, в непроходимых болотах. Их бомбили, травили собаками, на них охотились снайперы, их предавали местные. В середине декабря Борис вышел к своим. Точнее – выполз. Страшный, в лохмотьях, в кровавых язвах, о таких говорят – выходец с того света.

Его привели в себя и вернули на фронт. Он стал сапером. Прозвище у него было Борька Бешеный. На войне таким, как он, цены нет, но за месяц до Победы, когда часть стояла в Котбусе, его спешно демобилизовали, направив в одесскую психиатрическую клинику на Слободке с диагнозом «временное помешательство на почве пережитого». Сейчас бы это назвали посттравматическим синдромом.

На Слободке он встретил Фаину. В июле 41-го немецкая авиабомба взорвалась во дворе дома на Херсонсой, где жила ее семья. Когда ее откапали из под руин, серую от пыли, как гипсовую статую, она открыла глаза и обнаружила, что в окружавшем ее мире исчез звук. Она оглохла. Под обломками остались родители, бабушка и младший брат. Девочку забрала к себе соседка. Когда начались регистрация и сбор евреев, им удалось уехать к родственникам соседки на хутор под Балтой, где Фаину стали называть Ниной. Она рано примирилась с потерей родных – авианалет спас их от участи 90 тысяч одесских евреев, расстрелянных в пригородных балках или сожженных румынами в артиллерийских складах на Люстдорфской дороге.

Вернувшись домой, она устроилась нянкой на Слободке. Большинство пациентов не были психами в медицинском смысле, в основном баротравмированные, в смысле контуженные, ну и другие, конечно, – навидавшиеся ужасов, потерявшие себя. В больничном дворе они часто дрались, остервенело, насмерть. Насилу оторвав их друг от друга, санитары вели их на гидротерапию. Борис кричал во сне. Ему казалось, что ледяная болотная топь снова засасывает его, еще чуть-чуть – и он начнет глотать вонючую жижу. Один раз, когда Фаина давала ему бром, он попросил ее лечь рядом с ним, легонько похлопав ладонью по одеялу, и она, уступив его молящему взгляду, легла. Наверное, он был симпатичен ей. А может быть, напоминал кого-то из

Вадим Ярмолинец родился в 1958 году в Одессе. Окончил факультет романо-германской филологии Одесского университета, работал в газетах «Моряк» и «Комсомольская искра». В 1989 году эмигрировал в США, работал в газете «Новое русское слово». Публикации в журналах «Октябрь», «Новая юность», «Новый журнал», «Вопросы литературы», «Новый мир» и др. Автор трех книг прозы. Постоянный автор журнала «Волга».

родных. В синей душевнобольной ночи он сжал ее руку и замер. Его неподвижность сказала ей лучше всяких слов, что без нее он погибнет. Тогда жалость часто заменяла любовь.

Санек всегда помнил отца старым. Всушенный, с костистым лицом, перебитым носом и тяжелым как камень взглядом. Зимой и летом он носил вытянувшийся и залоснившийся пиджак с пестрым прямоугольником наградных колодок на левой стороне. Он ходил, опираясь на палку, которую часто пускал в ход не по назначению. Он никого не боялся и никогда не думал о последствиях. Он стучал своей палкой в любые двери, пока не добивался своего. Милиция с ним не связывалась.

Местный гастронм на Ольгиевской и Коблевской взял над ним шефство, как над ветераном войны, чтобы только избавиться от его визитов. Раз в неделю домой Бешенковским приносили фанерный почтовый ящик, в котором лежали кило мяса, колбаса, сыр, банка рыбных консервов и шкалик. Фаина Михайловна ахала и, прикладывая руку к груди, показывала, как она благодарна.

Во дворе им завидовали, но попрекать опасались.

9 мая Борис Ефимович шел на парад. Перед выходом он заглядывал в зеркало, плюнув в ладонь и проведя ею по волосам, он вопросительно смотрел на стоявшую рядом Фаину Михайловну. Та показывала большой палец. Он привлекал ее к себе и, скосив рот, целовал в висок.

На улице он оглядывался по сторонам, нет ли какой опасности, поправлял кепку и шел на звуки военного оркестра, доносившиеся из Городского сада. Знакомые марши, кажется, возвращали его к дням боевой молодости. Он двигался быстрее обычного, выбрасывая палку далеко вперед и сильно отталкиваясь ею от асфальта, когда она оказывалась позади. Вид его говорил: «Дайте мне еще одну войну – и мало вам не покажется».

Санек учился кое-как, но по понятным причинам родителей в школу не вызывали. Единственный, кто был им доволен – учитель физкультуры: малявка, руки как вермишель, а вот подпрыгнет, вцепится в перекладину, качнется раз-другой, забросит ноги, подтянется, перевернется, выйдет в упор. Намекнешь ему, что по канату поднимаются не руками, а ногами, он тут же сообразит и раз-раз-раз – уже под потолком. А мышцы что, – мышцы нарастут. После 8-го класса его приняли в московское цирковое училище.

Борис Ефимович напомнил о себе очень скоро. Безо всякого предупреждения он приехал в Москву проверить, как устроился его артист. Он появился у манежа, где занимались студенты, и стал высматривать сына. На манеже его не было, он был в воздухе. Он стоял на руках на лесенке, которую удерживал на мощных плечах молодой циклоп в застиранной майке и синих рейтузах с вытянутыми коленями. Педагог подавал команды:

– Саня, зад подтяни! Легкий перевес вправо и отрывай левую руку!

Санек отнял левую руку от верхней перекладины и замер на правой. Он делал все так легко, словно находился в безвоздушном пространстве. Соученики, оставив занятия, смотрели на него.

И тут в тишине раздался скрипучий голос Бориса Ефимовича:

– Идиет! Ты же убьешься! Слезь оттуда немедленно!

Когда растерявшийся педагог направился было к нему, Борис Ефимович встретил его посвоему:

– Сволочи, вы что, хотите угробить мне единственного ребенка?

Красный от стыда Санек бросился к нему со словами «папа, прекрати!», но Борис Ефимович ничего прекращать не стал. Напротив, он только начал:

– Идиет! Ты не мог устроиться жонглером?! Посмотри кругом – все нормальные люди жонглируют, а ты полез я не знаю куда! Кто будет собирать твои кости? Я? Или твоя мама? Уже лучше бы ты стал клоуном!

Папу отвели к директору. К счастью для училища в частности, и для всего советского цирка в целом, директор тоже был ветераном. Два солдата встали друг против друга – директор и Борис Ефимович – и в течение двух напряженных минут изучали боевой путь друг друга – по наградным колодкам. Потом директор сказал: «Зайди!» Дверь за ними закрылась. Потом секретаршу

послали в гастронорм. Потом позвали Гену из оркестра, и он прошел в кабинет, прижимая к боку красный немецкий аккордеон. Директор любил петь.

Было темно, когда два фронтовика вышли в приемную к поджидавшим их секретарше и Саньку. В дверях визитер сказал директору: «Ну, шо, Толян, держись тут!», и их руки сцепились в рукопожатии как железные механизмы. Когда отец шагнул в коридор, директор подмигнул Саньку, и тот понял, что все в порядке – клоуном он не будет.

С годами Санек научился пользоваться отцовским талантом. Когда кончались летние каникулы и в кассе железнодорожного вокзала не было билетов – москвичи возвращались из отпуска к началу школьного года, – он запускал в дело отца. Борис Ефимович не шел к окошечку, где толпился простой народ, он сразу поднимался на второй этаж к обитой крашеной жестию двери и бил в нее своей палкой.

До Санька долетали тихие голоса:

– Кто это?

– Это наш контуженый.

В двери открывалось окошечко.

– Борис Ефимович, что вам надо?

– Мне надо один билет на московский эшелон.

Он продолжал называть поезда эшелонами.

– На московский все продано.

– Сволочи, вы хотите, чтобы артист ехал как мешочник на крыше? Вы не знаете, что вас ждет!

Окошечко захлопывалось. Борис Ефимович наносил еще один удар, чтобы по ту сторону двери о нем случайно не забыли. Но о нем помнили. Окошечко снова открывалось и ему подавали билет. Санек возвращался на занятия в купе СВ, которое берегли для больших шишек.

Однажды отец помог по-настоящему. Получив свою первую работу после окончания училища, Санек задумал собрать денег на фирменные джинсы. Дрессировщик Вовка Ежиков, которого все, ясное дело, называли просто Ежиком, привез с венгерских гастролей клешеный «Супер-райфл» такой неописуемой синевы, что от вида ее можно было ослепнуть. Ежик запросил 150 рублей. Санек втиснул ему четвертак в залог, умолив дать две недели – приближались новогодние елки на предприятиях – самое хлебное для цирковых время. График был напряженным, но Санек был в таком ажиотаже, что не замечал усталости. Оставался последний рывок – выступление в Твери.

Номер у него был уникальным, знающие люди прочили ему место в Книге рекордов Гиннесса или еще какой-нибудь энциклопедии. Он поднимался по десятиметровому першу, который удерживал его нижний – Вахтанг. На вершине перша была крохотная площадка. Выбравшись на нее и взявшись за ее края, Санек делал стойку на руках и медленно опускал ноги, складываясь вдвое, затем выпрямлялся и разбрасывал руки – вуаля! Ну, не красавец?! Зал переставал дышать. Очень медленно Санек делал полуприсед, давая понять публике, что главное только начинается. Потом барабанщик давал продолжительную дробь, завершая ее ударом по тарелке. Санек подпрыгивал, делал сальто-мортале и возвращался ногами на площадку. Зал и оркестр взрывались в совершеннейшем восторге. Вот это мастерство! Вот это советский цирк!

В тот вечер поднимавшийся по першу Санек думал только об одном – от заветных джинсов его отделял этот один прыжок за девять рублей, как за номер высшей категории сложности. Действуя спокойно и размеренно, он сделал стойку на руках, потом встал на ноги, переждал аплодисменты, дробь, присел, и ноги привычно подбросили его на точно рассчитанную высоту. Делая оборот, он услышал, как щелкнул карабин, который, видимо, не прошел до конца в кольцо на пояс и не застегнулся. Краем глаза он заметил отлетевший в сторону страховочный трос. Его ударила мысль, что теперь зрители увидят, что номер был не таким опасным, каким казался – у него была страховка. Испуг, рожденный этой мыслью, нарушил его движение на какой-то микрон, даже миллимикрон, но контроль был потерян. Завершив оборот и точно встав на площадку, он почувствовал, как она пошла вперед, и еще заметил, как под ним пытается удержать перш Вахтанг.

Зал хором ахнул, потом закричали, потом воздух из его легких вышибло, и пока они судорожно пытались вернуться к своей обычной работе, кто-то в желто-розовом мареве над ним сказал:

- Посмотри, какой маленький.
- Карлик, что ли?
- Нет, не вырос просто.
- Теперь уже не вырастет.

Его съезжившееся от шока сознание ухватилось за эти слова «вырастет-не вырастет» и стало перебирать и взвешивать их, словно пытаясь за этим занятием не померкнуть окончательно.

Борис Ефимович прибыл в Тверь на следующий день, и тут же в самых высоких кабинетах начались телефонные переговоры: «Тут к нам один ветеран постучал. Герой-подрывник. Что подрывал? Все подрывал: мосты, поезда, самолеты. Спроси лучше, что он не подрывал. Полный кавалер ордена Славы. Осколков в нем по весу еще больше, чем орденов. Сын – звезда манежа и будущая мировая знаменитость, Покалечился страшно. Надо спасать». Санька перевезли в травматологическое отделение кремлевки. Он провел в гипсе, распятый на каких-то невиданных американских распорках, полгода.

Ремонтировавший его врач был оптимистичен:

- Молодой, выкарабкаешься. И чтобы контрамарку мне в первом ряду сделал!

Санек, вот она отцовская кровь, выкарабкался.

Когда он появился в цирке, Ежик, сделав недовольное лицо, вернул ему его четвертак со словами: «Старик, пойми, я даже не знал, встанешь ли ты на ноги. Не ездить же на инвалидном кресле в джинсах, правильно я говорю?»

В 90-х Санек с армией других работников манежа пустился в бесконечное мировое турне, в конечном итоге осев в Бруклине. Он завел пуделька Кешу и выступал с ним на детских днях рождения. Санек брэнчал на укулеле, а Кеша подпевал. В смысле подскуливал. Все смеялись. Один раз их даже показали по телевидению. Короче говоря, отбоя в заказах у этой парочки не было.

Когда Санек получил грин-карту, Борис Ефимович выразил пожелание проверить, как устроился сын.

- Папа, пожалуйста! – сказал Санек. – А если маму прихватишь, так еще лучше будет!

Санек скучал по старикам. С возрастом конечность их жизни, да и своей тоже, стала ощущаться острее, поэтому и к их несовершенству он теперь относился терпимее.

Борис Ефимович приехал один. Время не тронуло его. Та же покосившаяся набок фигура на палке, тот же тяжелый взгляд из под кустистых бровей, та же зажатая в зубах из нержавеющей стали папироса.

Первый бой на новой территории Борис Ефимович дал в аптеке на Вест Восьмой. Санек подвел его к стенду, где были выставлены инвалидные трости. Борис Ефимович взял одну – алюминевую, с меняющейся длиной и великолепной рукоятью под дерево. Взвесив ее на руке, он сказал:

- Это ше, палка? Ее соплей перешибить можно.

Когда он ставил ее на место, трость упала, звонко застучав по плитке пола. Подошла продавщица.

- Мужчина, поосторожней нельзя?

Судя по интонации, она появилась в Америке ненамного раньше Бориса Ефимовича.

Борис Ефимович повернулся к ней и безо всякой подготовки сказал:

– Сволочь, ты мне мало выпила крови в аптеке Гаевского на Садовой? Или ты думала, я тебя в Америке не найду?

Слова эти произвели магический эффект – женщина растаяла в воздухе. Как утренний туман над лесным болотом.

Очень скоро Борис Ефимович стал знаменитостью Южного Бруклина. Он наводил порядок за столами доминошников на Бордвоке, при раздаче продпакетов в синагоге на Четвертом Брайтоне и в шорфронтовском бассейне. Его часто можно было видеть дремлющим за столом президиума

на торжественных вечерах общины. Он стал своим, но в действительности он был гостем с паспортом другой страны и, как у гостя, у него не было даже медицинской страховки. Это, кстати, не мешало тому, что его принимали все врачи, в чьих офисах звучала русская речь. Это делалось не из боязни, конечно, его любили как экзотического персонажа эпохи, о которой американские медики знали только по кинофильмам. Ему сменили железные зубы на керамические. Оттянув пальцем щеку и откинув голову, он скалился перед зеркалом и не узнавал себя.

– Идиеты, – говорил он, но без злости, а так, как говорят о детях.

– Папа, а что ты хочешь? – отвечал ему Санек. – Это – Америка.

– Они мне еще должны поменять колени, – Борис Ефимович отпускал щеку, вытирал палец.
– Ты не знаешь, как они у меня ноют на погоду.

– Папа, колени – не зубы, – объяснял Санек. – На Брайтоне такое не меняют. Надо иметь страховку и надо лечь в больницу.

– Когда Гитлер вжарил им в Арденах, я их страховку не спрашивал, – отвечал Борис Ефимович. – Я стоял по горло в воде и ставил понтоны через Одер.

– Тогда надо попасть под машину, – Санек засмеялся собственной шутке.

– Я не понял, – насторожился отец. – Зачем это?

– Когда тебя подбирает скорая, – объяснил Санек, – тебя везут в больницу и лечат без вопросов. А потом если у тебя есть страховка, так она за тебя платит, а нет так нет.

– Идиеты. А сразу спросить про страховку они не могут?

– Ты понимаешь, если ты без сознания, то с тобой не особенно поговоришь. А если ждать, пока ты придешь в себя, то ты можешь очокуриться. А если ты очокуришься по их вине, то твои родственники снимут с них последние штаны.

– Хм, – сказал Борис Ефимович.

Через несколько дней он попал под зеленое такси на перекрестке Оушен-Парквей и Авеню Z – прямо напротив больницы Кони-Айленда. Забыв, что в таких ситуациях лучше изображать потерю сознания, он сгоряча еще встал на ноги и разбил своей палкой стекло в дверях машины наехавшего на него бедолаги. Тот ошарашенно оглядывался, ища поддержки у собравшихся зевак, и повторял: «Я не понимаю – откуда он взялся? Я вам клянусь, на дороге никого не было!»

Влетев в отгороженный синими занавесками отсек, где лежал отец, Санек прошипел:

– Папа, ты сошел с ума! А если бы тебя убило?

– Я ходил на танки, – успокоил его тот. – Шо мне эта инвалидная коляска?

Рентген показал, что сломаны три ребра. Врач, заполняя документы, сказал:

– Вам сделают болеутоляющий укол, а утром пойдете домой. Главное – не делайте резких движений и не поднимайте тяжестей.

Санек перевел.

– Я не понял, – Борис Ефимович сел. – А колени?!

Вопрос удивил врача. Он поправил очки. Потом, убрав край больничного халата пациента, внимательно осмотрел его колени, пощупал их. Попросил согнуть одну ногу, потом вторую. Все гнулось.

– Тут у вас все цело. Синяков нет, опухоли нет. Но если у вас есть жалобы на колени, вы должны обратиться к своему терапевту.

– Сволочь, – сказал Борис Ефимович. Смотреть на него было страшно. Он спустил ноги на пол и встал.

Врач тоже поднялся и сделал шаг назад.

– Сволочи! – крикнул пациент. – Куда вы дели мою палку?

– Папа! Я тебя умоляю! – Санек стал хватать его за руки, но куда там. Прибежали сестры, за ними появилась пара бритоголовых копов.

– Папа, – сказал один. – Успокойтесь, или мы наденем на вас наручники.

– Папа, – тут же перевел Санек. – Они наденут на тебя наручники.

– Кто?! Эти шахтеры?! Сволочи, они не знают, с кем они имеют дело! Где моя палка?!

Тогда один коп как-то очень ловко обнял Бориса Ефимовича и прижал к себе, а сестра со шприцем наготове сделала ему инъекцию в плечо. Из готового к смертельной схватке орла Борис Ефимович превратился в сонного цыпленка. Он обмяк, веки стали слипаться. Его уложили в койку и закрепили наручниками. Отделение интенсивной терапии вернулось к своей обычной жизни. Сестры в зеленых униформах проверяли показания приборов у постелей больных и делали записи в их анкетах, санитары катили тележки с чистым постельным бельем, коробками с лекарствами, пробами крови. Привезли очень смуглого парня. Повязка на его курчавой голове была вся в красных пятнах. «Траханная стерва, – безостановочно повторял он по-английски. – Я убью тебя». Рука его свисала с носилок, и кровь лилась с нее на пол тоненькой струйкой. Санитар поднял руку, положил ее на грудь парню и придерживал так в ожидании врача.

Следующий день Санек провел возле отца. Наручники с того не снимали. Он покормил его больничным завтраком, обедом и ужином. Сестра ловко помогла пациенту оправиться. Вечером отец, за день не произнесший ни слова, сказал:

- Завтра соберешь мой чемодан и отвезешь меня в аэропорт.
- Ты что, даже домой не заедешь? – удивился Санек.
- Мой дом в Одессе, – отрезал тот. – И найди мою палку.

Санек рассказывал, что вернувшись в Одессу, папа снова ощутил себя человеком. Его снова боялись, он по-прежнему ни в чем не нуждался, ему даже дали квартиру с балконом, с которого открывался чудесный вид на море. На этом балконе его снимали для телепередачи о человеке, который вернулся *оттуда*. Рядом с ним сидела его Фаина Михайловна и улыбалась. Читая по губам, она прекрасно понимала, о чем идет речь. Влажный ветерок со слабым привкусом йода и соли шевелил ее седые волосы. В лучах заходящего солнца они светились. Она казалась счастливой. Когда бойкая девушка с микрофоном попыталась выяснить у Бориса Ефимовича, чем его не устроила американская медицина, тот буквально в двух словах, как он это умел, объяснил ей.

Когда Санек звонит родителям, он привычно спрашивает:

- Папа, вам что-то нужно?
- Что мне нужно? – отвечает Борис Ефимович. – У меня все есть.

Он кашляет, отхаркивается, но продолжает курить.

- Может, колени новые прислать? – подначивает его Санек. – Или старые больше не болят?
- Чего, болят, – отвечает Борис Ефимович. – Но шо-то же должно болеть. Если ничего не болит, так ты умер. А я планирую жить до 120. Ты меня понял?

- Понял, – отвечает Санек. – Поцелуй маму от меня.

- Это можно, – отвечает Борис Ефимович и показывает Фаине Михайловне рукой, чтобы она подошла к нему.

У моста Верразано

Началось, как говорится, на ровном месте. Вот Леха Крыса сидел за праздничным столом и никого не трогал, а вот он, схватив столовый нож, тоже мне орудие убийства, кричал с матом-перематом, что он сейчас этого несчастного официанта порежет на куски.

Отмечали, забыл сообщить, Старый Новый год в «Якоре», это у нас тут в Бейридж, прямо перед въездом на Верразано. Гулянье было в разгаре, представление давала наша местная замечательность – Миша Буран. Вид у него был как у анархиста из советского кинофильма, когда анархизм представлялся не философией, а степенью алкогольного опьянения: панибратское отношение с уважаемой публикой, фуражка с крабом, живот напоминает спрятанный под тельняшкой арбуз, черные брюки заправлены в сапоги, вместо нагана – микрофон.

Миша исполнял свой коронный номер – «Ду хаст», того самого «Рамштайна», о котором он с нарочитым пренебрежением говорил, что когда его – Мишу – приглашают петь в Германию, «Рамштайн» уезжает из страны.

В то время как народ извивался на танцплощадке в красно-фиолетовом свете прожекторов, Крыса с женой Валей оставались за столом. Крыса месяц как вернулся из мест не столь отдаленных, и Валентине, после долгих лет разлуки, неловко было оставлять его одного. Хотя она как раз бы потанцевала.

Официант, которого Крыса пригрозил порезать на куски, его звали Антоном, стоял в двух шагах от стола и смотрел влюбленными глазами на одну из певиц. Певиц, как полагается в русском ресторане, было три: негритянка Роза, испанка Таня и наша – Ира. Какие вокальные данные были у этой Иры, в эпоху компьютерной музыки, не существенно, но вид, вид! Каблуки, лосины, бюст нараспашку, черные волосы рассыпаны по плечам, плюс известное выражение неприступности и презрения на лице, одним словом, все то лучшее, что она могла привезти в Нью-Йорк из родного Омска, она привезла, и тут на ее пути случился этот Антон!

Короче. Крыса спросил Антона, когда подадут чалахач, причем не потому что без этого чалахача ему грозила голодная смерть, стол ломился от закусок, а потому что, проследив направление влюбленного взгляда парня, он решил навести в ресторане порядок.

Антон, едва оторвавшись от сцены, ответил, что чалахач подадут через пару минут, и это не было отговоркой. Дело в том, что только что старший официант велел им поменять тарелки на столах под горячее, Антон поменял и теперь ждал сигнала с кухни.

– Что значит пару минут?! – возмутился Крыса. – Ты оборзел, что ли? Сейчас неси! Ты сюда работать пришел или музыку слушать?

– Потише, уважаемый, – ответил Антон. – Вы получите свой чалахач через несколько минут. Быстрее кухня не работает.

– Борзой?! – крикнул Крыса, которому после еды и полбутылки Макаллана хотелось какой-то движухи, и модный пиджак и туговатый галстук только усугубляли это желание. – Да я тебя сейчас на куски порежу!

– Ты?! – удивился Антон и сделал шаг к столу.

И по его позиции, или, я бы даже сказал, – по его стойке как-то так сразу стало ясно, что по подготовке Антон, конечно, не официант, а, скорее, спортсмен. Высокий, сухой, талия узкая, отчего плечи кажутся еще шире, руки крепкие.

До поединка, конечно, не дошло. На Антона тут же навалились коллеги, прискакал усатый менеджер Федя, случившиеся поближе гости насилу усадили Крысу. Валя отобрала у него нож и спрятала под скатерть. Мат стоял такой, что Миша Буран со своим «Ду хастом» еле-еле его перекрывал.

Потом Антон пошел к стойке бара, где косоглазая барменша Аня налила ему пятьдесят текилы, а Федя прочел небольшую лекцию.

– Тосик, – начал он. – Я понимаю, что ты и спортсмен-разрядник, и в Чечне воевал, и все такое, но у нас тут – бизнес. Ты не можешь с каждым жлобом выяснять отношения. Тем более с Крысой. Ты хоть знаешь, кто это?

– Какая разница – кто это? – отвечал Антон. – Он что считает, что официант – не человек?

Федя вздыхал. В свое время он сам работал официантом в знаменитом «Вольфганге» на Парк-авеню. Но тогда время было другое. Тогда официанта из хорошего ресторана могли уважать. Не говоря о том, что сравнивать клиентуру «Вольфганга» и клиентуру «Якоря» – это как сравнивать апельсины с ягодой морошкой. Но Федя решил открыть свой бизнес. По этой причине он стал считать каждый ржавый цент и заменил профессиональных официантов на джейванушек. Они приезжали по студенческим визам J-1 и шли в ресторан, чтобы сшибить тыщонку-другую и ехать дальше в поисках своего счастья. Или несчастья.

Антон был таким джейванушкой – студент института физкультуры в Челябинске, мастер спорта по горным лыжам, он планировал устроиться инструктором в Колорадо.

– Крыса месяц как откинулся, – объяснял ему Федя. – Отмечали у нас. Ты бы видел его гостей! Урки! Хорошо, что у меня в этот вечер ни одной официантки в зале не было. Хор после первого отделения просто сбежал от греха подальше. Миша за весь оркестр отбояривался. – Федя достал

из кармана пиджака тугой ролик зеленых купюр, снял резинку, достал одну и положил перед Антоном. – Вот тебе полтинник, иди домой и не бери в голову. Завтра я тебе позвоню.

– Спасибо, – буркнул тот. За весь вечер он рассчитывал получить сотню, а то и полторы.

На заднем дворе Антон натолкнулся на вальета дядю Вадю. Закурили.

– Видок у тебя, – сказал дядя Вадя. – Неужели поперли?

– Да вроде нет, – Антон сплюнул под ноги. – Чуть с клиентом тут не подрался...

– Тося, с посетителями драться нельзя, – сказал дядя Вадя своим придушенным голосом. – Это – Америка. С тебя взятки гладки, а ресторан засудят, мало не покажется. Ты знаешь какие, здесь лоера? Это же не люди, это – звери.

– Так я, что ли, начал? – Антон стал рассказывать, как было дело.

– А-а, так это Крыса, – понял дядя Вадя. – Ты от него лучше подальше держись. Это – убийца. Он недавно откинулся. Тут такая братва собралась, мама не горюй. Розка с Танькой через окно сбежали.

– А Ирина? – спросил Антон, ощутив, как сжалось что-то внизу живота.

Ответа на свой вопрос он не получил, потому что дядю Вадю позвали – кто-то из гостей хотел получить свою машину. Он пошел за ключами, а Антон остался докуривать. Воздух приятно охлаждал его, разгоряченного после инцидента в ресторане. Над стенами домов, окружавших парковку, сияли в черном небе зелено-голубые гирлянды моста Верразано. В их ровном свете было что-то успокаивающее, праздничное, какое-то обещание того, что по другую сторону узкого пролива его ждет настоящая Америка, уютный город в горах, где он найдет настоящую работу, а может быть, и новую жизнь.

Крыса, покончив тем временем с чалахачем, поднялся, проверил, на месте ли сигареты. Первым делом он зашел в туалет, а выйдя из него, увидел в конце узкого коридора открытую во двор дверь. Поправляя туговатые брюки, пошел к ней. Антона он узнал сразу – тот стоял к нему спиной, голова закинута в небо, в руке на отлете дымит сигарета. Крыса взял белый силиконовый кирпич, которым была подперта дверь, и с размаху ударил парня по затылку. Тот рухнул на асфальт, а Крыса, вернув кирпич под дверь, вернулся в ресторан.

В коридоре он столкнулся с вальетом, бросив на ходу:

– Там неважно одному, помочь надо.

В свете уличных фонарей голова Антона показалась дяде Ваде черной и страшно деформированной. Он метнулся за Федей, тот, прибежав, долго пытался проверить, есть ли у парня пульс, потом махнул рукой и набрал 911.

Первой подлетела, вращая красно-синими огнями, патрульная и, взыв коротко, остановилась у входа. Копы еще выбирались из машины, когда подкатила – скорая «Хетцоллы». В ресторане продолжали гулять, на улице слышно было уханье оркестра и голоса празднующих. Те, кто курил у фасада, даже не поняли, что случилось. Когда Антона погрузили в скорую, копы пошли в офис Феде смотреть записи с наружных видеокамер.

Крыса, заметив следовавших за менеджером копов, потряс опустевшую бутылку Макаллана над бокалом, допил остаток и сказал Вале, что пора сваливать. Та послушно поднялась. У входа он вручил вальету номерок от машины с двадцаткой и, чуть задержав деньги в пальцах, сказал негромко:

– Я, надеюсь, мы друг друга поняли, правильно?

От выпитого физиономия у него была свекольного цвета.

– Сто процентов, – просипел дядя Вадя и пошел на парковку.

– Не расслышал, повтори, – сказал Крыса в спину дяде Ваде, но тот уже скрылся во дворе.

Через минуту-две он выкатил на улицу Мазерати Кватропорте и, оставив дверь со стороны водителя открытой, ушел в ресторан.

– Так, я не понял, – сказал Крыса. – Тут у них что, весь кабак борзых? Так это легко исправить.

– Леша, – позвала его Валя уже из машины. – Я тебя умоляю, сядь и поедем.

– Что ты меня умоляешь? – сказал Леша. – Ты видела этих борзых?

– Я видела ментов, Леша, – ответила Валя. – Они тебя сейчас возьмут за жопу, и их будешь исправлять.

Этот довод подействовал. Крыса сел в машину, закрыл дверь.

– Ремень надень, – сказала Валя.

– Не могу, душит, – Крыса стащил галстук и бросил через плечо на заднее сиденье.

– Бухать надо больше, – сказала Валя. – Выжрать бутылку вискаря – надо уметь.

– Жалко, что ли? – сказал Крыса и надавил на газ.

500-сильный движок, разгоняющий этого, как говорят итальянцы *мостро де л'аутострада*, до 60-мильной отметки за 4,4 секунды, выбросил его через три полосы на встречную – прямо под колеса трейлера с красным логотипом Fast-n-Furious на боку. Трейлер, легко вскочив на акулий капот Мазерати, проехал по его крыше, вмяв Крысу в сиденье так, что об обычных похоронах уже и речи быть не могло, останки пришлось кремировать.

А Валя, вы не поверите, выжила. Перелом руки и еще шрамик на лбу от лопнувшего ветрового стекла.

Сороковины она отметила с двумя близкими подругами – Надеждой и Верой на кухне своей квартиры в «Ошеане». Стол накрыли по-скромному: селедочка, картошечка, люля-кебаб, «Столичная». Что там ни говори, а в отношении спиртного русская женщина остается истинным патриотом, куда бы ни занесла ее нелегкая.

Валя много курила, пила, плакала и все спрашивала «за что», имея в виду, конечно, себя. На-терпелась она, действительно, много, одна радость, что с перерывами.

Потом Надежда сказала:

– Валюха, ты прости меня, но я тебе скажу одну вещь, только одну, которую ты ни от кого не услышишь, понимаешь? Потому что мы с тобой, – тут она многозначительно подняла брови и подвигала в воздухе указательным и средним пальцем, как будто резала что-то. – Ты меня понимаешь?

– Одной крови, – поняла ее Валентина. – Как Маугли с Багирой.

– Именно! – подтвердила Надежда. – И вот мы все – и ты, и я...

– И Маугли, – вставила Вера.

– Да, Вера, и Маугли, мы все ходим под Богом, а Бог – не фраер, это уже проверено, и не один раз. Поэтому, прости меня Валюха, но, может, оно все и к лучшему сложилось. Потому что у меня, подруга, было ясное впечатление, что жизни у тебя с твоим Лешей не было. То он на деле, то он на зоне, кому, извини меня, нужно такое семейное счастье? И вот поэтому я говорю: царство ему небесное.

Валентина снова спрятала мокрое лицо в ладонях, а Надежда и Вера, приподняв рюмки, чокаться в такой день было нельзя, выпили еще.

– Все так, – согласилась Валентина, утирая глаза и нос салфеткой. – Надо только как-то собраться, потому что, веришь, все из рук валится.

– Так соберись! – распорядилась Надежда. – Тебе 27 лет, ни детей ни плетей, ни долгов, да у тебя вся жизнь впереди!

– Только хвост позади, – добавила Вера.

Этот неожиданный финал заставил их всех захохотать, и они хохотали долго и снова до слез, до «ой, не могу больше», сгибаясь и держась за ручки кресел, и за животы, и стуча ладошками по столу, пока не затихли.

– Я тебе, Валька, такую историю расскажу, ты не поверишь, – Надежда достала новую сигарету, закурила, запустила в потолок струю дыма. – У нас в нейрохирургию парня привезли. В тот же день, между прочим, когда у вас это случилось. Кто-то его по башке чем-то шарахнул. Думали, не вычухается, а он вычухался. Парень – вылитый Брэд Питт. Одна проблема – ему память отшибло. Все так вроде нормально, вежливый, улыбается, но память отшибло. Помнит только, что раньше на лыжах катался.

– Ну?

– Что ну?! Поухаживай за парнем, стань ему этим, как его – светом в конце туннеля, а там, знаешь, всякое может быть.

– А что может быть?

– Во-первых, он может про родную жену вспомнить, – предположила Вера.

– Он без кольца, уже выяснили, – успокоила подруг Надежда. – И потом, была бы жена, она бы его нашла, верно?

– Ну.

– Опять ну! Приходи завтра ко мне в отделение, я тебе его покажу. Ну и познакомлю чисто случайно. Вот подруга зашла поведать, и тоже, кстати, на лыжах катается. Заметано?

Валя не отвечала. Неожиданный смех как будто освободил ее от тупого онемения, в котором она находилась последний месяц. Да, жизнь, конечно, продолжалась, только вот хмель мешал сосредоточиться, чтобы сообразить, что с ней делать дальше.

– Еще по одной? – спросила Вера.

– Я – баста, – Надежда прикрыла рюмку ладонькой. – Завтра не встану же.

– А я еще одну хлопну, за успех нашего предприятия, – сказала Вера и налила себе. – А если он Вальке не понравится, покажешь его мне. Вы же меня знаете, сердце у меня золотое, я вон котов на улице подбираю, а тут Брэд Питт. Ну, так голова у него не работает, тоже мне проблема! Главное, чтобы у него с гидравликой было все в порядке!

– С чем?!

– С гидравликой, говорю! Что непонятно-то?

Они снова стали хохотать, совсем забыв о поводе встречи. Когда Надежда ушла, Вера, жившая после аварии у подруги, стала убирать в моечную машину посуду, а Валентина вышла на террасу.

Звездная мартовская ночь скрыла дальний берег Нью-Джерси, узнаваемый сейчас по нестройной цепочке крохотных огоньков. Где-то в темноте густо и низко загудел уходящий в океан контейнеровоз, ему бодро откликнулся такой же невидимый буксир – красный сигнал на мачте быстро двигался в сторону Верразано. Валентине хорошо было видно его яркое голубое кружево. Дальше вправо ночь уступала место желтоватому зареву над портовым Элизабетом и Манхэттенном.

«Валить надо отсюда, – подумала она. – Чего я не видела здесь?»

– Валь, не простудишься? – спросила Вера в приоткрытую дверь.

– Нет, что ты, – отвечала Валентина. – Теплынь необыкновенная.

Андрей ТОРОПОВ

Милостивый государь,
Благородный дон,
В твоём лбу фонарь,
Тьма со всех сторон.

Ты идёшь в расход
Сквозь зловещий лес,
Но идёшь вперед
И все ждёшь чудес.

Обречен дурак,
Упускает суть.
Увлечен чужак,
Освещает путь.

Обреченный бот,
Увлеченный бой,
Все идет вперед
Через лес ночной.

Все идет к зиме
Уже столько лет,
Звездочка во тьме
Испускает свет.

Я себе слегка приоткрыл свой ад,
Но затем потопал в собачий рай,
Я еще могу повернуть назад,
Но кому ты нужен там, глупый кай.

Андрей Торопов родился в 1978 году в городе Каменске-Уральском Свердловской области. Окончил исторический факультет, аспирантуру Уральского госуниверситета, кандидат исторических наук, доцент, автор научных трудов по истории уральской промышленности. Стихи публиковались в журналах «Урал», «Дети Ра», «Зинзивер», «Новая реальность», «Воздух», «Белый ворон», «Байкал», «Артикль», «Крещатик», «Волга», «Новая Юность», «Зарубежные записки», «Строны света», «Вещь», в «Литературной газете», газете «Поэтоград» и др. Автор трех поэтических книг. Живет в Екатеринбурге. Работает главным специалистом в Управлении архивами Свердловской области.

Там сидят на тронах сто снежных баб,
Да им слово против сказать нельзя,
Всем им нужен только покорный раб,
Им нужны поклонники, не друзья.

Ты купил дрова и купил навоз,
Оставайся мальчиком на краю,
У тебя есть свой непослушный пес,
Ты ему послужишь в его раю.

А следователь тихонов
на пенсию пошел.
О, сколько же напихано,
о, как нехорошо.

Ты скажешь: «А мне нравится
под шубой эта сельдь»,
но следователь знаменский
не принял нашу смерть.

Конечно, смерть под парусом
прекрасна и легка,
сиди на первом ярусе,
иди издалека.

Так будем же стараться мы,
чтоб было хорошо,
чтоб захотелось, братцы, вам
стихов еще, еще.

Чтобы не пах халтурою
заумный комплаенс,
аниськину и гурову
салаку с ладой дэнс.

Мальволио выходит,
Зима уже идет,
Друг друга не находят
Безумец и урод.

Ты скажешь театрально:
«Не встретятся оне»,

Но будет театрально
И встретятся оне.

Точнее мысли «в точку»,
Вернее верняка,
Не надо в одиночку
Хлебать депресняка.

Зима опять приходит,
Мальволио придет,
Друг другу так подходят
Безумец и урод.

В городе мужа Серовой
Я купил кедровые шишки
И, пока живой и здоровый,
Привезу их своим детишкам.

Я послал бы вам телеграмму,
Я отбил бы вам эсэмэску,
Но торжественной встречи не надо,
Не отдам вам свои орешки.

Каква, Лобва, Тура и Ляля,
Баранча, Коноплянка, Выя
Доведут тебя до Китая,
Приведут тебя прямо в Киев.

Но я еду в другое детство,
Чтоб потратить свои излишки,
В рюкзачке моем наше средство:
Три обычных кедровых шишки.

Хамовники

И.
Голубые ели,
голубые дали.
Мы от вас летели,
Мы к вам прилетали.

Мы от вас ревели,
мы без вас страдали.
Ничего не ели,
никому не дали.

Много мы хотели,
мало получали.
Слишком много ели,
слишком мало дали.

2.
Станция таганская –
песня мериканская.
Возле этой станции
Говорю по рации:
«У меня все дома,
я живу – кулема
с жирной богородской
на нижегородской
с ангельским терпением,
Сим стихотворением
Скупю утешаю,
Радости желаю.
Вы обогащайтесь
Или размножайтесь,
Всех вокруг жалеите,
Никого не бейте.
Сами пойте песни,
не носы повесьте.

3.
Нагулялась Большая Марсель
И устала от вечной весны,
Мы приходим за старым в музей,
Но картины взрослеют, как мы.

Нам хотя бы неглавный майоль,
И какой нам фовизм по зубам,
Свой язык горьким мылом помой,
Не ходи по снобистским рукам.

4.
Переживаешь миг умом и с фигой,
Но сердце по-новенькому скулится,
Переживаешь неповторимость мига,
Зная, что он больше не повторится.

Этих мигов много и каждый не дорог,
Но конечность их вызывает чувство,
Беспокоит душу суетный морок,
Медленно гаснет в театре люстра.

Стихами не взрываются дома,
Ракеты вытесняют интернеты,

О равенстве сердца и ума
Скулят честолюбивые поэты.

5.
Больше не путаешь Рокотова с Боровиковским,
Да и кому это нужно, на самом деле.
Выйди, дитя, на полустанке московском,
Стань себе собственным церетели.

Думай, что это действительно что-то значит,
И обольщайся, что это будет нужно,
Дождик февральский на пироговской плачет
Так простодушно, вовсе равнодушно.

Солнышко выйдет и, выводя коляски,
Выйдут гулять в хамовники милые мамы,
Может, и правда лепятся не напрасно
Душещипательнейшие панорамы.

Произнеси: «Джуманджи»,
И боль твоя пройдет,
Ты не успеешь даже
Заметить переход.

Такие были чувства,
Такая сласть была,
В комиссионке люстра
Из синего стекла.

Но лампочка осталась,
Она еще горит,
Блюдет твою усталость
И сказки говорит.

Теща и ее кот

Теща моя, Тамара Дионисьевна, была маленькой женщиной, вечной труженицей, из сирот.

О таких Анатолий Франс сказал: «Они рождались, страдали и умирали». Хотя нет, теперь я вспомнил, это он сказал о всех нас.

У нее были слабые легкие, а ей пришлось всю жизнь работать во вредном цеху, ткачихой на льнокомбинате.

Она была хорошим человеком и сама вырастила двух дочерей, настоящих кобылиц, здоровых и крикливых, старшая из которых женила меня на себе.

Я любил тещу, и она меня любила, жалела и всегда старалась побаловать бедного зятя то варениками с сердцем и легкими, то яблочным пирогом, который мне чудится до сих пор, так что я даже просыпаюсь со вкусом кислой яблочной начинки во рту, так он мне нравился.

У тещи был кот по кличке Фунт. Теща звала его Фунтик.

Трудно было себе представить союз более противоестественный, чем этого кота и его хозяйки. Доктор Джекилл и мистер Хайд – вот все, что приходит мне в голову.

Теща – толстенькая, светливая, с вечно красным от насморка носиком и виноватыми глазами.

Фунт – грязно-белый котяра, причем «грязно-белый» это не условное обозначение масти, а просто первоначально он был белым, а потом раз и навсегда испачкался, не имея ни малейшей котячьей склонности к умыванию и прилизыванию. Фунт был не просто грязным, каким бывает шкодливый, покрытый паутиной и пылью домашний любимец, – в его нечистоплотности было что-то человеческое, нарочитое и вызывающее. Казалось, он пробирался домой болотом или лежал на пороге пивной вместо коврика – так, говорят, поступали в Персии, специально кладя ковры перед входом в караван-сарай.

Фунт был таким страшилищем, что даже не верилось, что это тещино домашнее животное, а не производное от камышового кота и гиены.

В «Бравом солдате Швейке» есть рассказ о псе Балабане. Пес Балабан был таким уродливым, что другие собаки его сторонились, и вечно он лежал под телегой, одинокий и грустный. «Потом, – меланхолически сообщает Швейк, – они вместе с хозяином пропали без вести в Галиции».

Это неплохое описание Фунта, которого можно было бы назвать «кот Балабан».

Но пес Балабан не был драчуном, бандитом и насильником, а Фунт был, и его отталкивающая внешность органично сочеталась с совершенно лютым характером.

Осталось добавить когти и клыки ненормальных размеров – и вы получите отдаленное представление об этом исчадии ада. Я не раз пытался себе представить корень генеалогического древа Фунтика, и каждый раз перед моим внутренним взором возникала мохнатая чупакабра.

Кстати, об исчадиях ада – все что я рассказываю – чистая правда. Сочинить можно было бы и

Сергей Зельдин родился в 1962 году в станице Ярославская Краснодарского края. Жил в г. Волжском, с 1974 года в Житомире (Украина). Публиковался в журналах «Крещатик», «Новый берег», «Слово\Word», «Дружба народов». В «Волге» публиковались рассказы (2017, № 7-8; 2018, № 5-6; 2019, № 3-4).

похлеще, как сказал один писатель. Например, выдумать какую-то «адскую кошку», как у Стивена Кинга. Нет, у меня такого никогда не бывает – у меня всегда только чистая правда.

Как выживали, о чем думали, на что надеялись остальные коты из Цветочного переулка – неизвестно.

Все же Фунт не стремился к полному истреблению себе подобных, предпочитая держать их просто в рабстве.

Несогласные ходили с расцарапанными физиономиями и драными боками.

Фунт, конечно, больше всех блистал боевыми регалиями – морда его была так густо покрыта шрамами, что казалась сшитой из лоскутов, а одного уха не было.

Но все эти увечья относились ко времени его юности, почти детства, когда он делал только первые шаги на тропе войны и был намного мельче и слабее своих взрослых соперников.

Что же касается женского пола, то он не пропускал ни одной меховой горжетки или муфточки, и много лет все котята Цветочного переулка были похожи на одного папашу, хотя, слава Богу, были посимпатичнее его.

Как ни странно, этот юрский хищник жил не в саванне и не в лесу, а был домашним котом тещи, был ею горячо любим и, как мог, отвечал ей взаимностью.

Редко, но можно было застать его дома. Он лежал на стуле в виде грязной косматой папahi.

Честное слово, я люблю котов. Люблю гладить их шелковистую шерстку, щекотать им под горлышком и даже выбирать из их шубки репяхи и веточки. Но, клянусь, ни разу у меня не возникло желания погладить Фунта. Он не шипел, не играл хвостом, не убегал, но одного его тошнотворного взгляда искоса бывало больше чем достаточно.

Непонятные, но трогательные отношения связывали тещу и кота. В моем представлении это был голливудский фильм ужасов о нежной дружбе маленькой девочки и Фредди Крюгера, или мальчика с педофилом-маньяком.

Только ей одной позволялось брать его на руки, гладить и ласкать. Иногда Фунт даже давал ей помыться себя и расчесать спутанную львиную гриву. Конечно, красота эта была ненадолго.

Если дела заставляли его пропасть на неделю-другую, теща ждала его и радовалась, когда утром со двора раздавались скрипучие звуки, отдаленно напоминающие мяуканье.

Добавлю, что тещин муж, мой тесть, худой и нервный мужчина, вынужденный жить с Фунтом в одном переулке, откровенно ненавидел его и боялся. Но поскольку он был горьким пьяницей, то его никто не спрашивал. Впоследствии на него первого пало подозрение, но ничего доказано не было. Да я и не верю, чтобы у него хватило духу на такое.

У Фунта была оскорбительная манера не замечать собак. Собаки, благоразумно обходя его стороной, тоже делали вид, что его нет. Впрочем изредка залетные псы кидались на Фунта и потом благодарили свою собачью звезду, что остались хотя бы при одном глазе и с не до конца снятым скальпом.

Однажды Фунт ушел и больше не вернулся. Его убили, убили люди – проклятые соседи!

Вероятно, какой-то мститель за своего Барсика или Томаса, подло, из-за угла, отравил его. Невозможно представить себе, чтобы Фунт дал прикончить себя каким-то другим способом.

Тела так и не нашли.

Долго горевала теща Тамара Дионисьевна, все ждала его. Она пыталась заполнить душевную пустоту другими котами, но все это было не то, и все другие казались ей какими-то припудренными педиками.

Я так думаю, что этот кот был мужчиной ее мечты.

Потом умерла и теща, сгорела от рака.

В двух комнатах, в многоэтажном деревянном доме по Цветочному переулку, 57, живет тесть, Бронислав Станиславович.

Он совершенно бросил пить и завел себе собачку Белку.

Курение

*В голенище, сунув трубку,
Все и бодры и легки.
И казак несется в рубку,
И солдат идет в штыки!*

Песня времен Первой мировой

Давай закурим, товарищ, по одной...

Песня времен Второй мировой

*Но если есть в кармане пачка сигарет,
Значит все не так уж плохо
На сегодняшний день...*

Песня мирного времени

Сергей Леонидович курит всю жизнь. Однажды он бросил, в эйфории от рождения сына Шурика, и не курил девять лет.

Все эти девять лет ему снилось, что он так и курит, а когда он просыпался, во рту стоял привкус застарелого бычка.

Наконец он стал курить опять и больше уже не прерывался.

Он курит пачку на три дня. Он бы курил больше, но, как все курильщики, боится рака легких. Как и все, он думает: «А, где наша не пропадала!», или: «Риск – благородное дело!», или: «Без курева жизнь дерьмо!» и т.п.

Курить хорошо, гораздо лучше, чем пить.

«Интересно, – думает Сергей Леонидыч, – пачка сигарет, которая в обычной жизни яд, канцероген и вообще адское зелье, где-то в зоне или на войне ценится больше хлеба и патронов, и никто там не только не боится рака легких, но и никогда им не болеет. Ну, максимум туберкулезом.

Что бы стали делать Красная Армия с вермахтом, если бы перекрыть табачное довольствие? Плюнули бы и разошлись по домам – воюйте сами!

Это хорошо описал один писатель: в тюрьме человек лишен многого – свободы, водки, женщин – и все это он терпит. Но стоит нарушить снабжение тюрьмы сигаретами, как поднимаются такие бунты, что Пугачеву не снились.

Да-а, хитрая штука – курево. Кто-то говорит: коварный легкий наркотик. Может, и легкий, но Сергей Леонидович думает, что это образ жизни, мироощущение человека, граница, отделяющая искренних, честных, хороших людей от всяких хитрожопых некурящих.

Он так и говорит, когда узнает, что какой-то известный человек, знаменитость, спортсмен, курит – «хороший человек!».

Один некурящий козел изредка хрюкает ему: «Я бы курил, если бы знал, какой кайф от этой вони», или: «Чего там бросать – взял и перестал покупать!» – и тому подобную чушь, и при этом машет рукой, якобы удушаемый клубами ядовитого дыма.

Вот дурак! Ну, тогда – чего тут худеть? – взял и перестал жрать! Что тут воевать – взять, да и не воевать! Зачем болеть – не надо болеть! Почему умирать?..

Нет, пока курится, надо курить. И деды наши курили, и прадеды. Как говорится: «Русичам дымление – веселие!»

Но одно плохо – табак стал плохим. Говорят, что сейчас, если разобраться, это и не табак, а какое-то дерьмо, одна труха.

Очень может быть. Однажды в гостях у одного профессора пьяный в дупель Сергей Леонидович курнул хозяйскую трубку с «Блэк Кэптен» и чуть не уехал в Ригу, так голова закружилась.

Поэтому он давно уже приглядывается к махорке на Житнем рынке: стоит мешок самосада, стакан; рядом, на ящике, импортные коробки с гильзами, по тысяче штук, и – для эстетов – пачки резаной бумаги под самокрутки.

«А что? – думает Сергей Леонидович. – Возьму и попробую козью ножку! Не бросать же!»

Автобиография

Меня зовут Зельдин Сергей Леонидович. Я родился 9 апреля 1962 года в станице Ярославской Лабинского района Краснодарского края. Таким образом, я, как это ни парадоксально, кубанский казак.

Это шутка, какой я казак. Но я не согласен и с женой, говорящей, что я псих. Для психа я недостаточно цельный.

Все же мне чудится то то, то се. Например, мне иногда чудится уютный старый дом.

Здесь вечер, зима, и дом этот в каком-то маленьком городишке, в безнадежной, бездонной советской глубинке. Это так далеко и глубоко, что здесь даже нет начальства. То есть начальство, наверное, есть, не может быть без начальства, но оно никак себя не проявляет.

Здесь степь, но есть и лес. В доме горит керосиновая лампа и все сошлись для дружеского застолья, с водкой, с разговорами, с пением, нехитрой, но душевной закуской, мочеными арбузами и жареной картошкой.

Года стоят пятидесятые, но может, и тридцатые, во всяком случае, не двадцатые и не семидесятые.

В доме живут очень приятные для меня люди. Есть и подозрительные личности, случайно избежавшие лагеря, а может, и чего-то похуже.

Мне кажется, что это воспоминание о моем двоюродном дяде, не то Мише, не то Жоре, который сбежал из станицы от рассказывания и от раскулачки, и под конец нашелся в Сумгаите, городе на берегу Каспийского моря. Толстый лысый старик, он работал садовником при исполкоме. С ним жила жена-старушка.

Мы пришли к ним в гости – я, маленький Сережа, мой папа Леонид и моя мама Галя, племянница этого деда Жоры.

Дед Жора и старушка жена жили в уютном старом доме, где горела керосиновая лампа и пахло картошкой, жареной на сливочном масле, и где меня поразил страшный чайный гриб в банке.

Когда мама была жива, она говорила мне, что я путаю, что старики жили в хрущевке и никакой лампы не было, а она была в станице, у бабушки Кати. Не знаю. Это не важно.

В Сумгаите растут олеандры с розовыми жирными цветами, пахнущими, как может пахнуть только юг.

Еще здесь жили другие дедушка и бабушка, родители моего папы Леонида. Они случайно жили в одном городе с дедом Жорой и его женой-старушкой.

Раньше они жили в Ленинграде, потом жили в Киргизии, а уже потом переехали в Сумгаит. А изначально они были питерские. «Помни! – торжественно говорил мне покойный отец, когда был выпивший. – Твой прадед был булочником в Петербурге!» Почему-то он придавал важное значение, чтобы я об этом помнил.

Этот мой сумгаитский дедушка, Владимир Ефимыч, был еврей и на войне не воевал, не то что другой дедушка, Вася, который воевал и был без пальцев на руке и в маленьких шрамах от осколков. Я долго таскал его медаль «За отвагу» и даже пилил ее напильником, а потом потерял. Мне было шесть лет.

А этот второй дедушка, Володя, еврей, был счетоводом, как Корейко, проштрафился и всю войну провел на стройках народного хозяйства во Фрунзе, в Киргизии. Сейчас это Бишкек. Там

делали валенки для фронта. Там, в Бишкеке, родился мой папа Леня. Он очень голодал в детстве и продавал на восточном базаре воду кружками. Он родился в сороковом и был младшим в семье.

А потом они поселились в Сумгаите, и там папа, красивый городской юноша, встретил мою маму, молоденькую кубанскую казачку, приехавшую поступать на завод. Они повстречались на танцах, влюбились, поженились и родили меня.

Вот так и вышло, что полуеврей папа женился на потомственной кубанской принцессе, а ведь от таких браков родится несчастливое потомство, об этом утверждал даже Ницше, я сам читал. «От них, – говаривал он, – добра не жди!»

В общем, Ницше был прав. Все же, под конец моей удивительно дурацкой жизни я перестал жалеть об этом давнем расовом мезальянсе. Мне кажется, не иметь ни капли еврейской крови тоже плохо для человека.

Зельдин С.Л.

07.05.18

Перечитал автобиографию и удивился – черт знает что такое: писал, писал, а толку никакого.

Второй закон термодинамики

Один старик не любил нашу с вами современность. Красота наших гламурных, креативных денечков оставляла его равнодушным. Он не понимал, в какую хорошую эпоху он живет.

Он был совсем чокнутый. Целыми днями он думал о какой-то туфте, о втором законе термодинамики.

Главное, его угнетало, что согласно этому закону энтропия неуклонно возрастает.

Вы не поняли, и я тоже. Но если перевести эту хрюканину на наш с вами язык, то это означает: всякой херни и бардака будет все больше и больше, жить будет становиться все херовее и херовее, пока Вселенная не взорвется, как будто в дырку сортира кинули гранату РГД, не разлетится дерьмовыми ошметками и не накроется величественным медным тазом.

Старику казалось, что в его родном городе второй закон термодинамики работает с особой силой.

Вы сами видите, какой ядовитый был старичок.

А он ехал в автобусе, висел на поручне и смотрел поверх головы сидящего молодого хлопца. Парень увлеченно игрался со своим гаджетом и так широко расставил колени, как будто он был ковбой и его яйца не помещаются в штанах. Старику приходилось тесниться, а пожаловаться он не решался, не зная, на какого ковбоя налетит.

Старичок стоял буквой «зю», смотрел в окно и думал, что вот, уже осень, падают каштаны, но среди ржавой листвы как в бреду поднимаются белые свечи цветов. Закон термодинамики коснулся и климата, и летом старик чуть не умер от жары. Второй урожай каштанов был для него слабым утешением. Это во Франции, где растут каштаны съедобные, второй их урожай обрадовал бы французов, хотя французы и так живут слава Богу. В Украине же растут каштаны дикие, конские, несъедобные. Эти конские каштаны никому не нужны, только детям и старым чудакам. Они набивают ими карманы, чтобы потом, зимой, меланхолически перебирать их, дожидаясь трамвая. Сухие каштаны в карманах издают приятный перестук и напоминают о прошедшем лете.

Надо ли говорить, что наш старик носил в правом кармане каштаны, а в левом – желуды?

Впрочем, у природы ничего не бывает даром, и каштаны в конце концов тоже пригодились – их собирали бомжи и везли в детских колясочках на фабрику «Лектравы», где их них варили бальзам от варикозного расширения вен.

Может, этот бальзам и помог кому-то, но старик в это не верил.

Рука старика затекла, но когда он вздумал поменять позу, то одна тетка так его толкнула, что у него в середине екнуло.

– Чого штовхаешься, боров? – крикнула она старику.

Не успел он обдумать плохие нравы в свете второго закона термодинамики, как увидел в окне плакат. Плакат висел давно, просто старик не видел.

Это была большая фотография, запечатлевшая воина после горячки боя.

Увешанный хитрыми орудиями убийства, воин одной рукой поглаживал автомат, а другой подносил к губам сигарету.

На молодом лице было написано столько всякого, что старик поневоле отвел глаза. Надпись внизу гласила: «Лицо мира».

И только старик подумал о своем дурацком законе, как с боков его сдавили, сзади лягнули, взревел певец Вакарчук, и маршрутка весело покатила дальше.

Моя семья и я

Совсем не помню сына маленьким; не помню, что он делал в детском саду и как он уходил в школу. Помню только, что я его не бил и что ни разу не был на собраниях. Когда жена мне говорит: «Ты что, не помнишь, как во втором классе он ходил на гимнастику?» – я говорю: «Нет».

Я смотрю на рабочего мужика с рано поседевшей головой, когда он приходит в гости со своей семьей, с детьми, с женой – и не могу себя уверить, что это мой отпрыск, мой сынок – я сам себя чувствую сынком, хотя уже и пережил своего гадского папашу на шесть лет.

Жена раздраженно гремит тарелками, скрежещет дверкой плиты и кидается кастрюлями, как кот Бегемот в «Мастере и Маргарите».

Походка ее с годами и десятилетиями отяжелела, и когда она топает по коридору в сортир, так и хочется сострить: «С легкостью тяжелого танка».

От ее красоты мало что осталось, разве что глаза по-прежнему карие, но она все еще молодится, часами роется в сэконд-хэндовских мешках, заводит прически и ходит на маникюр по сто сорок гривен – это четыре пачки сигарет или полторы бутылки водки.

Она похожа на Матильду из «Леона-киллера» на склоне лет.

Ко мне, своему старому верному мужу, она относится со сдержанной яростью – я служу ей вечным напоминанием о безвозвратно погибшей молодости; а ведь она могла выбирать между мной и одним курсантом-ракетчиком, тоже Колей, но гораздо выше, красивее и намного умнее. Нет сомнения, что тот, другой Коля, создал бы для нее совершенно другие жизненные условия и не позволил бы пропасть даром ее красоте и сексуальности.

Но этого теперь не вернуть, и ей остается только каждый день смотреть на эту облезлую фигуру – своего муженька. Очевидно, что этот крест ей нести до самой Голгофы.

Я ей говорю, что она напрасно идеализирует господ офицеров – все они алкаши, говнюки и очкогребы – я насмотрелся на них в армии.

Но жена мне не верит.

Один классик, описывая библиотеку в одном губернском городе, заметил, что если бы не молодые евреи, то в библиотеку некому было бы ходить.

Пронеслось сто пятьдесят лет, ничего в губернском городе не поменялось, только молодые евреи вместе со старыми уехали в Израиль и теперь точно в библиотеку почти никто не ходит.

Но «почти» – оно и есть «почти» – кто-то же да ходит. Это – студентки-первокурсницы и нищие благородные пенсионеры.

Студентки берут поэзию, втайне собираясь стать поэтессами не хуже Лины Костенко, а старички фанатеют от Чейза. У Чейза всегда и во всем виноваты бабы, это нравится старичкам и заставляет их вспоминать о годах далекой молодости.

Кто, кроме меня, читает в библиотеке остальные книги – это загадка, тем не менее кто-то их читает.

Так, недавно, я взял почитать книжку какого-то Богом забытого англичанина, и специально прочитал листок с записями о выдаче книг, наклеенный внутри, под обложкой. К моему удивлению, я не был первооткрывателем этого Лоренса Стерна: первая выдача произошла в прошлом тысячелетии, в далеком 1984 году; вторая – уже в эпоху становления нашей независимости – в 1996-м; третья, опять-таки, по странному стечению обстоятельств, ровно через 12 лет, в 2008; четвертым читателем стал я.

Очень может быть, что за этим 12-летним циклом что-нибудь да кроется – ведь китайские мудрецы были не дурнее нас с вами.

Патологоанатомия

Не нравятся мне патологоанатомы. И чем ближе роковой рубеж, или, другими словами, гробовая доска, тем сильнее они мне не нравятся.

И даже всплывает нехорошее слово: осквернители.

И пусть кто-то назовет их учеными-подвижниками с переднего края науки: то они новый орган откроют, то, наоборот, закроют дело для органов, то сообщат родственникам, отчего умер их 97-летний дедушка – все равно я буду считать их неприятными, гадкими людьми.

Давайте рассмотрим это на живом примере – вот лежу я на цинковом столе... Или нет, давайте еще нагляднее – вот лежите вы на цинковом столе...

Ваш сосуд жизни разбит и ваш храм разрушен. Но он все-таки был вам дорог, дорог настолько, что вы заранее предупредили: никому никаких органов не давать!

И вдруг тупой, равнодушный скальпель взрезает ваше священное, пусть и неживое, тело.

Всю жизнь у вас болела спина, и вы считали, что у вас грыжа, даже две грыжи, на поясничном отделе хребта. Вы сжились с этой грыжей, породнились, обручились. Сколько раз вы говорили теще: «Не могу я копать ваш погреб, я умываюсь-то на коленях!», или на работе: «Вам хорошо, у вас спина не изувечена!» Вы холили свою грыжу и лелеяли, носили пояс из собачьей шерсти, растирались бурячихой и спиртом, и как же хорошо было, постанывая: «о-о-о... о-о-о!..» – кушать на диване у телевизора оладушки, а жена сидела рядом и смотрела на вас чудными от слез глазами. «Больно, Кеша? – спрашивала она вас. – «Больно, Попочка», – отвечали вы.

Иногда вы задумывались, что это за грыжа, какая она, грыжа – и в вашем воображении рисовались два ужасных пузырька, вылезших между кривыми позвонками и похожих на те, что выдавливаются, если сжать детскую игрушку «лизун»...

Сорок лет, пятьдесят лет, всю свою жизнь – вы прожили со своей грыжей, и она стала вам роднее тещи и ближе жены.

И вдруг чей-то холодный рыбий глаз заглядывает вам в разрез и кто-то гнусаво каркает:

– Чего там эта старушечья плела, какая грыжа? Обычный... (тут следует ничего не говорящее латинское слово). Походил бы, дурень, на процедуры, поделал бы гимнастику и был бы как огурец. Вот идиот!

Понравится вам это?

Или вот, сердце. Тоже хитрый орган!

Но зачем нам сердце или мочевой пузырь, если суть дела и так уже доказана: плохие люди эти патологоанатомы, поругатели святынь, гады!

Майские грезы

*Это май-чаровник,
Это май-баловник
Веет свежим своим опахалом.*
Фет или Тютчев

Май машет опахалом, метет белую метель. Прибитый дождем тополиный пух похож на грязную вату.

Каштаны отцвели, аристократически запахло акацией; жасмин же благоухает духами падшей женщины; бабушкой, медом и советским детством пахнет липа.

На Новом Бульваре на деревьях вылупились маленькие бубочки – будущие грецкие орехи.

Прилетели мухи, зазудели комары; в реках трется карась – он мечет икру; соловьи поют днем, значит, соловьи сидят в гнезде на яйцах.

Здоровье гораздо лучшее, чем зимой, когда приходило за отопление.

Все подтянулись и смотрят с надеждой.

Даже горсовет ощутил прилив творческих сил и отменил бесплатный проезд для пенсионеров.

Май грозовой, дождливый. Ничего! Недаром говорилось в старину: «Дождик в маю – агрономия по-х..!» Значит, будет урожай картошки, а значит – будем жить!

Майские грозы, сладкие грезы!

Мы выбрали нового президента. Это артист оригинального жанра, весельчак и балагур.

Мы ожидаем от него очень многого, ведь страна живет неважно, трудно, и этот молодой человек наша последняя надежда, а не то хоть погибай.

Впрочем, будет как будет.

Вчера целый день смотрел политические ток-шоу, все их очень любят.

Это вызвало во мне разные мысли.

Так, многие философы говорят, что люди в основном одинаковы и что все они, как бы это сказать по-латыни, дурные козлы. Это не я сказал, так говорил Заратустра.

А я считаю, что люди очень разные – одни козлы, другие гиены и шакалы, а третьи вообще сбежали из горящего дурдома.

Например, писатели.

Еще говорят, все люди братья.

Лично я вспоминаю двоих Адамычей, Каина и Авеля – ничего хорошего в этом братстве нет.

Или вот любовь – тоже хитрая штука, если почитать стихи поэтов.

А по-моему, это просто жажда секса и ничего такого.

Моя жена часто спрашивает, люблю ли я ее.

Я говорю, что конечно, как родную печенку.

Она обижается и говорит, как это.

Я говорю, ну, как – я со своей печенью груб и равнодушен, а жить без нее не смогу.

Жена снова обижается, а по-моему, это четкое отображение супружеской любви, особенно если у вас есть внучка. И эта внучка на толстеньких кривых ножках отплясывает перед телевизором, повторяя все непристойные телодвижения Леди Гаги.

Что же будет дальше?

Дальше будет как обычно – первая робкая любовь, потом брак, а в конце – любовь к печенке.

Сегодня у сына Шурика день рождения. Он рано поседел, но потом женился, переехал и совсем забыл старого папку.

Жена столько раз говорила мне: «Ты бы хоть поблагодарил меня за сына, хоть бы купил се-режки, цепочку, кулончик или колечко!» – что я, наконец, надумался и к 35-летию сынка подарил ей чудесный букет жасмина, который я сам наломал и красиво оформил.

По-моему, это очень харизматично, креативно и гламурно.
Как в песне Георга Отса:

Не могу я тебе в дни рождения
Дорогие подарки дарить,
Но зато в эти ночи весенние
Я готов о любви говорить!

На сутках

Рабочий день в разгаре. Впереди еще целые сутки, поэтому сторожу спешить некуда.

Он разлепляет похмельные зенки и тупо смотрит в газету перед собой: «Неизвестный обманом выкрал на автостанции телефон у пенсионера...»

На стоянке фур сортир давно уже с верхом.

Приехала спецмашина с толстым шлангом, говновоз.

Водитель в кирзовых сапогах, воняющий в унисон со спецмашиной, делая вид, что он разъярен, гаркает:

– Ты чего сюда пару ведер не влил? – и показывает на дерьмо.

– Еще чего, это твой хлеб! – с достоинством говорит сторож.

И дядька, поняв, что не на того напал, берет ведра и идет в бухгалтерию на третий этаж, за водой.

В обед сторож выпивает пива и раскумаривается.

За окном слышен азартный собачий лай, и он выглядывает из будки: стая собак катится лавиной, как на псовой охоте в Англии; впереди чешет кошка Кузя.

Через час эта охота на лис проносится в обратную сторону.

Кузя бежит так уже четвертый год, каким-то образом выживая, делаясь все более упитанной и, между делом, приводя котят.

Впрочем, никто еще не пережил младенческого возраста.

В два часа ночи пьяный сторож стоит посреди двора и, задрав голову, смотрит на величественный купол звездного неба.

– Ни хера себе!.. – шепчет сторож.

Илья СЕМЕНЕНКО-БАСИН

Снег в начале мая

Ты бы мог записать: Преклонился сей день.
Мая денёк восьмой года надцатого
перемогается, словно телёнком – бык.

Снег перемогает. Магог во пророках:
«Гога перемогу
в день, егда телятя быка переможет».

Самолёт мыслей

плановщик может ли перевернуть план?
может ли Декарт забросить свой метод?
этот маленький любительский самолёт
прогулочный аэроплан
может не вернуться назад
зат-
ылок переднего не врёт
ведёт
за собою
прямо
но ведь кто-то же всё равно вернётся назад

Полное разрушение ваших ожиданий от поэтического произведения

зачем они сперва говорят: огурцы
и только после этого говорят: помидоры
огурцы
помидоры
вне зависимости от покупательной способности
и своей целователь н о с т и

нет бы хоть раз в обратной последователь н о с т и
слов

Илья Семененко-Басин родился в 1966 году в Москве. Окончил исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Доктор исторических наук. Автор пяти поэтических книг и книги прозы. Стихи публиковались в переводах на английский, нидерландский и сербский языки. Работы в жанре бук-арт находятся в Собрании конкретной и визуальной поэзии супругов Сакнеров (The Sackner Archive of Concrete and Visual Poetry; Miami) и в архиве Исследовательского центра Восточной Европы (Forschungsstelle Osteuropa; Bremen).

Фрагменты рукописей, найденных в своей комнате

i

Если и есть у
патриарха нашего Ом
что-либо для дремлющих,
только пития
мёда текучего слаще,
речи от уст Нестора.

ii

Проснулся, смеясь,
смеялся во сне
и, проснувшись, смеялся.

iii

То, что происходит,
именуем безмолвием.
Едва ли это – безмолвие святых. Что-то иное.

iv

Кто преследует? Преследующий
не сдвигается с места.
А тот, преследуемый,
мирно спит
в молчании жёстких стен.

На праздничный день

Сказывают, письмо с его игрою есть генетический даР;
ум, господин загадочный, ведёт себя местами заумнО.
Письменами укрыты страницы кодекса, буква здесь – страЖ,
задержавшийся на столетия, на тысячелетия, хотя кодекс не стар, не молод.
Нет маски крика, без вспышек следуют вполне переводимые слова
о рождении ребёнка на задворках, зато под пеньЕ.
Несколько необычно, конечно. Затем – вооружённый захваТ,
маршруты миграций наполняются кровью; где пели мир, стал пафос.
А нашего увезли, успели. И собравшиеся читают написанное, хотя
раньше они уже это слышали, просто нашли нашедшего такой спосоБ,
как подчинять письмо играющее иной диктовке, не мозга – не своегО,
сравняться с дыханием, позволить ему подаривать через букву жемчуГ.

Пасха в Москве, сорок строк

Священник восклицает:
«Союз Советских Социалистических Республик
огорчился, ибо упразднился».

Пасхальные гитары под пальцами кубинцев
звонят: «Сей
бог коммунистов-большевиков, победивший бога
национал-социалистов и бога фашистов.
Заморских богов победил бог
капиталистов земли американской».
Такова правда и правду пьёт
потомок в потёмках новенького сквера
возле станции многобожного метро.
Кто выдержит правды шум?
Проклятые?
Так мы ж не сами себя, мы
неслышания совершенство несём, свыше есть,
написано на роду.
И что за слово праздничное было? Что
за слово такое? «Улица»?
Стихотворение – это маленькая форма жизни,
а улица очень прямая и где-то внизу,
в юдоли бессвязного целого составного.
В нём каждый празднует по-своему. В нём
хвалёная апіта художника
оказывается истеричной женщиной.
И ясное помышление бысть мне в радование.
Вот отсюда – пиши.
Пиши, что помимо акустики, мимо
докучливой боли,
стерегущей проржавленный город,
мимо раз навсегда определяющих нас побед,
говорят некие из кубического, ночного,
светло-светлого,
из четырёх стен, собравшись особняком:
«А Сын-то Человеческий
действительно восстал из мёртвых
и явился Мариам,
и явился Симону Петру».
Изукрашенный манускрипт древнее города.
Старше книги – речь горячего сердца.

**Песенка едва слышно сопровождает раскрытие
неправедно замкнутого, отдалённого**

ходит овосл
небытью твёрдой
в небыти ходит
и поныне там
грязь осина
ловос ходит водит
ос за нос
ловословословословос
губит ос

вы как животные
и мы как животные
чтобы убедиться в этом
посмотрим на
да вот хотя бы на только что увиденное
сон ускользает
тает
сон неуловим
неописуем

сон ускользает, вы как животные
вы животные, мы как животные
просто посмотрим, чтобы убедиться
сна не уловишь, в этом убедиться
посмотрим на... на... на... увиденное
неописуем сон и виденное
сон ускользает, вы как животные
мы животные, все как животные

Двадцать третье, ночь

День спустя после осеннего равноденствия
впервые заметил тревожащие
своей красотой сумерки раньше
прежнего. Ничто не началось в этот
день, неуверенные ожидания дождя
были обмануты каким-то просто на редкость
неприветливым небом. Равноденствие,
ничто – тебе мантия, мрак брошен вверх дном
теперь, когда началось восхождение
той, что точит свет.

Торговки предлагают искусственные цветы

Две ли ужасных, двери ли кладбища...
Припоминаю. Припомнить, проснувшись.
Надпись
зывает ярыми буквами,
увлекает внутрь:
«То, что вы хотели получить от отца,
хотели бы получить от своего дяди...»
Зывает: на самом деле всё это
там – за кладбищенской оградой,
в лабиринте возвышающихся камней.

Отдалённый полумрак,
впрочем, не проклятый, а неизъяснённый.
Не угрозливый,
ненужный.

К маленькой женщине – шоссейные подступы,
всё припрятано,
спрятаны выемки. Разгорячённые,
вечером
цветут сиянием круглых площадей,
веточками разгорячённых улиц.
Так устроена здесь жизнь,
воздух сохраняет отпечатки движений
и нет такого оттенка синего или красного,
который бы не повстречался
в нарядах толпы.
О выщерблинах, выемках забывают
по закате солнца;
кости местной реплики Колизея
в круг свой
принимают тело музыки
ухищённой, праздничной.

Мягкие шипящие

Опечаливающее мучает.
Распечатавают память,
некто распечатывает память мне
со скуки, от нечего делать,
неведомо зачем.

Вопрос: «Зачем распечатавающий распечатывает?»

Ответ: «Запечатанное
нам оставляет Бог,
чтобы мы возражали
в благодарности
из-за прощения».

Вместе остановим сюрреалистическую деструкцию!

[Стихотворный эпиграф к глоссе утрачен, но легко угадывается]

Вития рек: которым бы подданные, не прикасаясь к делам
Самодержца, могли спо-

спешествовать облегче-
нию Царскаго бреме-
ни, вообразим, что все
подданные мальчуга
жили бы любви строга
в любви между собою
и не делали ниче-
Скрыв округло жемчуга

ничего, кроме добрых
дел. Как облегчилось бы
дело Царёво! Не нуж-
но было бы умножать
законы. Долгий праздник
был бы от дел и сто лет
правосудия в обед.
Уменьшились бы забо-
ты, потому что не до
Всюду знойный белый свет

что не добрыя дела
дают работу Судам.
Не можем ли мы сами
споспешествовать тому,
чтобы в царстве все жили
в любви, в дали, не со зла
должны должна жна прошла
чтобы все подвизались
в делании дел добрых?
Тихо за морем жила

не иначе, как взаим-
ностию: взаимным со-
действием, помощью,
споспешествованием.
Взаимныя обязан-
ности множества іот
членов общест перемнёт
частью определя-
ются по званиям и
Дым воздушный отдохнёт

НЕЖНОСТЬ

Рассказ

– Ты когда-нибудь Дюка Эллингтона слушал? «Караван», например, – спросила меня Лена.

Я посмотрел за окно. Струи мартовского дождя вперемешку со снегом оставляли на стекле полосы. Сквозь эти мокрые порезы были видны дворники, зачем-то подметавшие в непогоду двор, и поливальная машина, чье назначение тем более было непонятно.

– Кто это, – ответил я, оторвавшись от книги и повернув голову в сторону жены.

– Это джаз, ты разбираешься в джазе? Ты что, только Майка Науменко слушаешь?

Когда Лена сердилась, она хорошела. Немного билась венка на правом виске, щеки розовели, я любил изредка подразнить жену, но делать это опасно из-за взрывного характера Лены.

– В этом мире я мало в чем разбираюсь, меня много чему учили, но так ничему и не научили.

Я вспомнил все три своих института, из которых закончил лишь один, и аспирантуру, из которой вышел со справкой, так и не защитив кандидатскую диссертацию. Да и название диссертации я давно забыл.

– Неужели ты не слышал «Караван»?

На лице Лены было написано если не недоумение, то уж неверие точно. Она взяла со стола зимнее яблоко и стала его вертеть в руках, как жёлтый теннисный мячик. Мне кажется, если бы у нее в руках была ракетка, то она запустила бы в меня этим яблоком.

– Наверняка слышал, просто у меня нет ни голоса, ни слуха, представь, что перед тобой человек без ног. Грешно смеяться над безногим.

В этот момент Лена, представив меня безногим, засмеялась. Если честно, я не понимал, над чем она смеется, но увидев на ее лице радость, тоже улыбнулся.

– Ладно, в субботу мы пойдем в кинотеатр «Иллюзион» смотреть «Одержимость» с Майлзом Тейлором.

Кино я не любил, не знаю почему. Всегда казалось, что это какие-то синтетические искусство, где зачастую главную роль играет не собственно талант режиссера, а непонятные побочные факторы: работа оператора, игра актеров и тому подобное. Про кинотеатр «Иллюзион» слышал, что это культовое место бородатых киноманов в круглых очочках, где они собираются в твидовых пальто и фетровых шляпах. Смотрят полузабытые или непонятные модные французские и

Вячеслав Харченко родился в 1971 году в Краснодарском крае. Закончил школу в Петропавловске-Камчатском, выпускник МГУ им. Ломоносова, учился в Литературном институте им. Горького. Стихи и проза печатались в журналах «Новая Юность», «Арион», «Знамя», «Октябрь», «Крещатик», «Новый берег», *Ното Legens* и др. Автор книги прозы «Чай со слониками» (М.: Время, 2018). В «Волге» публикуется с 2014 года. Живет в Москве.

гонконгские картины, а потом с жаром обсуждают их в близлежащих кафешках, прихлебывая санкционное испанское вино и заедая его сыром с плесенью.

В дискуссиях они размахивают руками, кидаются неизвестными терминами, оперируют недоступной информацией, а вы же сами знаете, что такое присутствовать в компании людей, где тебя никто не знает и не понимает.

В субботу было сыро и промозгло. С реки, от воды, дул неприятный резкий ветер. Мы брели с Леной, прижавшись друг к другу, от метро «Таганская» до Котельнической набережной. Мне было неуютно, и я думал, что фильм должен быть не просто хорошим, а очень хорошим, и джаз должен быть не просто хорошим, а очень хорошим, чтобы я мог принять эту сырость, эту промозглость и этот холод, пробирающий нас до костей.

– Скоро уже? – покосился я на Лену, поглубже засунув руки в карманы.

– Уже почти пришли, – ответила она и еще крепче прижалась ко мне. Ее сиреневый шарф выбился из-за воротника и шевелился, как осенние листья. Я остановил жену, поправил шарф и погрел её ладошки в своих ладошках.

Кинотеатр показался мне немного помпезным, странным и излишне величественным: типичный ампир тридцатых. Тяжелые массивные греческие колонны, огромные хрустальные люстры, свисающие с потолка, темный мрамор, грубая лепнина, забытый герб СССР, большой зал на 200 мест. Как они собирались в этом советском мавзолее показывать американский джаз, непонятно. Меня это даже немного рассмешило, но мы купили билеты, нырнули в темную прожорливую глубину и расположились почти в центре, благо что свободных мест было много. То ли этот фильм уже все, кто хотел, посмотрели, то ли американские блокбастеры начисто убили в народонаселении столицы тягу к джазу.

Когда погас свет и пошли первые кадры, я вдруг увидел на экране себя. Артист Майлз Тейлор, игравший в фильме роль джазового барабанщика, как две капли воды был похож на меня, особенно если мне скинуть лет двадцать.

На экране он одержимо барабанил «Караван» Дюка Эллингтона (конечно, я узнал эту мелодию, я ее не раз слышал, просто забыл), а его жестокосердный учитель в духе китайских дзен-буддийских наставников-монахов называл его полным ничтожеством, унижал, подставлял, сажал на воду и хлеб, колошматил барабанными палочками, сдирал до крови кожу и требовал верного, бескорыстного и бесплатного служения искусству. Меня, то есть героя Майлза Тейлора, ломали как тростинку, но Майлз Тейлор стал былинным богатырем, преодолев все препятствия и победив своего наставника-противника-мудреца в духовной схватке.

В конце Майлз Тейлор становился крутым джазовым барабанщиком, звучит великий джаз, титры мелькают по экрану, по моей щеке стекает суровая скупая мужская слеза, которую я незаметно смахиваю клетчатым платочком.

Еще какое-то время я, оглушенный, сидел в кресле и долго смотрел на погасший экран, пока Лена не тронула меня за локоть. От этого прикосновения я немного вздрогнул и посмотрел ей в лицо. Мне показалось, что ее лицо тоже немного опухло от слез.

Потом мы вышли из кинотеатра и не спеша прошлись. К тому же распогодилось. Хотя от воды и шла сырость, но весь этот промозглый холодок, который так угнетал нас, куда-то пропал.

Вылезло яркое весеннее солнышко, и мне виделось, что жизнь это такая страшная черная дыра, куда в начале из всех мешков сыплют хлам и мусор, а оттуда вдруг вырастает прекрасное молодое деревце, которое несмотря ни на что начинает плодоносить. Если, конечно, потерпеть или сделать вид, что терпишь.

Мы шли узкими кривыми улочками, глазели на желтые приземистые особнячки, по дорогам куда-то спешили машины. Машины ехали не просто так, а синхронно с неведомой и еле уловимой мелодией. По крайней мере, я ее слышал, что для меня, конечно, дело невиданное.

- Ну, ты понял что-нибудь? – спросила меня Лена и остановилась.
- Понял, – ответил я скорее машинально. Так отвечают, если не знают, что ответить.
- По-моему ты ничего не понял.

Лена явно подначивала меня. Мы стояли посреди тротуара и мешали прохожим. Сзади в нас уперлась красная детская коляска с малышом. Его родители хотели нам высказать все, что они о нас думают.

- Понял. Надо страдать.

По газону ходили первые грачи. Что-то рано они прилетели в этом году.

– Давай посидим в кафе, – улыбнулась Лена и потащила меня в переулок. Родители малыша громко вздохнули. Коляска продолжила движение по скользкой собянинской плитке.

Мы вошли в полутемное придорожное кафе, стилизованное под библиотеку моего детства. Между столиками стояли стеллажи книг, и каждый посетитель, прихлебывая кофе из чашечек лианозовского фарфора, мог протянуть руку до полки и вытащить Маркеса, или Борхеса, или Сэлинджера. Я взял «Степь» Чехова, и мы сели у окна. Окно, широкое и огромное, располагалось вровень с тротуаром. Возле наших носов постоянно мелькали чьи-то худые ноги, длинные руки, дамские сумочки и мужские кожаные портфели. Все кафе было забито бородастыми суровыми хипстерами, они пили черный кофе и зеленый чай, ели творожные чизкейки и громко и неприужденно обсуждали последние картины южнокорейского режиссера Ким Ки Дука.

И вдруг откуда-то из глубины кафе странной галлюцинацией ласково заиграл саксофон. Мы с Леной обернулись и на небольшой черной невысокой сцене разглядели старого умудренного седого музыканта, сжимавшего инструмент так бережно, словно расставание с ним равносильно смерти.

Он осторожно перебирал утонченными узловатыми артритными пальчиками, раздувал серые щеки. Когда он это делал, то морщины разглаживались на его лице, и было в этом что-то нужное и значимое, как первые еле слышные слова любимого ребенка.

Музыка мартовской оттепелью отражалась от темных стен, на которых висели кадры из кинофильмов и фотографии советских и американских актеров. Она преломлялась солнечными лучиками и проникала в каждую щель этого тихого и уютного кафе. Мы с Леной замолчали, притихли и хипстеры-киноманы, забыв о Ким Ки Дуке, и всем вдруг стало одновременно одиноко и радостно. Саксофон играл и играл, за окном лаяла маленькая противная собачка, чувство необъяснимой нежности не покидало нас всех.

Из книги «ГРЕЧЕСКИЙ ДУХ ЛАТИНСКОЙ БУКВЫ»

на ходулях вошёл
Тиресий¹, на ходулях в девять раз выше себя, птицы клевали его плечи,
прозрачные своды храма стали ещё выше.
ищет Афины, – шептались служанки и жалостно глядели в небо.
только конь смотрел ему в невидящее лицо, жаром дышало
чудовище, троянское приношение богини
самой себе,
деревянная злоба Паллады.

посох Тиресия из песка. он течёт по кизилковым ногам коня,
в небо уходят шесть деревянных ног, радуга между палками ходуль.

конь брызжет красной слюной, ребёнок Афины! она верхом
на акрополе, эгида её из козьей шкуры, сам Эгиох² пропах козой.
волосы
несут ей невесты в жертву, локонами выстланы донья кораблей, ахейцы
дуют в попутный ветер.

кто, кто же дышит ей в прорези для глаз, в глухой коринфский шлем?
Афина резко встаёт, теперь шёпот сбоку:
«верни мне глаза, богиня, возьми обратно моё ухо,
ухо, в котором вылупились птенцы, раковину размером с гнездо зимородка».

Афина поводит плечами – в плотной фаланге её воинов никто не смотрит
направо и налево, вверх и вниз.

над акрополем Тиресий ростом с Троянского коня, его ходули сгибаются
в коленях, глазницы пусты.

¹Тиресий – слепой прорицатель. По одной из версий, Афина отняла его зрение, потому что он застал её обнажённой во время купания, но испортила его слух, сделав птицегадателем. Зевс удлинил жизнь Тиресия в девять раз. В своей жизни Тиресий обращался то в мужчину, то в женщину.

² Эгиох (др.-греч. αἰγίοχος, букв. «носящий эгиду») – один из эпитетов Зевса

Елена Зейферт родилась в 1973 году в Караганде (Казахстан). С 2008 года живёт в Москве. Профессор РГГУ, доктор филологических наук. Автор шести книг стихов, русско-немецкой книги-бilingвы «Namen der Bäume / Имена деревьев», сборника стихов и прозы «Малый изборник», книги прозы «Сизиф & К^о», книги критики «Ловец смыслов, или Культурные слои» и др. Публиковалась в журналах НЛО, «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», «Литературная учёба», «Новая Юность», «Урал», «Нева», «Крещатик» и др. Предыдущая публикация в «Волге» – «О природе графомании, или Случайный мальчик Свистонов» (2019, № 5-6).

незрячая дева на коленях собирает еле живых воробьёв.

крики птиц
облизывают ухо

Гелен¹

у каждого крика свой язык змеиный кончик без бугра и нет неба над ним
и ухо твоё сладко и похоже на утренний хлеб с фигами

когда, когда летательная мускулатура лебедя проросла в волчью шкуру?
сколько красногрудых кораблей рвутся в тощие фьорды? два ворона –
дневной и ночной, летний и зимний – встретились в Дельфах, и два лебедя –
белый и чёрный, небесный и подземный – слетелись в Дельфы, их
восемь глаз при встрече рожают Елену

опусти ресницы, Гелен, – флейтистка, та девочка, её звали Аго, от нижних
ресниц её к подбородку тёк
красный лепесток, и пальцы, ах, длинные белые ягоды её пальцев...
может, попросить её вытереть тебе руки хлебным мякишем или тестом
не до Елены! не до голода! птицы, откуда эти тяжёлые крикливые птицы
капля козьего молока похожа на сухожилие, в стопе твоей капля молока,
не хватило одного звука

на востоке неба
Андромаха с растущей звездой

Bellerophontē – греческий дух латинской буквы

...Необула, кто-то разлил молодой мёд и вытер стол твоей пряжей...
Молчит. Римская девочка носит чужое имя, плачет, прячет слёзы
от строгого опекуна.

Её можно окликнуть только изнутри, и так делает Гебр.

Юный липариец смывает масло с предплечий, по пояс в реке,
Тибр купается в Гебре. Мяч сегодня едва не задел верхушку
алтаря бога войны,

довольной улыбкой течёт Марсово поле!
Жара, Тибр полон мужского пота.
По Гебру на лире плывёт голова Орфея².

Посадка изящной головки Необулы – ему навстречу,
дрожат булавки в причёске.
Гебр затмит бесстрашием Беллерофонта³, в оленьей чаще
принимая на копьё дикого зверя.

¹ Гелен (Елен) – брат Кассандры, птицегадатель. После смерти Париса хотел жениться на Елене Троянской, но уступил её Деифобу. Женился на Андромахе.

² Когда Орфея растерзали, его голова попала в реку Гебр. Дать римскому мальчику имя Гебр во времена Горация едва ли не так же необычно, как сегодня русскому.

³ Беллерофонт (Беллерофонта) – античный герой. Победил верхом на Пегасе Химеру. Пытался подняться с Пегасом на небо, но был сброшен им.

Но ножка Необулы приросла к колесу прялки.
Ещё 40 иоников¹ для новой нити:
до одури, два коротких, два долгих усилия...
Взгляд девушки похож на спинку языка.

Она совершенна, в ней бугор внутренней силы –
языки всадника,
костные деревца крыльев его коня,
пузырьки неба на копытах.

Она латинский язык.

Необулу теснит греческий ангел. Он её внутренний скульптор,
но – не бережный, оголтелый.

В кольце ионического ритма прялки –
движения, ракурсы, голоса, и льётся мёд. Кто пролил мёд?

– Bellerophontē!² – окликает Необула, пропевая
греческий долгий гласный там, где не может быть латинской долго-
ты.

Дух в букве
пробуждается,
вскрикивает,
растёт, глядя пальцами карликовый Капитолийский холм.

Необула обнимает передние ноги Пегаса.

Александру Скидану

на копье принесли тебя в тяжёлом сабинском вине плеснули на белый,
белый шёлк на стенах
Квирин³ остророгий холм
предельно долгий гласный в моей волевой речевой гимнастике – пусть

¹ Ионики – греческий стихотворный размер, в котором две стопы краткие, две длинные, чередуются нисходящие и восходящие стопы. Иониками написана ода Горация «К Необуле» (Carmina III. XII), римский поэт прибегнул к этому размеру единственный раз.

² Долгий греческий гласный на месте краткого латинского:

Neobule, Liparaei nitor Hebri

simul unctos Tiberinis umeros lavit in undis,

eques ipso melior Bellerophontē

Horatius. Carmina III. XII.

³ Квирин – божество сабинов, вошедшее в римский пантеон, одна из ипостастей Марса, в более позднее время отождествляется с умершим и обожествлённым Ромулом. Квириды – римские граждане.

сабины вернутся за тобой

ведь ты как цапля стоишь на одной ноге и внутри тебя –
ещё живой человек

Марсу,
Марсу-отцу строят здесь храмы за городскими стенами много,
много храмов

а сабины эти наклонные люди холмов
ходят цепляясь за коренья и глупо дарят своих богов вскоре они подарят и
свой язык латынь задышит в их сухих глотках

уже сейчас в чести двуязычные сабинянки с римскими младенцами на руках
как с ажурными щитами
Рим-то город коренных мужчин и двуязычных женщин
детям по рождении вырезают здесь лишний язык

зачем ты даёшь им своё имя – квири́там? режь воздух
между Сабинами и Римом

Ромул украдёт тебя самого

Антикитера¹, к тебе плывёт Родос
на римском корабле. Ρόδος, кусок Эгеиды, теперь, Αντίκυθηρα, твой
пленник. его полевые травы растут в Малой Азии и на Крите. но
антикитерские пчёлы уже лепят две полураскрытые губы венчика
родосского тимьяна, медоносящего кустарника, на коже его листьев твой
язык. ты пьёшь Родос, Антикитера, как сырое яйцо.
только зачем тебе его дары – эти застывшие лошади Гермеса и Диомеда,
гигантский Геракл, бронзовый Эфеб с укатившимся яблоком раздора или
головой Горгоны? пальцы его держат шаровидный воздух, дрожит пустая
сфера без границ в его растопыренных пальцах, волосы как золотой
венчик. Антикитера, ты заселена перелётными птицами.
неужели ты падка до монет и стеклянной посуды, женских серёг
в виде смеющихся богов, красных и зелёных самоцветов в браслетах?
иного ждут твои придонные водоросли.

Гиппарх положил на палубу триеры Солнце и Луну. эллипс лунной
орбиты застрял в зубчатом колесе. у каждой из планет треугольные
зубья и бронзовые шестерни. сферы из золота, серебра и деревьев ценных
пород принадлежат шарам огромной звезды и шести известных планет.

освободи светило из механической Вселенной, и со дна Эгейского моря

¹Антикитера – греческий остров, возле которого затонул римский корабль с так называемым антикитерским механизмом на борту – прибором для определения положения Солнца, фаз Луны, солнечных и лунных затмений и др.

встанет солнце. не ты ли, Антикитера, теперь пуп земли.

в Риме позолоченная колонна с бронзовыми буквами, а в Кесарии –
плеть с заострёнными кусочками свинца и римские войска,
где только нет римских войск, у слоистого историка Талла
римские легионеры сражаются вместе с титанами против Зевса,
как не римские воины, а греческие? значит, у Талла ошибка,
ведь во время Огигова потопа уже были римские воины,
нет, не они гнали евреев из Египта, но, конечно, они где-то были,
их не могло не быть,
вот только Плиний Секунд,
мой Секунд, как называл его Траян,
(император и сам был поначалу профессиональным легионером,
хотя Рим при нём потом уже чаще не нападал, а защищался),
ах да, Секунд говорил на днях,
как много развелось христиан, на всех не хватит римских
солдат и офицеров,
да и где их взять, когда один центурион
стал учеником этого человека из Назарета,
слепым его учеником,
и якобы сам видел его воскресение,
Плинию виднее, он хочет издать книгу доносов, первую в истории
книгу доносов, пусть люди узнают, что у Рима теперь вовсе нет войск.

Александр¹ был изумлён – ты схватил льва за язык, и язык его остался
в твоей железной руке.
тяжёлая, высокая карта шрамов
на твоём левом плече и бедре, Лисимах. показывай её царю, послам,
женщинам. вот путь царевны Фессалоники –
и она не твоя, в бугре твоей разорванной мышцы
другой диадох, бурлящий, с решительным броском глаз, возлежит с ней.
Кассандр? Птолемей? Селевк? первый, ибо третье из этих имён
– ночь. твоя глиняная длящаяся ночь, победитель льва. кто из детей
Кассандра убьёт свою мать? казни его, и быть тебе царём,
властителем самых бедных македонских земель. впрочем,
Дарданеллы и Босфор ты положишь за щёку и выжмешь из них всё.
диадохи – роза в руках Александра, у неё нет тела,
ибо ветер стих.
ты трогаешь своей голенью племена, Лисимах, и варвары чтят тебя,
они слышат – копьё Александра в тебе кровоточит, они видят –
его диадема тебе велика. в излучине твоего рубца – Пирр. пусть он
поддержит тебя, а ты его разобьёшь. вывернись
наизнанку – твой внутренний лев сегодня ещё не ел.

¹ После смерти Александра Македонского его полководцы – диадохи – разделили власть.

Дмитрий ЛАГУТИН

РАССКАЗЫ

Радио

Кажется, левый наушник слышит лучше правого. Я поменял их местами – и впрямь.

– У меня от этой песни, – сказал диктор, – мурашки по спине бегут.

Заиграло фортепиано, женский голос запел по-английски. Я потрогал лоб – не спадает? Ноги и спину ломило, голова казалась тяжелой и пустой. Я подтянул одеяло до самого подбородка и стал смотреть в потолок.

От окна – сквозь синие шторы – лился в комнату бледно-голубой свет, ложился на письменный стол, заваленный тетрадями, на стул у кровати – термос, пузатая чашка, таблетки, – на люстру, свисающую с потолка. В изгибах люстры свет делался гуще, собирался бликами, и казалось, что сейчас посыплются на ковер мерцающие капли.

Женщина грустно пела, ей вторило фортепиано. Я натянул одеяло на лицо – пришлось поджать ноги, чтобы они не остались раскрытыми – и лежал так, чувствуя, как впитывается в одеяло горячее сухое дыхание, пока песня не закончилась.

– Вот! – воскликнул диктор. – Вот! У меня вся спина в мурашках! Поверьте мне на слово, вся спина, целиком. Ну а сейчас...

«Сейчас» у него разъехалось – получилось что-то вроде «сиз-э-э-час».

– Простите, простите, дорогие слушатели, – и диктор рассмеялся. – Ночь, все-таки, берет свое, берет, что уж тут. А значит, пока будет играть следующая композиция, – он с трудом выговорил название, – я, с вашего позволения, заварю себе чашечку крепкого кофе. Какая это чашка по счету? Кто мне скажет?

Он снова рассмеялся, застучали барабаны, и тонкий мужской голосок принял что-то бормотать.

Я привстал – в голове зашумело – дотянулся до термоса, с хлопком выдернул влажную деревянную пробку и доверху наполнил чашку. Из термоса с плеском выпал шмат лимона.

Издалека – сквозь бормотанье радио – донеслось глухо:

– Бо-ом!

Это старые часы в гостиной – пробили час ночи.

Я сделал большой глоток, сморщился – дерет горло, – поймал двумя пальцами лимон, сунул в рот и стал жевать. Лимон был почти безвкусным, только корка, если ее раздавить зубами, горчила. Я подоткнул подушку к стене, сел, оперся на нее, выудил из-под одеяла приемник и положил палец на ребристое колесико. В наушниках зашипело.

Дмитрий Лагутин родился в 1990 году в Брянске. Окончил юридический факультет Брянского госуниверситета. Победитель конкурса «Всемирный Пушкин» (2017 и 2018, номинация «проза»), лауреат премии «Русские рифмы» «Русское слово» (2018, номинация «Лучший сборник рассказов»), один из победителей конкурса «Мост дружбы» (2018). Победитель конкурса-фестиваля «Хрустальный родник» в номинации «проза» (2019 год). Публиковался в журналах «Новый берег», «Нева», «Нижний Новгород», «Дальний Восток» и др. Предыдущая публикация в «Волге» – повесть «Степная, 1» (2019, № 5-6).

Мимо окна промелькнула черная тень, за ней еще одна – летучие мыши носятся по двору.

Я повозил колесиком туда-сюда, шипение сменилось звуками оркестра. Я какое-то время пытался следить за мелодией, но голова гудела, и внимание вязло, спотыкалось, путалось в чаще звуков.

На следующей станции несколько человек ведущих оглушительно хохотали.

– Как? – кричал один из них. – Как можно было вообще такое выпустить?

И они продолжали хохотать.

Мне стало интересно – что это их так развеселило? – я убрал палец с колесика, выплюнул на блюдце то, что осталось от лимона, и стал пить чай, обжигая губы, но ведущие только хохотали, иногда выкрикивая что-то непонятное, а потом вдруг заиграла музыка.

Из-под двери вытянулась широкая полоса света, спустя несколько секунд дверь приоткрылась, в комнату заглянул отец и что-то спросил.

Я вынул наушники.

– Что?

– Ты как?

– Плохо.

– Не пропотел?

– Нет.

– Ничего, сейчас подействует.

Я кивнул.

– Чай есть?

– Да.

– Еще сделать?

– Нет.

– Тебе к какому уроку?

Я закатил глаза, отец рассмеялся.

– Старосте позвонил?

– Да.

– Врача утром вызовем.

– Хорошо.

– Если что – буди.

– Хорошо.

Он исчез, прикрыв дверь, полоса света еще немного полежала на полу, как коврик, а потом погасла.

Сквозь шторы был виден белый полукруг луны, снова промелькнула тень, за ней вторая.

В прошлом году летучая мышь влетела в открытую форточку на кухне, спихнула с плиты кастрюльку, перебудила весь дом. Отец распахнул окно настежь, и мышь – маленькая, трясущаяся – вынырнула во двор.

Я почувствовал, как потеет прижатая к подушке спина, и положил ладонь на лоб – по-прежнему горячий. Поставил чашку на стул, откинул одеяло, нагнулся, нашарил валяющийся на полу у кровати свитер и влез в него. Свитер был колючий и щекотал шею.

Я надел наушники. Скрипучий голос читал какую-то книгу.

– У Сони задрожал подбородок, – читал голос. – Она закусила губу, но это не помогло. Тогда она сошла с крыльца, еле смогла дойти до березы, нежно белеющей в темноте, привалилась к ней плечом и зарыдала. Ей было стыдно рыданий, она боялась, что услышат, и, чтобы не услышали, зажала в зубы душистый платок.

Я чувствовал, как отступает под натиском таблеток и колючего свитера жар, но голова оставалась пустой и тяжелой, и следить за тем, что происходит с Соней, было сложно.

– А то вы скажите! – продолжал голос. – Если кто тронул, я ему, гаду, ребра поломаю! Николай взял Соню под руку, они перешли пыльную дорогу, свернули налево, пошли тропинкой мимо плетней и огородов.

«Какой еще Николай? – подумал я, возвращая на стул пустую чашку. – Откуда он взялся?»

Я положил палец на колесико и стал смотреть, как бредет от циферки к циферке заусенец ползунка. С одной стороны экранчик пересекала трещина, и по этой трещине очень удобно было водить ногтем.

Снова заиграл оркестр – тот же самый? Я вытянул из пакета кругляш печенья, сжевал его всухомятку, вытер со лба пот и улегся.

Оркестр сперва играл весело, потом стал замедляться, вздыхать, инструменты по очереди замолкали, и вскоре осталась одна скрипка – и она затянула такую пронзительную тоску, что мне стало не по себе.

Тень от люстры вытягивалась через весь потолок, извиваясь и путаясь.

Скрипка плакала, плакала и все никак не могла остановиться. Я стал крутить колесико и крутил его, перескакивая со станции на станцию, с АМ на FM, до тех пор, пока не подобрался к самой таинственной частоте – на которой можно было слушать телефонный разговор соседей снизу.

Под нами жила самая красивая девушка на свете – Аня Степанова. Все мальчишки в округе страдали от неразделенной любви к ней, писали стихи, бросали в почтовый ящик открытки, оставляли у двери бережно собранные букетики, звонили и убегали, топоча по подъезду. Регулярно на асфальте под окнами появлялись написанные мелом признания. Аня училась на третьем курсе факультета иностранных языков, серьезно занималась легкой атлетикой, и, когда она возвращалась вечером из манежа – краснощекая, легкая, тоненькая, с прямой спиной и высоко поднятой головой, с золотыми волнами волос, отброшенными назад и вздрагивающими при ходьбе, с рюкзаком через одно плечо, – ее провожали десятки восхищенных взглядов, а старик Трофимов, присосавший к скамейке под старой липой, качал головой и бормотал, затягиваясь воючей папиросой:

– Ишь какая.

Когда мы с Аней сталкивались в подъезде, я терялся, смущенно здоровался, краснел, а она только улыбалась своей восхитительной улыбкой и говорила:

– Привет.

Она так легко, так просто это говорила, что у меня сердце из груди выпрыгивало. И голос у нее – мягкий, спокойный, как ветерок.

Как я был изумлен, впервые услышав этот дивный голос в наушниках моего приемника! Приемнику было не более месяца – я слушал его днями напролет, таскал с собой повсюду, разорвался на батарейки и объездил ползунком весь земной шар. Ляжешь в кровать, найдешь французское радио, и слушаешь, как они там балакают, букву «р» жуют. Или занесет в Азию, а там... «Ла-ла-ла-ла-ла», – поют. Лежишь и слушаешь – и как будто ты не тут уже, а... где-то. Наверное, нет в мире станции, которую я бы обошел вниманием. А однажды попадаю на разговор. «Ну, – думаю, – передача какая-нибудь». Два женских голоса – и один как будто знаком. И разговор... Обычный разговор, как по телефону. «Чей же это голос, – думаю, – так на Анин похож». И тут голос говорит:

– В манеж? Нет, завтра не пойду.

У меня глаза на лоб вылезли, чуть с кровати не упал. Сел, слушаю – точно Аня! С подругой говорит. Про манеж, про атлетику, про учебу. «Ну, – думаю, – чудеса». То есть не то чтобы прямо чудеса – я знал, что с радиотелефонами такая штука бывает, но чтоб вот так, прямо здесь, да еще Аня!

В общем, я самым бессовестным образом прослушал долгий разговор Ани Степановой с подругой – и, конечно, мне стыдно. На следующий день я встретил ее на площадке у почтовых ящиков и даже не посмел поднять глаза, а уши у меня так горели, что, наверное, светиться могли. Она сказала – мягко и радостно, как обычно:

– Привет.

А я что-то крикнул и побежал вниз.

И, конечно, я запретил себе повторять такую подлость. И, конечно, не сдержался – еще несколько раз я как бы невзначай забредал в Анин телефон и слушал, как она говорит с подругой. Но слушал недолго – почти сразу я начинал морщиться, кривиться, щипал себя за руку, пыхтел и спустя минуту или две выдергивал наушники и отбрасывал приемник – во второй раз он ударился о стену и заработал трещину на экране. Аня была единственным человеком, чей разговор я не мог слушать без того, чтобы чувствовать себя последним мерзавцем, – я даже сам от себя не ожидал.

И вот теперь каким-то неведомым образом коварный ползунок оказался у той самой частоты. Ему оставалось преодолеть каких-нибудь два-три деления, и...

Началась борьба. Я откатил ползунок назад, он вернулся на прежнее место. Я закусил губу и закашлялся – в горле першило. Нашел ближайшую станцию, послушал визгливую нестройную песню. Побежал к зевающему диктору, его уже отпустили – сухой голос зачитывал сводку новостей. Бросился к плачущей Соне и неизвестно откуда взявшемуся Николаю – и не смог их найти. Сел, налил чаю, вытряс из пустого термоса еще один шмат лимона, сунул в рот.

«В конце концов, – думал я, глядя на белый силуэт луны, – с чего я решил, что она не спит? Второй час ночи».

Эта мысль меня успокоила. Я подумал, что не будет ничего постыдного в том, чтобы просто шагнуть на определенную частоту – подумаешь! Я ее даже не замечу, частоту, – пройду мимо из шума в шум, а потом буду искать Соню с Николаем.

И я скомандовал ползунку идти вперед.

Но Аня Степанова не спала. Она говорила по телефону, и голос у нее был странный, без обычной легкости.

– Не знаю, – говорила она. – Не знаю. Странно это.

– Что тут странного? – возражала подруга. – Ничего странного тут нет.

– Не знаю...

У меня кровь отхлынула от щек.

«Сейчас выключу, сейчас выключу», – забормотал я себе под нос.

И я уже прижал палец к колесику, как подруга сказала:

– Ну, влюбилась и влюбилась!

Кровь вернулась в мои щеки, и теперь о них можно было обжечься. Я убрал палец с колесика. Аня молчала.

– Не знаю, – наконец сказала она. – Как-то это...

Подруга щелкнула языком.

– Ну что ты как маленькая?

– Да мы же знакомы с самого детства – разве бывает вот так?

О ком она говорит? С кем она знакома?

Часы в зале пробили два.

– Все бывает, – уверенно сказала подруга. – Подожди секунду, я сейчас вернусь. Окно только открою, духота.

Наступила тишина. Тишина накрыла мир непроницаемым куполом, все замерло. И вдруг я услышал, как Аня Степанова горестно вздохнула. Тишина распахнулась, Анин вздох пролетел сквозь нее, словно птица.

Узнаю, о ком она говорит, и выключу.

– Я тут.

Аня молчала.

– Ань.

– Да?

– Я думала, ты уснула.

– Что-то не хочется.

– Мне тоже.

Я отвернулся к стене и ткнулся носом в шероховатые обои.

- Ань.
- Да?
- Мне иногда кажется, что за нами следят.

Пауза.

- В каком смысле?
- Не знаю. Кажется.
- Не говори глупостей.

Они помолчали.

Было очень жарко, волосы липли ко лбу, я вжимался лицом в обои и старался не думать о том, что я – мерзавец.

- Как море? – спросила Аня.
- Парное молоко.
- Ты хоть загорела?
- Спрашиваешь!

Они снова замолчали.

- Он очень изменился, – сказала, наконец, Аня. – Очень.
- В лучшую сторону?
- Не знаю. Наверное. Как будто совсем другой человек.
- Так и бывает, я думаю.
- Да.

Замолчали.

– Ты бы его видела сегодня, – я по голосу понял, что Аня улыбается. – В парке. Надулся, басит, грудь выпятил! Герой!

Они тихо засмеялись.

- А как наедине оказались – краснеет, молчит.
- Это хороший знак, – уверенно сказала подруга.
- Погоди-ка...
- Что?

Тишина.

– Ань?

Тишина.

- Аня.
- Тут я, тут. Вот он, легок на помине.
- Кто?

– Ну кто-кто! Игорь!

Я ахнул. Игорь!

- Где? – не поняла подруга.
- На балконе – курит опять, дымом в окна тянет.

Я отбросил одеяло и вскочил, едва не опрокинув стул с термосом. Прыгнул к окну, отдернул шторы, влез прямо на стол, на тетради – химия, восьмой класс! алгебра, восьмой класс! английский, представьте себе, язык, восьмой класс! – и прижался щекой к стеклу.

Стекло было ледяное.

Двор тонул в темноте, кроны лип толпились черными валунами, в доме напротив моргали несколько окон, было видно арку, сквозь нее – огни проспекта. Над двором выгибалось иссиня-черное небо, точно булавкой истыканное – белели точки звезд – над крышами качалась луна. Горел всего один фонарь, и казалось, что никакого фонаря нет, а посреди двора, у баскетбольной площадки, стоит сама по себе пирамида оранжевого света. Стоит и очерчивает оранжевыми бликами долговязую фигуру Игоря, прислонившегося к перильцу подъездного балкона, между третьим и четвертым этажами, в нескольких метрах от меня, по диагонали. Игорь курил и смотрел в темноту. Огонек у его лица то вспыхивал красным, то бледнел.

Игорь жил на одной площадке с Аней – в квартире напротив. Он был старше ее на несколько лет, и только недавно – месяц или полтора назад – вернулся из армии, в которой провел два года после окончания того же факультета иностранных языков. С ним мы тоже здоровались – как и с Аней – но я даже не был уверен, знает ли он, как меня зовут. Он производил впечатление замкнутого, угрюмого человека, и не верилось, что Аня может в него влюбиться.

За время службы он несколько раз приезжал домой – и я дважды видел его в военной форме, коротко стриженного, с вытянутым худым лицом над широкими плечами.

– Пойдешь? – спросила подруга.

Я закашлялся и тут же прижал ладонь ко рту – испугался, что меня услышат.

– Куда?

– К нему.

Аня рассмеялась.

– Ты что? Нет, конечно!

– Почему? У вас там холодно?

– Нет, тепло...

– Ну так что же?

Игорь докурил, щелкнул пальцами, и красная точка полетела вниз.

– Да что ты! – возмутилась Аня.

– А-не-чка, – протянула подруга, – это же так романтично.

– Не знаю...

Какой я мерзавец.

Игорь не уходил. Скрестил руки на груди, смотрел перед собой.

– Хозяин – барин, – сказала подруга. – Не хочешь, не иди.

Аня молчала.

– Докурил уже... – неуверенно сказала она.

Подруга зевнула.

– Слышишь? – воскликнула она.

– Что?

– Чайки кричат! Слышишь?

Чаяк слышно не было.

– Нет.

– Подожди, я телефон к окну поднесу, если провода хватает.

Раздался шум, что-то стукнуло.

– Сейчас всех перебуду, – засмеялась подруга. – Вот, слушай.

И я, как сквозь вату, услышал резкие протяжные крики.

– Вот это да, – выдохнула Аня.

– Это тебе моря не слышно еще. Не слышно ведь? А до меня долетает.

– Он не уходит.

– Игорь?

– Да.

Игорь стоял, точно статуя – не шевелясь.

– Так может, все-таки...

Аня молчала.

– Это подло, – сказал я себе и выдернул наушники.

Я обернулся, кинул приемник на кровать – он приземлился ровненько по центру – и шумно выдохнул. На стекле появился кружок испарины.

Но со стола я не слез. В том, чтобы просто смотреть в окно, никакой подлости нет. Выйдет Аня к нему? Если выйдет – я тут же исчезаю; мне бы только знать – выйдет ли?

Промелькнула перед самым моим носом летучая мышь – я даже не испугался. Проползла через двор, выставив перед собой две сияющие полосы, старенькая девятка, из пятого подъезда.

Я нашел взглядом Орион, Большую Медведицу. Налетел ветер, и черные кроны задрожали, разбуженные. В доме напротив загорелось голубым окно, тут же погасло.

Игорь стоял не шевелясь. Потом он встряхнул головой, развернулся, дернул балконную дверь – ему в лицо хлынул свет – и ушел.

Я еще немного посмотрел на опустевший балкон, медленно слез со стола – на пол со стуком упал пенал, – поправил шторы и влез под одеяло, ощупывая лоб.

Не надевая наушники, я выкрутил колесико до упора – ползунок испуганно прижался к краю белой полосы.

В дверь постучали, ручка вздрогнула. Я закрыл глаза и замер.

– Спишь? – негромко позвал отец.

Я не ответил.

Когда дверь щелкнула, закрывшись, я надел наушники, доплыл до ближайшей станции и стал слушать, как двое с одинаковыми голосами обсуждают итальянские мотивы в творчестве Пушкина.

– Можно с полным правом говорить о таком явлении как пушкинская Италия, – говорил один, – и, разумеется, мы не сможем провести между этой Италией и, так скажем, реальной Италией знак равенства.

– Вы совершенно правы, – соглашался второй. – Но с тем же правом можно говорить и о Петербурге Пушкина, и о...

– Конечно-конечно, – перебивал его первый. – С тем же самым правом.

Я подтянул одеяло к подбородку, отвернулся к стене, прижался к ней лбом и очень скоро уснул.

Когда передача о Пушкине сменилась музыкой, я сквозь сон нащупал наушники, вытащил их и опустил приемник на ковер у кровати.

Кораблики

Утро было пасмурное. По небу тянулись серые лохмотья облаков.

– Такой нож и не купишь нигде, – говорил Лёха. – У нас таких не продают.

Мы сидели на моем крыльце и скребли ножами куски сосновой коры – делали кораблики. Лёха орудовал швейцарским перочинным красавцем, я – тупым кухонным коротышкой.

Швейцарский нож Лёхе привез отец-подполковник.

– Как бы дождя не было, – сказал я.

С моей стороны крыльцо было обвито плющом – широкие бордовые листья висели гирляндами, щекотали шею.

– Смотри, как кромсает!

Из-под серебряного лезвия выныривали полупрозрачные деревянные чешуйки, сыпались на крыльцо.

– Дай попробовать.

Лёха запрокинул голову и расхохотался.

Какое-то время скребли молча. Кухонный нож отказывался работать тонко и выгрызал из коры толстые бесформенные щепки.

Подул ветер – и бордовые листья зашуршали у самого уха.

– Я раз порезался, – сказал Лёха, – кровички натекло. До кости.

Я посмотрел недоверчиво. Он вытянул руку, сунул мне под нос большой палец. Через подушечку тянулся по диагонали тонкий белый шрам.

– Если бы до кости, – сказал я, – зашивали бы.

– Так я не сказал никому! Еще отберут! Пластырем стянул – ничего, заросло.

Я покачал головой.

Лёха положил нож на лавку и принялся чесать ухо. Была у него такая жуткая привычка – уши чесать. Лицо при этом скривит, глаза прищурит – смотреть страшно. И звук – как трещотка какая.

Уши у него огромные, как блины, красные, и торчат в стороны.

– Смотри! – Лёха оставил в покое ухо и ткнул пальцем вверх.

Под крышей, в углу, сидел, распластав крылья, здоровенный серый мотылек.

Я пожал плечами.

– Прилетит ночью и сядет тебе на лицо, – сказал Лёха.

Я поморщился.

– Что ты несешь?

Лёха выпучил глаза.

– Я про такое читал.

Я вздохнул и повертел в руках кораблик – он получался вполне себе сносным. Неуклюжим, но сносным. Кора казалась теплой.

– Бревно, – сказал Лёха. – Не поплывет.

Я промолчал.

– Вот у меня – другое дело.

Его кораблик по сравнению с моим казался произведением искусства. Глубокий, с тонкими стенками и дерзким задраным вверх носом.

– Вот это я понимаю, – сказал Лёха.

Он ловко щелкнул ножом – лезвие моргнуло и спряталось – отогнул блестящий штопор и принялся что-то царапать на коричневом боку.

Кора слушалась так, словно была в сговоре со штопором.

– Во!

Он вытянул руку, и я увидел ровные квадратные буквы:

«ЛЁХА».

– Отлично.

В просветах между бордовыми листьями замелькало что-то пестрое, а в следующее мгновение у калитки показалась цыганка.

Это была самая старая и самая злющая цыганка из всех, что я видел. Она жила в бараке за вокзалом, и от нее даже свои цыгане шарахались. Она целыми днями слонялась по округе и приставала ко всем, кого видела, – ругалась. У нее было сморщенное желтое лицо, черные глазобусины и широкий рот, похожий на щель. Вся она была замотана в давно выцветшие тряпки. Вдобавок ко всему она страшно горбилась и оттого смотрела исподлобья.

Она положила желтую ладонь на калитку и уставилась на нас.

Повисла тишина, даже листья перестали шуршать.

Лёха щелкнул штопором, откинулся на лавке и задрал подбородок.

– Чего надо?

Цыганка зачавкала губами, черная щель задвигалась, в ее глубине заездили туда-сюда несколько золотых зубов.

– Погыдать? – проскрипела она, наконец, и положила вторую ладонь на калитку.

Лёха подбоченился и фыркнул.

– Все зынять будешь. Все зынять.

Каждое слово окутывалось целым облаком чавканья и шлепков губы о губу. Лёха снова фыркнул.

Желтая ладонь потянулась к ручке.

– Заходить нельзя, – тихо сказал я.

Ладонь остановилась на полпути. Цыганка посмотрела на меня, на Лёху, щель растянулась в ухмылке.

– Ушастый, – проскрипела она, – погыдать?

Лёха прыснул, и я краем глаза увидел, как у него щеки стали пунцовыми.

– Ишь ты, – протянул он. – Чеши отсюда.

Цыганка завозила губами, пробормотала что-то неразборчиво.

– Э! – окликнул ее Лёха, привставая. – Ты что там бормочешь? Вали давай!

Цыганка выпучила черные глаза и скривилась.

А Лёха разошелся.

– Вали, вали! – он вскочил с лавки. – Катись!

Цыганка скорчилась, как будто ей было больно.

– Щенки пыршивые, – процедила она.

Лёха ахнул.

– Это кто щенки? Кто щенки?

Он схватил кораблик и замахнулся им.

– Вали давай, пока по башке не дал!

Цыганка отшатнулась от калитки, пряча в платки желтые ладони, вытянула шею и плюнула:

– Сыдохнете!

Лёха рассвирепел, он спрыгнул с крыльца, ухватился за калитку и закричал:

– Я сейчас батю позову, он тебе руки-ноги переломает!

И он завертел головой, делая вид, что ищет отца. Цыганка тоже завертела головой и втянула шею в плечи.

– Бать! – крикнул Лёха. – Бать!

Цыганка отступила. Лёха приставил ладони ко рту и заорал на всю улицу:

– Ба-ать!

Цыганка дернулась, засеменила вбок, запнулась, чуть не упала, дернулась, удерживая равновесие – при этом из тряпок вынырнули ее тощие локти. Она снова вытянула шею – и скрипнула, на этот раз как-то неуверенно:

– Умьрете!

Лёха разразился громогласным хохотом.

– Ба-ать!

Цыганка развернулась и уковыляла за угол. Воцарилась тишина.

Я посмотрел на Лёху, он потряс кулаком и вернулся на крыльцо.

– Дура, – сказал он и сел. – Давай гвоздь.

Я протянул ему гвоздь, и он стал вкручивать его в кораблик – отверстие для мачты. Мачтами служили ровные белые – без коры – веточки сирени.

Я посмотрел на перекресток.

Над головой послышался шелест – мотылек сновал из угла в угол, мельтеша крыльями. Наконец, он выбрал себе место и притих. Я встряхнул головой, взял в руки кораблик.

– Будет дождь, – сказал Лёха. – Вон как нависло.

По небу, кувываясь, неслись лохмотья.

– Есть!

Лёха поставил мачту и кинул мне гвоздь. Я проковырял в коре неровную дырку, дунул в нее, втиснул белую холодную мачту.

– С такой штучкой не пропадешь, – снова завел свою песню Лёха. – Тут и большой нож, и маленький, и отвертка с открывашкой, и штопор. И вон чего.

Он вытянул пластиковую зубочистку и тонкий металлический пинцет.

Но я его не слушал. Я вынул мачту, углубил дырку, взял свой нож и снова стал скрести кораблику бока.

Засвистел ветер – и плющ заметался, забился. Мотылек вострепнулся и стал нарезать круги по крыльцу.

– Фу! Фу! – замахал руками Лёха. – Кыш!

Мотылек юркнул в дергающийся плющ, выпорхнул из него, пронесся мимо меня и взмыл на прежнее место. Там он потоптался беспокойно, устраиваясь поудобнее, и затих.

В следующее мгновение на улицу обрушились золотые лучи – облака в одном месте разошлись, выпуская на свободу солнце.

С крыльца солнца видно не было, и казалось, что улица светится просто так, сама по себе, а небо остается серым. Светилось все – дорога, усыпанная камнями, жидкая осенняя трава, палисадники, шифер на крышах, клен, гараж, фонарный столб. Запылала бордовая листва, превратилась в рубиновые.

Лёха свесился с крыльца, и его огромные уши тоже запылали.

Только мотылек никак не отреагировал – спал.

По дороге протарахтел, подпрыгивая на кочках, соседский запорожец, свернул за угол, оставив за собой сизую дымку.

Я вернул мачту на место, потянулся за парусом. В роли паруса выступал белый бумажный прямоугольник. Его надо было аккуратно проткнуть гвоздем – внизу и сверху – и нанизать на мачту.

Улица закачалась, золотой свет куда-то поплыл, стал бледнеть.

Я раздвинул бордовые листья и высунул голову наружу. Солнце то ныряло в серую пучину, то выныривало из нее, раскидывая сияющие крылья. Ветер подгонял обрывки облаков, они натывались на лучи и расплывались. Такая чехарда продолжалась минуту, а потом хмурый свод сомкнулся, и солнце осталось где-то там, в глубине, и уже нельзя было сказать наверняка, что оно только что было здесь и даже светило.

Лёха дернул меня за ногу.

– Чего завис? Я все, пошли.

По лицу прошуршали темные листья, и я оказался внутри.

Лёхин кораблик важно стоял на лавке, вскинув острый нос. Над ним выгибался широкий парус с какими-то каракулями.

– Это что? – спросил я.

– Иероглифы!

Мой кораблик жался в углу, отвернувшись ото всех и уткнувшись тупым носом в стенку.

На улицу упало и тут же исчезло золотое пятно.

– Пошли!

Я смотрел на кораблик.

– Пошли, чего завис?

Лёха дотянулся и ткнул меня кулаком в плечо. Я встряхнул головой.

– Смотри, – сказал Лёха, протягивая мне свой фрегат.

В самом низу, у основания, мачта была обернута чем-то разноцветным, и это что-то почти полностью скрывалось в отверстии, только краешек выглядывал наружу.

– Что это?

Лёха ухмыльнулся и вернул кораблик на лавку.

– Вот взял и сказал.

– Вкладыш какой-нибудь?

Лёха отвернулся, не переставая ухмыляться.

– Тайна! – сказал он значительно.

Я посмотрел на свой кораблик. Он был начисто лишен какой бы то ни было тайны. Он был прост и неуклюж, и стыдился этого, забившись в свой угол. Я положил его на ладонь и встал.

– Подожди, – сказал я.

Я повернулся к двери, ведущей в дом, и открыл ее. Подскакивший было Лёха плюхнулся на лавку.

– Ты совсем, что ли? – протянул он. – Весь день тут просидим!

Я не ответил и вошел, закрыл за собой. Не разуваясь, прошагал через коридор – на кухню. Тут было тепло, пахло едой, с холодильника бормотало радио.

Кот, свернувшийся на табурете, поднял голову и посмотрел на меня сонными глазами.

Я поставил кораблик на стол, полез в ящик и сразу же обнаружил то, что требовалось – стопку белых квадратных листочков, аккуратно нарезанных бабушкой и предназначенных для банок с вареньем. Взял верхний, повертел в руках – согдится.

Во всей кухне не было ни одного карандаша – и ни одной ручки. Точнее, была одна – но без стержня.

Пришлось разуваться и идти в комнаты.

В доме было тихо, цокали настенные часы, сквозь тюль лился с улицы тусклый серебряный свет, все казалось погруженным в дремоту.

Бабушка спала в кресле, опустив голову на грудь. На коленях лежала раскрытая книга. Я на цыпочках прокрался в свою комнату – дальнюю – и выудил из пенала ручку.

Каждый шаг отдавался пронзительным скрипом – старые доски возмущались нарушению их покоя.

Из окна столовой было видно угол крыльца и Лёхину голову с огромными ушами. Голова покачивалась из стороны в сторону – Лёха, должно быть, что-то напел, но казалось, что голова качается от ветра.

Ветер яростно трепал сирень, плющ и все, до чего мог дотянуться, и странно было наблюдать это буйство сквозь застывший, недвижимый тюль.

Когда я открыл дверь в кухню, меня окликнула бабушка.

– Все хорошо, – ответил я.

– Родители не звонили?

– Не знаю, я только пришел.

– Есть будешь?

– Позже.

Бабушка пригладила ладонью волосы и закрыла глаза. Я вышел, сунул ноги в ботинки и осторожно прикрыл дверь.

На кухне я согнал кота с табурета и сел за стол, у окна. Оторвал от листка тонкую полоску, положил перед собой, занес ручку.

Что написать?

Бубнело радио, урчал холодильник, было тепло, и не хотелось никуда уходить.

За окном – двор. Грядки, клумбы, сарай, теплица, яблоня. Среди раскачивающихся ветвей белеет новенький скворечник. А за забором – крыши, крыши, крыши, и из-за них выглядывают удивленно кроны деревьев.

Небо волновалось, точно море, перекачивалось свинцовыми волнами.

По старой березе, через улицу от нас, карабкался кто-то из мальчишек. Самое высокое дерево в округе. Маленькая темная фигурка лезла все выше и выше, а береза не заканчивалась. Наконец смельчак остановился и сел на ветку, обхватив ствол обеими руками.

Высоко как! У меня ладони вспотели.

Я вспомнил цыганку.

Коснулся ручкой листка и вывел:

«Не умру».

Подождал немного – как слезать будет? – но смельчак сидел, как прирос. Проспорил? Кот ткнулся лбом в ногу, запросился на табурет, радио перестало бубнеть и тихо запело женским голосом.

Я зажал бумажку в кулаке и встал – кот тут же запрыгнул на мое место – дотянулся, не отводя взгляда от окна, до хлебницы, нащупал баранку, сунул в рот.

Смельчак все сидел.

Я услышал, как топает по крыльцу Лёха, взял со стола кораблик и вышел в коридор. Зачем-то включил и выключил свет, поправил выглядывающие из-за шкафа удочки, натянул кепку, посмотрелся в зеркало, снял.

У самой двери я остановился, вынул из кораблика мачту, обернул бумажкой поплотнее – и вставил обратно. Бумажка спряталась только наполовину, мачта стояла как влитая.

Лёха негодовал.

– С тобой связываться – себе дороже.

– Не связывайся, – ответил я.

Плющ затрепетал приветственно, на крыльцо упало несколько капель.

– Вот как ливанет! – сокрушался Лёха.

Мы спустились с крыльца, вышли за калитку. На улице было пустынно, свистел ветер, гнал по дороге пыль.

Я обернулся, березы из-за дома не было видно.

– Что ты делал-то?

Я махнул рукой.

– Жрал, небось, – обиженно сказал Лёха. – Мог бы и мне вынести.

– Не жрал я.

Я проглотил недожеванную баранку, и она проскрежетала по горлу. С перекрестка береза открывалась как на ладони, на ней никого не было.

– Что там? – спросил Лёха.

– Ничего.

Мы свернули на Базарную. Лёха снова заладил про свой нож.

– Его и точить не надо, – говорил он. – Он самозатачивающийся.

– Это как?

Лёха задумался.

– А шут его знает! Батя сказал. С таким ножом не пропадешь!

И он опять пустил его расхваливать – и расхваливал до самой канавы.

Из-под перекрестка выныривал обрубок широкой бетонной трубы, здесь начиналась канава – и бежала вдоль дороги до самого поля – четыре переулка. Канава была узкая, глубокая, поросшая с обеих сторон высокой травой. На каждом перекрестке она снова пряталась в арку трубы – такая же ждала ее и перед полем, у деревьев, – серая, неаккуратная, с шербатыми потрескавшимися краями. Труба тянулась через поле, то выпячивая из травы свой шербатый хребет, то прячась под землю и прерываясь лишь раз, под крошечным мостиком, – с тем чтобы потом выглянуть из высокого берега и уткнуться в реку. Со стороны могло показаться, что труба хочет пить.

Накрапывал дождь.

– Давай я оба, – предложил Лёха.

– Я сам.

Мы опустились на четвереньки.

– Я в прошлый раз чуть не нырнул, – сказал Лёха.

Я вытянул руку, свесился вниз, к самой воде. Вода была темная, по ней плыли щепки, листья, я видел свое отражение на фоне свинцового неба.

– Ты к этому краю, я – к тому, – скомандовал Лёха. – На счет три.

Дождь застучал звонче, в канаву льдинками падали капли, из черного бетонного нутра летел гул. У кораблика были теплые шершавые бока, всем своим видом он протестовал против расставания.

– Три!

Я осторожно поставил кораблик на воду, кончики пальцев лизнуло холодом. Кораблик дернулся, повел носом в сторону, наклонился вбок, выпрямился и растерянно двинулся по течению.

Лёхин заскользил ловко, со знанием дела, высоко поднимая нос.

Лёха отпрыгнул куда-то, вернулся с суковатой палкой – расчищать путь. И мы зашагали вдоль канавы. Лёха тараторил:

– Мне батя в другой раз кортик привезет. Обещал.

– Зачем тебе кортик?

Кораблики шли вровень, только мой то и дело косился на берег.

– Слышь, ты чего? Зачем? Это ж кортик!

Я споткнулся о кирпич, зачем-то лежащий на проходе, пнул его ногой. Лёха прыснул.

– У бати есть кортик – свой, в ящике лежит. И у меня будет теперь.

Небо потемнело, ветер усилился, дождь сыпал наискосок – набирал силу.

– Только его на улицу выносить нельзя! – продолжал Лёха.

– Зачем он тогда нужен?

Лёха фыркнул. И бросился вперед – выталкивать из канавы кусок пенопласта, зацепившийся за траву.

Кораблики притерлись друг к другу и нырнули в первую арку. Мы перебежали дорогу и свесились вниз.

Кораблики вышли из тоннеля ошавевшие, испуганные, завертели носами.

– Ты бы видел его кортик, – продолжал Лёха. – С гравировкой, весь в вензелях. Бате какой-то адмирал дарил.

– Здорово.

У меня намокли плечи, дождь колот шею. Сзади раздался скрежет, поднялось облако пыли.

– Молодежь! Дайте проехать!

Мы отпрыгнули на траву. Грузный краснощекий мужик в клетчатой рубаше проплыл мимо, наваливаясь на педали высокого велосипеда.

Лёхин кораблик ускорился и юркнул во вторую арку. Мой замешкался, подгрёб под себя широкий кленовый лист, да так и пошел – волоча его за собой.

– А у бати и пистолет есть! – воскликнул Лёха, встречая кораблик с той стороны. – Тяжеленный!

– У моего тоже есть, – соврал я.

Лёха обернулся, прищурился.

– Какой?

– Тяжеленный.

Мой кораблик зацепился мачтой за пук травы, я плюхнулся на живот, освободил, подтолкнул легонько. Кораблик был холодный и мокрый.

– Эй, не толкай! – крикнул Лёха. – Нечестно!

Дождь усилился, волосы прилипли к вискам, за шиворот бежали ручьи. За высоким забором залаяла собака, и лай неся вровень с нами, пока забор не закончился.

Лёхин кораблик притормозил, точно устал, и в третьей арке исчезли одновременно.

За этим перекрестком дома стояли свободнее. Дорога топорщилась колдобинами, сужалась. Это был последний переулок, дальше – за деревьями – поле.

Но из тоннеля показался только один кораблик – мой.

Лёха грянулся на землю, ухватился рукой за край трубы, сунул голову внутрь. Я испугался: сейчас свалится, бросился к нему.

Из трубы раздалась ругательства. Кораблик зацепился за проволоку, выглядывавшую из воды, и застрял. Лёха ворошил в трубе палкой – но дотянуться не мог.

Наконец он высунул голову, продолжая ругаться. Рука у него была расцарапана до крови. Он с хрустом сломал палку и сплюнул себе под ноги. Потом обернулся.

Мой кораблик, вздрагивая, уплывал все дальше.

– Вот ты как?! – заорал Лёха и ринулся к нему, замахиваясь тем, что осталось от палки.

У меня кровь отхлынула от лица. Записка!

– Не трожь!

Я дернул Лёху за плечо и навалился на него.

Тут же Лёха заехал мне в лоб локтем, в глазах потемнело. Лёха швырнул обрубок палки, он ударилась о воду в метре от кораблика.

– Не трожь! – крикнул я и снова навалился на него.

Лёха извернулся, обхватил меня, повалил, бухнулся сверху, я зажмурился, стал брыкаться, Лёха замахал кулаками во все стороны, мне опять прилетело в лоб, потом в щеку. Я открыл глаза, ухватился за огромное красное ухо, мелькавшее надо мной, и что есть силы дернул.

– Оторвал! – взвизгнул Лёха и повалился на бок.

Я извернулся и увидел, как белый парус исчезает в темном полукруге трубы.

– Посмотри, оторвал? Оторвал?! – кричал Лёха.

Я подскочил, охнул – щека отекала – шагнул к Лёхе. Он сидел бледный, прижав обе руки к уху.

– У-убери руки, – сказал я, заикаясь.

Мне стало страшно – вдруг я правда оторвал ему ухо?

Но ухо было на месте, целое и невредимое, – только багровое и распухшее.

– На месте, – сказал я и сел рядом.

Мы были грязные, мокрые, дождь барабанил по дороге, между колдобинами вытягивались мутные лужи.

– Молодежь!

По дороге ехал в обратную сторону мужик на велосипеде. Он поравнялся с нами и остановился.

– Молодежь! Вы чего в грязи сидите?

Лёха отвернулся, я открыл рот, но не знал, что ответить.

– А я поехал было к реке, да вот дождь.

И, точно услышав его слова, дождь обрушился на нас с такой силой, словно хотел придавить. Мужик втянул голову в плечи, со второго раза поставил ногу – она соскальзывала – на педаль.

– Бегите к деревьям, чего сидите!

Он лег на руль, пихнул педаль и медленно покатился в сторону.

Мутные лужи пенились и топили колдобины. Траву прибило к самой земле. У меня одна половина лица горела, а второй было холодно.

Лёха поднялся и медленно, вразвалку пошел к деревьям. Он вытянул шею, задрал подбородок и расправил плечи как только мог – и так и шествовал, не обращая внимания на ливень. Только багровое ухо торчало как-то некстати.

Я встал, хотел окликнуть его, но промолчал. Пощупал щеку и двинулся следом. У самых деревьев Лёха обернулся, и я выпрямился, замедлил шаг.

Деревья оказались прекрасным укрытием. Это были коряжистые, старые деревья с переплетенными кронами и толстыми гнутыми стволами. Листва смыкалась над нашими головами темным сводом, по ней стучала вода.

Лёха стоял на самом краю поля, скрестив руки на груди, широко расставив ноги. Справа от него из земли показывалась труба, подернутая мхом, уходила вперед, исчезала в траве.

Я подошел, стал рядом.

Поле таяло в пелене дождя, стоял грохот. Небо клубилось тучами. Впереди сквозь пелену темнела полоска леса, к ней убегала, извиваясь, серая дорога.

Лёха молчал, смотрел перед собой, задрал подбородок.

Там, над лесом, небо светлело. Может, там и дождя уже не было. Мы смотрели, как расплзаются в стороны тучи, как бледнеет серое сукно, наливается сиянием, прогибается. Я почти услышал треск, с которым оно лопнуло – и в прореху хлынули потоки золотого света.

Деда

– Что тебе нарисовать?

– Котя.

– Котика?

– Да!

Девочка захлопала в ладоши.

Защебетал дверной звонок.

– Птичка!

– Деда пришел.

Девушка положила мелки на ковер и встала. Девочка заплясала:

– Деда! Деда!

– Стой ровненько!

Девушка вынырнула в коридор, повернула ключ и вернулась в комнату.

– Деда, привет! – крикнула она. – Мы тут!

Девочка, смеясь, отбежала в угол и спряталась за кресло.

В коридоре зашуршали пакеты.

– Оля, снова тапки не могу найти.

– Под обувницей.

Зашаркали шаги, дверь приоткрылась, и в комнату заглянул, расплываясь в улыбке, старик.

– Здравствуйте! – сказал он и вошел.

За собой он тащил огромный разноцветный сверток.

– Деда! – всплеснула руками девушка.

Она обняла старика и поцеловала в щеку – в редкую белую бороду.

Старик посмотрел по сторонам и ахнул.

– А где же Ирушка?

Девочка, выглядывающая из-за кресла, сделала хитрое лицо и сказала:

– Ку-ку!

Старик отпустил сверток, раскинул руки в стороны и принялся шагать туда-сюда, держась подальше от кресла.

– Где же Ирушка? Кто-то прокукувал, а кто – неясно!

Девочке надоело прятаться, и она с писком выбежала на середину комнаты.

– Вот же она!

Старик, кряхтя, подхватил девочку на руки и принялся целовать. Девочка засмеялась, стала отпихиваться, прятаться от бороды.

– Бада! Бада!

– Бада! – подтвердил старик. – Не ахти какая, но бада! По возрасту положено, каждому пра-деду по бороде!

– Как твой кашель?

Старик опустил девочку на ковер, она тут же побежала к свертку, засемила вокруг него.

– Ничего.

Девушка покачала головой.

Девочка ощупывала сверток, охала, удивляясь.

– Кысива! Кысива!

– А уж что внутри-то! – торжественно произнес старик. – Распаковывайте!

Девушка рассмеялась.

– Деда, ну что ты, в самом деле!

Старик сделал строгое лицо.

– День рождения! Положено!

– Каждый месяц только до года празднуют!

Старик замотал головой.

– И знать ничего не хочу!

Девушка опустилась на колени и принялась разворачивать сверток. Старик загибал пальцы.

– Это сколько же получается... Двадцать два... Двадцать два месяца! Шутка ли!

Из свертка появилась вышитая розами лошадь-качалка. Она стояла на сверкающих деревянных полозьях и кивала головой.

Девочка захлопала.

– А это не опасно?

Старик посмотрел с укором.

Он подошел к девочке, наклонился и поцеловал кудрявую макушку.

– Поздравляю с днем рождения.

Он погладил лошадь по тряпичному боку.

– Назовем ее розочкой, видишь, какая красавица!

Девочка задумалась и протянула:

– Озочка.

Старик положил ладонь на поясницу, выпрямился.

– Спина болит? Посиди.

– Пустяки! – старик махнул рукой и прошел через комнату к окну, девочка засеменила следом.
– Погода-то какая! Нужны вам эти шторы!

Он отдернул занавеску, и комнату расчертили золотые лучи.

– Бабье лето! – вздохнул старик. – А где дедово?

Он повернулся к девочке и сделал удивленное лицо:

– Где? Где дедово лето?

А потом подхватил ее на руки.

– Вот оно! Вот оно, дедово лето! Вот оно самое!

– Бада! Деда, бада!

Старик опустил девочку, она побежала к лошади, полезла на нее, соскользнула и плюхнулась на ковер. Губы тут же задрожали.

– Ничего, ничего! Оля, помоги дитяте.

Девушка недоверчиво качнула лошадь туда-сюда, отодвинула от дивана, посадила девочку верхом и выставила руки с обеих сторон – ловить.

Девочка схватила лошадь за гриву и зацокала языком.

– Вот! Просто замечательно! – старик приставил к губам пальцы и изобразил свист. – Как я в детстве о такой мечтал!

Он опустился на диван, пригладил белые волосы.

Девочка качалась вперед-назад, взвизгивала. Вскоре ей надоело, и она запросилась вниз. Оказавшись на ковре, она схватила мелки и стала выводить в альбоме загогулины.

Девушка посмотрела на часы.

– Деда. Я пойду. Готовить надо, а то до сна не успею.

Старик замахал руками.

– Конечно-конечно!

– Спасибо за подарок.

Она поцеловала девочку и вышла.

Старик закашлялся, постучал ладонью по груди, а когда кашель прошел – улыбнулся, покачал головой.

Какое-то время сидели молча. Девочка выводила загогулины, старик внимательно следил. Потом не выдержал и позвал:

– Ирушка!

Девочка встрепенулась.

– Что ты там рисуешь?

– Котя!

Девочка схватила альбом и положила старику на колени.

– Котя... – пробормотал старик задумчиво.

Потом тряхнул головой.

– Ирушка, какая красота!

Девочка затанцевала.

– Деда! Деда! – запищала она и высыпала на альбом мелки.

– Рисовать?

– Да!

– Что же тебе нарисовать?

– Котя!

Старик выбрал один мелок, остальные аккуратно сложил на диване, достал из нагрудного кармана очки, надел. Прищурился и стал рисовать.

– Это я тебе не просто какого-то котю рисую, – говорил он вполголоса. – Это мой добрый друг Чернослив. Я с ним в детстве в обнимку спал.

Девочка смотрела, не отрываясь.

Наконец старик снял очки, отложил мелок и воскликнул:

– Вуаля!

Девочка взяла альбом двумя ручками, положила на ковер, села рядом, долго смотрела на рисунок, а потом сказала:

– Котя!

Старик рассмеялся.

– И какой котя! Настоящий боевой товарищ! Я его сам домой принес, с улицы. Спас, почитай.

Старик посмотрел в окно.

– Ирушка! А погода-то какая!

Девочка обернулась.

В окно было видно светлое голубое небо, застеленное прозрачным кружевом облаков, и огненную верхушку клена.

Старик охнул, полез в карман.

– Ирушка! Ведь я тебе каштанчиков принес!

И он протянул девочке три крупных блестящих каштана.

Девочка распахнула глаза, взяла каштаны – один выронила – и стала рассматривать.

Широкий золотой луч падал из окна на ладони, и каштаны сияли. По их коричневой коже бежал узор – овалы, точно круги на воде.

– Подрастешь – будешь их метать, – сказал старик. – Прекрасное занятие. Скачут как резиновые.

Он поднял упавший каштан и поднес к самым глазам.

– Вот ведь природа!

Из кухни донесся шум воды.

– Я сейчас уже, конечно, не вижу, – сказал старик, – но на каштанах, вот прямо на них самих, кружки нарисованы.

Девочка посмотрела озадаченно.

– Помню, как я удивился, когда разглядел их когда-то.

Он покатал каштан по ладони.

– Это природа рисует.

На кухне заголосил чайник, тут же затих.

Девочка положила каштаны на ковер, потопталась на месте и снова юркнула за кресло.

Старик завертел головой.

– Где же Ирушка?

Девочка выглянула и пискнула:

– Ку-ку.

Старик оперся о диван, встал, прошелся из угла в угол.

– Только что здесь была – и вдруг исчезла!

Девочка, смеясь, выбежала из-за кресла и полезла на диван.

– Смотри, Ирушка, театр.

Старик протянул руки – и их окутали лучи. Он сложил ладони вместе, сжал одной другую и оттопырил два пальца вверх.

На стене, у самого пола, вырос заячий силуэт.

– Ирушка, зайчик!

Девочка повертела головой, потом увидела тень, брови ее поползли вверх, она соскользнула с дивана и подбежала к стене.

Заяц сидел смирно, шевелил ушами и протягивал девочке маленькую круглую лапку.

– Он здоровается, Ирушка! Здоровается с тобой!

Девочка улыбнулась, закачалась, стесняясь, но потом потянулась и погладила тень.

Старик рассмеялся, вскинул руки, и заяц исчез. Старик склонился к девочке и взял ее за плечи.

– Ирушка, ну что ты за золотой ребенок! Ведь ты – мой лучший друг!

И он снова поцеловал кудрявую макушку.

– Вот чувствую – лучший друг!

Девочка привстала на цыпочки.

– Что такое? Целовать? – Голос старика дрогнул. – Милая ты моя!

Он склонился ниже, и девочка звонко поцеловала его в щеку.

– Бада!

Старик выпрямился, провел по лицу рукой, вздохнул. Приложил ладонь к груди, закашлялся.

Девочка сидела и катала по ковру каштаны.

В коридоре раздались шаги, дверь открылась. Старик отдернул руку.

– Деда, я чай сделала.

Старик кивнул.

Девушка посмотрела на каштаны.

– Ирочка, что это у тебя? Это тебе тоже дедушка принес? Ну, задарил!

Старик подошел к окну.

– Какая погода!

– Да, замечательная.

Девочка оставила каштаны и спряталась за кресло.

– Оля.

– Да?

– А ты своего прадеда помнишь?

Девушка собрала каштаны, положила их на диван.

– Деда, ну что ты?

Девочка выглянула из-за кресла.

– Ку-ку!

– Помнишь?

– Кажется, да.

Старик повернулся.

– Оля, – улыбнулся он. – Ведь не помнишь.

Девушка скрестила руки на груди.

– Помню!

Он снова улыбнулся.

– Не помнишь. А он ведь с тобой возился – не отходил.

Девушка промолчала.

– Ку-ку!

– И я своего не помню, – сказал старик.

Девочка выглянула, позвала обиженно:

– Деда!

Старик вздрогнул, встряхнул головой.

– Ой! – воскликнул он. – А где же Ирушка?

Девочка выпрыгнула из-за кресла, побежала к нему, но на полпути свернула к дивану и сгребла в охапку каштаны – все три.

Девушка подошла к старику, взяла его за руку.

– Деда. Ну перестань, пожалуйста. Ты вон какой богатырь.

Старик усмехнулся.

– Деда, – повторила девушка строго, – не хандри.

Она посмотрела ему за плечо.

– Ты глянь, какая красота. Клен наш прямо огнем горит.

Старик обернулся.

– Бабье лето.

– Доченька, – позвала девушка, – пойдем сегодня в парк? Листики собирать?

Девочка затанцевала:

– Пак! Пак!

– Кого мы в парке видели вчера?

Девочка задумалась.

– Красивый такой, пушистый, вот с таким хвостом.

Девочка просияла.

– Котя! Котя!

Она кинулась к альбому, принялась тыкать пальцем.

– Что там у тебя? – девушка присмотрелась. – Ой, какой котя! Замечательный котя! Это де-душка нарисовал?

– Дя!

– Замечательный котя! Дедушка у нас – на все руки мастер.

Она повернулась к старику.

– Художник. Не хандри. Пойдем чай пить.

Старик засуетился, захлопал неловко по карманам.

– Вовсе я и не хандрю. Вот еще выдумала – хандрить.

Он подставил руки под золотые лучи.

– Я еще волка умею показывать, и орла, и улитку, и... и... кого только не умею!

На стене расправил крылья орел.

Девочка застыла.

– Деда, попроси, пожалуйста, орла проследовать на кухню. У нас там кашка остывает. А чай уже остыл.

Старик топнул ногой.

– Орел! – воскликнул он. – Лети на кухню! Там Ирушкина кашка остывает! А чай мой остыл уже!

Орел взмахнул крыльями и исчез.

– Ирочка! Орел в кухню полетел!

Девочка засмеялась и побежала к двери.

Николай ШАТРОВ

СТИХИ ИЗ СОБРАНИЯ АЛЕКСЕЯ КИРИЛЛОВА

Публикация, подготовка текста, предисловие Владимира Орлова

Приходя в середине 1950-х годов на квартиру Галины Андреевой, знаменитую «мансарду окнами на запад», Николай Шатров¹ пытался объяснить хозяйке и другим собиравшимся там участникам группы Черткова, что стихи писать нужно ежедневно, и лучше – несколько в день. Сам он действительно старался следовать этому правилу и написал таким образом, по некоторым оценкам, не менее трех тысяч стихотворений. Опубликовано из них, если собрать все книги, подготовленные другим поэтом Феликсом Гонеонским, и все журнальные публикации, менее трети. Поэтому обнаруженные недавно пять машинописных томов, подготовленных в 1983 году Алексеем Ивановичем Кирилловым (1931–2019), включающих, в общей сложности, около полутора тысяч стихотворений, являются несомненно ценной находкой, особенно если учесть, что пересечений с известными текстами в них не так уж много.

Алексей Кириллов долгие годы, до самой смерти поэта в 1977 году, был другом семьи Шатровых. При жизни он записывал авторское чтение на пленку – все известные записи восходят, как правило, к этому источнику; после смерти Шатрова пытался организовать издание наиболее «проходимых», с его точки зрения, стихов в каком-нибудь советском издательстве – ничего, конечно, не получилось. Тогда, видимо, и пришла мысль подготовить машинописное собрание сочинений.

Стихотворения первоначально были распределены Кирилловым по трем книгам (по трем «кругам», как это обозначено на титульных листах): «ежели первая книга отвечает более нормам высокого стиля, вторая – переходного, среднего, то третий сборник написан нередко с острым юмором и насыщен фразеологическими оборотами городского разговорного обихода, а подчас и фольклорного, что образует в единстве с лексико-тематическими элементами своеобразный “резкий” шатровский стиль»². К сожалению, именно третья книга, о которой столько сказано, при разборе материалов в квартире скончавшегося летом прошлого года Алексея Кириллова обнаружена не была. Зато были найдены два дополнительных, не упомянутых в процитированном послесловии тома, озаглавленных «Этюды» и «Черновики», а также «Избранное» из первых трех книг, включая пропавшую. Все они послужили основой для нынешней публикации. О какой-либо текстологической работе при этом говорить нельзя, поскольку из-за отсутствия автографов (за некоторыми исключениями) приходилось ориентироваться исключительно на текст, отпечатанный Кирилловым, который иногда вызывает вопросы.

¹ Шатров Николай Владимирович (17.01.1929, Москва – 30.03.1977, Москва). Поэт, переводчик. Стихи писал с детства. Учился в Семипалатинском педагогическом институте. Работал литсотрудником в областной газете. Год (1950–1951) проучился в Литинституте. Также учился (заочно) в МГУ, но курса не кончил. Был сотрудником Музея им. Скрябина и Третьяковской галереи. Во второй половине 1950-х был близок к т.н. «группе Черткова». При жизни практически не публиковался.

² Цитата из послесловия Алексея Кириллова к «Избранному» Николая Шатрова, о котором см. далее.

Трудно сказать, почему Алексей Кириллов оставил попытки опубликовать наследие Николая Шатрова после 1991 года, когда это стало возможным. По словам близко знавших Кириллова людей, все это время он был очень загружен собственными проектами. Нам остается поблагодарить Алексея Ивановича за подвижнический труд и посвятить публикацию его памяти.

В подборку дополнительно включены несколько отсутствующих у Кириллова стихотворений. Три – из машинописи, хранящейся в фонде Бориса Пастернака в РГАЛИ¹: «Зимние страхи», «Баллада об Анны белье» и «Игорь Северянин»; также в редакции, обнаруженной в этом фонде, приводятся небылицы из поэмы «Всеобщая сказка» (у Кириллова они оформлены иначе, есть и расхождения по тексту). Еще два – из подборки, присланной Шатровым в письме Илье Сельвинскому² в конце 1965 года: «Хватит тратить на строки...» и «Оправданье Пушкина».

По шоссе шуршат машины.
При луне в груди теплей...
Чуть колышется вершины
Серебристых тополей.

Кто тебя рукою чертит?
Бог еси на небеси.
«Отврати меня от смерти
И для жизни воскреси».

24 августа 1948

Вся осень

Осенний день устал от тишины
В предчувствии порхающего снега.
А вечером струится от луны
Какая-то разымчивая нега...

Но время ночью чуть замедлит бег
И тополь захлебнется листопадом
И умолкает, словно человек,
Которому сочувствия не надо.

10 сентября 1952

Зимние страхи

Скоро, скоро рассыпятся белые хлопья,
Полновластно и нагло нагрянет зима.

¹ РГАЛИ, ф. 379, оп. 5, е. х. 1041. Машинопись была передана Шатровым Пастернаку, по-видимому, лично (конверт отсутствует) в мае 1955 года, т. к. в ней отсутствуют более поздние датировки.

² РГАЛИ, ф. 1160, оп. 1, е. х. 560 «Письма начинающих авторов Сельвинскому Илье Львовичу с просьбами прочитать и дать отзыв о произведениях. Фамилии корреспондентов на Ч – Ше».

Тихо примет земля свою долю холопью,
Коль от собственной воли отвыкла она.

Разгуляется вьюга по снежной равнине,
Чей-то голос завоет, застонет в трубе.
Станет месяц над лесом пронзительно-синий
И подарит бессонные ночи тебе.

Будет жутко и сладко смотреть на поленья,
Чуть трещащие в пляшущем желтом огне,
И тогда ты услышишь шаги в отдаленье,
И тогда ты поверишь, наверное, мне.

Я давно говорил, кто-то ходит за стенкой,
Вот опять он ногтями царапает дверь...
Вот опять этот вздох, словно стон из застенка.
Я давно говорил... ты мне веришь теперь?

24 сентября 1952

Демоны

Они влетают по ночам,
Неосвязаемо крылаты,
Похожие на свист бича,
На неизбежную расплату.

И сразу в комнате моей
Заметно холодеет воздух.
И странно схож с шипеньем змей
Их тихий разговор о звездах.

И что-то мне сжимает грудь
Когда я голосам их внемлю,
И кто-то шепчет мне: забудь,
Забудь про гибнущую землю!

Я задыхаюсь и... молчу:
Боюсь, они меня задушат.
И как ненужную свечу
Мое сознание кто-то тушит.

1953

Телеграммы

Встречай в 6.40 гидроплан
Опустится в самом заливе

Не делай глупостей – был пьян
Письмо написано в порыве

29 августа 1953

Будни

Теперь мне нравится свобода
От телефонного звонка.
Читаю лишь журналы мод и...
И без ума от... «Огонька».

С безумцами не лезу в драку,
Порой гуляю допоздна,
И даже иногда собаку
Поглажу, если не грязна.

1954

Легионер

Я – иностранный легион,
К чему вам знать другое имя?
Там преступившие закон,
Здесь мы считались рядовыми.

Что привело меня в Судан?
Любовь, измена, поединок.
Позвольте спичку, капитан...
С тех пор я не люблю блондинок.

Потом тюрьма, Алжир, Тунис,
Жара, песок, самум пустыни.
И письма жалкие: «Вернись...»
Я получил их в Палестине.

Мы усмиряли племена,
Мы подавляли бунт в Марокко.
Зачем вам наши имена,
Зачеркнутые волей Рока?

То трое суток без воды,
То бой внезапный спозаранок,
Потом опять: сады, плоды,
Как груди грязных негритянок.

Но смерть гиеной по пятам
За нами шла... Мы одичали.

Еще сигару, капитан?..
О чем я говорил в начале?

Камбоджа, Лаос... Сколько мест!
Мне встретилась одна мулатка,
Носившая на шее крест...
Простите, это лихорадка.

Она недорого брала
И грешницей была умелой.
Но, раздеваясь догола,
Снять крест ни разу не посмела.

Смешно, не правда ль? Анекдот
Не так уж глуп, коль разобраться.
Он выражает принцип тот,
Что вера выше ассигнаций.

А впрочем, каждому закон
Дан свой, и все друг другу звери.
Я – иностранный легион,
Я в принципы давно не верю.

5 марта 1954

Баллада об Анны белье

Я потерял и совесть и стыд,
И бешеный пес меня укусил,
Когда я увидел – вот стоит
Девушка, свободная, как такси.

У нее подведенные глаза
И ярко-красно покрашенный рот,
И мы легко столковались за
Сто сорок рублей у Красных ворот.

И она повела меня к себе в дом
И сказала: «Тише, соседи спят»,
Отпирая дверь французским ключом
И предположив, что я психопат.

Комната была узка, как гроб:
Только кровать и туалет.
Она первая разделась и шепнув «гоп»,
Прыгнула в постель и выключила свет.

И странно, пока мы с нею шли,
Мне очень хотелось тела ее,
А тут вспомнил я мою Аннабел Ли
И не мог оценить уже Анны бельё...

Но чтоб человека не оскорбить,
Я был любезен, как только мог.
«Я всегда после этого хочу пить»,
Сказала она, сделав глоток.

О, таких искусных и острых ласк
Не видать нам от наших кур!
Да, она показала мне высший класс –
Сладострастия маникюр...

Даже кожа жглась ее, словно клей,
В котором сам грех сгущён...
И за все заплатил я сто сорок рублей
И сто сорок рублей еще...

И уйдя на рассвете к своей любви,
Я заснул на садовой скамье,
И во сне мне приснилась Аннабел Ли
В том кружевном бельё.

7 февраля 1955

Деревенская красавица

Ты безотчетно улыбнулась,
Ты ничего не поняла,
Взмахнула косами: «А ну вас!»
И улыбнулась, и пошла...

Себя, быть может, недостойна,
Но, овладев собой вполне,
Неторопливо и спокойно, –
Уже забыла обо мне.

21 февраля 1955

Из поэмы «Всеобщая сказка»

Вторая небылица

И девочка Лиза вышла во двор
Чтобы увидеть, как падает снег.

Тот, что чистым остался к концу зимы,
Поднимается снова вверх.

Это можно увидеть, глядя в окно,
Только нужно уметь смотреть...
А если пять дней не ходить в кино,
Тогда наступает смерть.

Шестая небылица

По небу бежала тучка,
Похожая на щенка,
Видно – дошла до ручки,
Видно, что нищенка.

Доброе наше солнце
Вышло на лай ее.
Тучка, хлебнув бульонцу,
Сразу растаяла.

Седьмая небылица

Водородная бомба влюбилась в слона
И сказала ему: «Умоляю,
Сжалься ты надо мною, тобой пленена,
И от страсти почти что пылаю.

Ты сильнее всех зверей, я сильнее всех людей,
Мы – прекрасная пара друг другу.
Стань моим и вселенною смело владей».
Слон подумал... и умер с испугу.

Восьмая небылица

А баба-яга не знала хлопот,
Жила себе припеваючи,
Из белых костей варила компот
И в шубке гуляла заячьей.

Иван-царевич был очень глуп,
Сощурил глазёнки-бусинки,
Да и бултыхнулся прямо в суп
Вкусненький для бабусеньки!

30 февраля 1955¹

¹ Дата игровая; действие в поэме происходит именно 30 февраля (*Прим. публикатора*).

Игорь Северянин

Он – менестрель, и он – мистраль,
Какой-то странно-острый ветер,
Стрелой струны растливший даль,
Открывший Баха в оперетте.

Он терпкой критикой растерт –
Крутой желток живого солнца,
Космически комичный торт,
Нам опоздивший эстонца.

Его стихов самореклам
Святая наглость неподдельна,
И сознаешь, что это хлам,
И все же впечатленье цельно.

Чудесный тэтовский брильянт
Мной самородком осиянен...
Почти поэт, почти талант, –
Великолепный Северянин!

5 апреля 1955

Сумасшедшая муха

Он увидел, что муха ест пепел
И понял, что она сумасшедшая...

15 июля 1955

Творчество

Устремленный в неземное,
Я не твой и я ничей.
Веют, веют надо мною
Крылья черные ночей.

Околдован тайным зовом
Слышу словно тихий вздох –
Снова в сумраке лиловом
На меня находит Бог.

Сладко тело онемело,
Всё слышнее голоса,
Кто-то ласково и смело
Закрывает мне глаза.

Чую губ прикосновенье,
Легкое касанье рук,
Вдохновенье, вдохновенье
Зажигает сердце вдруг.

Ничего уже не вижу,
Не дышу и не живу,
Знаю, ближе, ближе, ближе
Сновиденье наяву.

Закрепить его словами?
Тает дымом – только тронь!
Пламя, пламя, пламя, пламя,
С четырех сторон огонь.

Ах! И вмиг завеса спала.
Ночь. Один. И тишина.
Лишь в окно на одеяло
Светит полная луна.

3 октября 1955

Микробы

Мы размножаемся в крови
На корму подножном,
Фагоциты отравив
Ядом осторожно...

Жаром мы ворвемся в мозг
Всей ударной группой,
Чтобы тело стало – воск
Тающего трупа.

1956

Памяти Новалиса

Он протянул корону мне
Не опустив потухших глаз,
И в потаенной тишине
Звезда державная зажглась.

– Со мною царствуй! – он сказал,
Махнул рукою вверх и вниз,
И осветился темный зал,
И стены тихо разошлись...

18 ноября 1957

Зима 1957 г.

Развеселая-веселая зима!
Новоселами обжитые дома.

Новорожденных прорезавшийся крик,
Замерзающий на улице старик.

Развеселая-веселая зима!
Потихонечку сходящая с ума...

Уж опять в войну играет детвора
Посредине побелевшего двора.

Развеселая-веселая зима!
Скукой смертною объята сама.

На уверенно запакощенный снег
Смотрят дерево, собака, человек.

Развеселая-веселая зима!
Я с тобою, наступающая тьма.

5 декабря 1957

Наш идеал

Искусственность всех чувств восславим,
Зальем духами Лорелей,
Дадим в любовники осла им,
Как заповедал Апулей.

Простите грубые манеры,
То – мрамор сорока веков...
На манекен возьмем Венеру
С заолимпийских облаков.

Охрипла старая погудка
На новый лад... а между тем
Не тривиальность и не шутка
Переиначенный Эдем.

Мы вне греха уже сегодня,
Кто этого не видит – слеп.
Всех идеалов благородней
Наш идеал – бесплатный хлеб.

6 декабря 1957

Ангел

Крылья были белые, большие,
Чуть пощипанные на пути
(Он летел на Запад из России –
Настоящий ангел во плоти).

Но его подбили за границей,
Там на красное наметан взгляд...
И не смог, бедняжка, сохраниться.
(В Англии не любят ангелат...)

10 января 1958

Не пошл Шопен...

Твое лицо, отлично вымытое,
Мелькнуло предо мной в толпе.
Не отступлюсь, все силы вымотаю, –
Но докажу, что пошл Шопен!

Что палиндром – отнюдь не истина,
А воплощенный произвол.
Что Пушкин – лес осенний лиственный,
В котором я – последний волк.

1958

По ассоциации

Птичка просится на волю,
Только клетка заперта.
...Головой об стену, что ли...
Нет! Не выйдет ни черта!

В голубом небесном поле
Ходит Вesper золотой...
Птичка просится на волю:
Люди! Я ведь молодой...

31 января 1958

Строчки для старичка

Хорошо на солнышке
Посидеть на камушке
И без задней мысли
Наблюдать как девушки
От речушки ведрышки
Прут на коромысле.

4 апреля 1958

Всё то же море, те же скалы,
И та же песенка моя:
Чтоб нас тоска не отыскала,
Уедем в теплые края...

Ты знаешь песенку другую.

1958

Ю. М.

Мы пили рислинг ледяной
И ни о чем не говорили.
Любовь промчалась стороной,
А дружба мирно спит в могиле.
Да кто из нас еще живой?

По-прежнему глаза твои
Смотрели на меня с улыбкой.
Хмель в тихо млеющей крови
Роднил нас, словно воздух зыбкий.
В сиренях длились соловьи.

1958

– А жил ты для чего? Ответь...
– Затем, чтоб жить... – Но это ведь

Не объяснение, а насмешка.
На месте белка в колесе
Несется вскачь. Орешки все
Со скорлупою вперемешку.

1958

Загадка

Уж сколько было обещаний
Земле со всех концов земли...
К услугам радиовещанья
Лишь ангелов не привлекли!

Мы слышали чертей и леших,
И Левитана божий глас...
Загадка, как это промеж их
Песнь ангелов не раздалась?

1958

В память о П. Потёмкине

На дворе разыгралась метель,
Ты стоишь, как живая, в витрине,
И одна, и одна только цель
Жжет мой мозг, словно солнце в пустыне.

Украду, украду манекен...
Положу на постель дорожную
И незримый, незримый никем,
Лакированный рот поцелую.

Только длится, всё длится показ...
Но последнюю тайну не выдам!
От бесчисленных масляных глаз
Ты блестишь, полированный идол!

1958

Из письма

Еще проклюнулась звезда
На небе рано утомленном.
Оно прозрачно, как слюда,
И кажется почти зеленым.

А горы розовы совсем,
А море черное лилово,
А Крым... Но вдруг вам надоем?
И сам себя лишаю слова.

1958

Из опыта

Боже! Как скучна измена –
Это даже не разврат,
Но об этом откровенно
Никогда не говорят.

А случайно изменяя,
Так оправдывают грех:
«Ты иная, ты иная!
Не похожая на всех!»

Это попросту неверно –
Все похожи на одну,
И потом бывает скверно
Обнимать свою жену.

1958

Хочу, чтоб выпал винный снег...
С небес глотать его, пьянея!
Как трезвости, не знать вовек
Классификации Линнея.

Не пить – ловить открытым ртом
Всеобжигающие звезды!
Ходить с трудом из дома в дом,
Закусывая пьяный воздух.

В бутылку пальцем затолкать
Хмельные бешеные хлопья...
И до весны, до лета спать,
Покамест мак не станет опий.

17 октября 1960

Не сглазить бы себя, не сгладить
Противоречий круговерть...
Про смерть хотите? – Бога ради!
Поведаю вам и про смерть.

Про мокрую гнилую яму –
Дорогу к небу по прямой,
Про черный свет, про свет тот самый,
Который здесь считают тьмой.

6 ноября 1960

Пошли мне всемогущий рок
Малютку ростом метр сорок,
Чтоб я к ней прилепиться мог
И был любим без оговорок.

Чтоб на ладони у меня
Ее ступня стоять хотела,
Такая легкая ступня,
Такая легкая, как тело.

Я б на руках ее носил
По комнате и по знакомым,
Сам задохнувшийся, без сил,
Желаньем чувственным влекомый.

Нет, мы не вывели б детей,
Не стали б никогда браниться.
Рок, снизойди ко мне, злодей!
Согласен и на метр тридцать.

4 февраля 1961

Ничего нет чище моря,
Глубже неба, дальше дали,
Ваши слезы – не от горя,
Вы ни капли не страдали.

Это только самолюбье...
Первый гром, предтеча ливня.
В вашем плаче нету глуби,
Надо проще и надрывней.

А наступит время молний, –
Не покажете и виду
И научитесь безмолвной
Изливать свои обиды.

1961

Хватит тратить на строки.
Лучше платится на стройке.
Только я убитый Богом
И забочусь о немногом:

Хлеб и сахарный песок,
С неба – Музы голосок...
Вот и всё, что здесь мне надо.
Я простейшая монада.

Оправдание Пушкина

Был он разряжен и разряжён
В женское естество...
И не во зло возлежал возле жён:
В общем, ему везло.

Как проходил проходимец легко!
Легкий, как манекен.
Словно французских духов флакон
В некоем тайнике.

В прочем – легально! Легитимист
И роковой блондин,
По современному – оптимист,
Твистывал не один:

В праведной мести, вместе с ним –
Шеф. Жандарм. Бенкендорф
Действовал. Так сказать, запасным.
Действует до сих пор...

Пушкин голову потерял.
И головой его,
Словно футболом, играет бал –
Женское естество...
Как не естественно, Дон-Гуан,
Чернь накормить собой!
О Александр, о российский гранд,
Это не бой – убой!

Чернь, ты не червь, гробовой. – Профан.
Узкий специалист.
Думали – гроб, а огрѣб скафандр:
Умерший, исцелись!

Пушкин оказывается прав
Перед землей кругом,
Как летаргический космонавт
На корабле другом.

Старик

Ни на что не претендую,
Сам с собою говорю
И на деву молодую
Со вниманьем не смотрю.

Мне бы только шей тарелку,
К ним добавкой книгу съем...
Да в ногах постели грелку.
И спокойной ночи всем.

7 октября 1966

Подражание японскому

Возлюбленная, во сне
Мы грезимся той сосне.
Живем по календарю
И счастливы всем вполне.

Не надо нам никого,
Не надо нам ничего;
Я Бога благодарю,
Что мы – одно существо.

1968

Всё это кистью достохвальной...
Гумилёв

По телевизору сегодня
Был ретранслирован балет.
Так, словно, милостью Господней,
В рай неожиданный билет.

Показывали Баядеру,
Поставленную Петипа,
Чтоб даже потерявший веру
Узрел Божественные па.

Духовно техникой владея,
Сонм Ангельский торжествовал:
Не женщина – ее идея
Преображалась в идеал.

Движенье стало знаком смысла,
А красота жила в ногах,
В руках, на шее даром висла
И вызывала сладкий страх.

Всё это сделал хореограф
На сцене с помощью людей,
Где Бог оставил свой автограф –
Его соавтор-чудодей.

3 января 1969

Всё чуден северной России,
Где лес сплавляют по реке,
Созвучен призрачный Россини,
Как бы в стеклянном парике.

Мы благодарны иностранцам
За тонконогий менуэт.
Мы обучались польским танцам
На Глинке незабвенных лет.

Ты можешь акать или окать,
Происходить от образин.
Мне твой округлый русский локоть
Дороже всех чужих Розин.

Куда нам целоваться с флейтой!
Как балалайка угловат
Во сне лишь слышу голос чей-то
И чувствую, что виноват...

Что упускаю полпланеты,
Что так и не увидел свет,
Что в Лондоне Шатрова нету,
Что пропадает в Рим билет...

26 августа 1969

Каждый день уходит день,
Каждый миг исчезнет вмиг...
Тело сбрось и вновь надень.
Тут пропал, а там возник.

Где же там? – Не знаю, где...
Расплывается дымок...
Вилами да по воде
Написать бы лучше мог.

24 декабря 1969

Стихи как проза

Мастерство – ерунда, это все наживное
Вдохновение – корявость – от Бога она.
Вот вы мне говорите: «Ничто под Луною
Не ново...» Холодная нынче весна.

Топим печку. Вот факт. Остальное не важно.
25-е мая, и пар изо рта...
...Из стихов можно сделать кораблик бумажный,
Или голубя, или вообще ни черта.

1970

Про всех забытых кто-нибудь напишет
И за смирение вознаградит.
А тот, кем полог ночи звездно вышит,
Их рубищу придаст достойный вид.

Убожества у Божества услышат.

3 мая 1971

Каждый вечер мир желает чуда,
Чтоб святым проснулся негодяй.
Только я им помогать не буду –
В самом деле, ну их к Богу в рай!

Надо мной не дует и не каплет,
Хоть кручусь, как белка, день-деньской...
Эх, остаться б Горькому на Капри,
Люди б жили на Тверской-Ямской!

Переименованиями улиц
Мы бы не поганили потом,
И ходили б прямо, не сутулясь,
Под своим невидимым крестом.

5 мая 1971

Хор холодных латышей
Из разваренной лапши –
Долетая до ушей,
Не доходит до души.

А картофельный народ,
Ощутив с лапшой родство,
И танцует, и поет
Неизвестно для чего.

23 мая 1971

Прикоснувшись ладонью
К плотно сжатым губам,
Мотыльку на огонь я
Устремиться не дам.

Рядом сад в полумраке,
Затаивший свой яд,
Там, где черные маки
Точно кобры, стоят.

И в бессоннице ночи,
В сокровенной тиши
Разрывается в клочья
План спасенья души.

6 сентября 1972

Романтика – II

Музыка играет во дворе,
С музыкой хоронят в Судаке.
Хорошо проснуться на заре,
Руку милой чувствуя в руке.

Мы еще живые – ты и я,
Может статься, вовсе не умрем.
Беззакатно Солнце бытия,
Если в Бога веровать вдвоем.

9 октября 1972

Юмореска

Ангел головою вниз
На трапеции повис.
Веселятся люди: чудо,
Не летает ангелок.

Вот стою: сдаю посуду.
А глаза – под потолок.

Сочиняю ли стихи?
Сам не понимаю –
Как срываюсь со строки,
Крылышки ломаю.

Об опилки животом
Шлёп! Но вы отметьте,
Грациозно как потом
Вдруг раскланялся... На том
(Не на этом) свете...

2 мая 1975

Сергей БОРОВИКОВ

ЗАПЯТАЯ – 5

(В русском жанре – 65)

Юра Селезнёв дружил с Еленой Образцовой. Глядя сейчас по «Культуре» фильм к её 80-летию, вспомнил вдруг, как он рассказывал, что Елена Васильевна жаловалась, что её вынуждают на бесконечные зарубежные гастроли. Едва с одних она вернётся, как в Шереметьево уже встречают минкультовские чиновники: «Через час самолёт в Токио».

Неужели валютные гонорары наших звезд были столь значимы для бюджета страны?

””

Тема «Бунин и Алексей Н. Толстой» щедро освещена в мемуарах и исследованиях, наиболее полно в книге Елены Толстой «Дёготь или мёд». Я полагаю, что Бунин при всей своей пристрастности оставил лучшее из того, что написано о его младшем товарище – очерк «Третий Толстой». Меньше обращалось внимания на то, что тот написал об Иване Алексеевиче.

«17 июня 1941 г.

Дорогой Иосиф Виссарионович, я получил открытку от писателя Ивана Алексеевича Бунина, из неоккупированной Франции. Он пишет, что положение его ужасно, он голодает и просит помощи.

Неделей позже писатель Телешов также получил от него открытку, где Бунин говорит уже прямо: “Хочу домой”.

Мастерство Бунина для нашей литературы чрезвычайно важный пример – как нужно обращаться с русским языком, как нужно видеть предмет и пластически изображать его. Мы учимся у него мастерству слова, образности и реализму.

Бунину сейчас около семидесяти лет, он еще полон сил, написал новую книгу рассказов. Насколько мне известно, в эмиграции он не занимался активной антисоветской политикой. Он держался особняком, в особенности после того, как получил нобелевскую премию. В 1937 г. я встретил его в Париже, он тогда же говорил, что его искусство здесь никому не нужно, его не читают, его книги расходятся в десятках экземпляров.

Дорогой Иосиф Виссарионович, обращаюсь к Вам с важным вопросом, волнующим многих советских писателей, – мог бы я ответить Бунину на его открытку, подав ему надежду на то, что возможно его возвращение на родину?

Если такую надежду подать ему будет нельзя, то не могло бы Советское правительство через наше посольство оказать ему материальную помощь. Книги Бунина не раз переиздавались Гослитиздатом.

С глубоким уважением и с любовью
Алексей Толстой».

Не берусь судить, письмо ли Толстого подействовало, но вскоре после войны Сталин вернулся к мысли о возвращении Бунина и отправил для этого с миссией в Париж своего любимца К. Симонова.

И в прежних печатных отзывах Алексея Николаевича об Иване Алексеевиче, при очевидной их конъюнктурности, всё же шла речь о желательности его возвращения.

«...такие большие писатели, как Бунин и Куприн, почти ничего не пишут <...> Бунин, также насильственно удерживаемый влиянием Мережковского, – всё под впечатлением Одессы 1919 года с её голодом, хаосом, бесконечной сменой правительств. Под этим углом зрения воспринимает он русскую жизнь. <...> Обоих этих писателей следовало бы вырвать их той гнилой, полной ненависти к Советской России атмосферы и вернуть их русской литературе» (беседа с корреспондентом, июнь 1923 г.).

Было, правда, и такое:

«Бунин ходит совсем зелёный от злости. <...> мало пишет, а если пишет, то подражает самому себе» (беседа с корр., ноябрь 1924 г.).

«Я прочёл три последние книги Бунина – два сборника мелких рассказов и роман “Жизнь Арсеньева”. Я был удручен глубоким безнадежным падением этого мастера. От Бунина осталась только оболочка прежнего мастерства» (беседа с корр., ноябрь 1936).

И лишь в письме Сталину он упоминает их парижскую встречу, описанную и Буниным, и прямо говорит о необходимости мер по возвращению Бунина на Родину.

Но есть у него и пространное, и в общем-то верное, определение центрального нерва прозы Бунина, пусть и в хамски исполненной, но по существу точной мысли:

«Беспощадный и злой Бунин <...> крутившийся как овца на приколе вокруг ужаса смерти, изображал страшную двойственность: очарование природы, великолепие красок и аромата земли и неба, и – царя этой жизни – человека, исковерканного бессмыслицей смерти...» (Статья «Ранний Горький», 1928).

”

Нечаянно обнаружил свой рекорд: в 2002 году 76 публикаций!

Безобразие? Конечно. Правда, там четырежды «Новый мир» и трижды «Знамя», а безумное число вызвано тем, что в том году началась газета «Новые времена в Саратове», где пришлось писать в каждый номер, но всё равно совестно.

”

Где-то в библиотеках должен быть сборник статей Н.Г. Чернышевского, где составителем обозначен С.Г. Боровиков, который о составе этой книги понятия не имеет.

Дружил я в то время с заведующим редакцией критики московского издательства «Современник» Сашей Карелиным. Денежной составляющей нашей дружбы я уже посвятил страницы очерка «Карелка» (в кн. «Заклад». Саратов, изд. «Музыка и быт», 2019), а сейчас припомнилось ещё.

Как-то по телефону он предваряет, чтобы я не удивлялся, когда получу договор на Чернышевского и почтовый аванс тысячи на две.

Что ж, были мы люди свои, Сашка в вечной погоне за деньгами и не имея права издаваться в своём издательстве, обозначил составителем сляпанного им сборника меня, как автора и рецензента «Современника».

Когда пришел аванс, я телефонно предупредил друга, что прежде возврата ему гонорара уплачу партийные взносы, чем его немало огорчил, хотя как член КПСС о той обязаловке для коммунистов он конечно знал.

Вскоре, уже в Москве, я подшутил над ним, когда в «Современнике» на вопрос редактора книги Тани Марусяк, каким собранием сочинением Чернышевского я пользовался при составлении, спросил: «Саша, ты не помнишь ли, каким я...» Он побледнел и вечером за столом изображал сцену друзьям.

Ещё эпизод.

Однажды он торжественно заявил, что не хочет больше пить за мой счёт и сам сегодня меня угостит, сейчас мы отправимся на Сущевскую, где в издательстве «Молодая гвардия» его ждут неплохие деньги – аванс за будущую книгу для ЖЗЛ то ли о Сытине, то о Дорошевиче, и остаётся лишь решить куда потом: в Домжур или ЦДЛ.

По такому случаю мой друг даже принарядился в новое широкое клетчатое пальто и широкополую шляпу. Молча мы доехали, молча поднялись к бухгалтерии, у дверей которой я недолго дожидаясь друга, который вышел с опрокинутым, по выражению Достоевского, лицом и с матом на усах устах.

В бухгалтерии объяснили, что аванс на новый договор, заключенный, как и этот, по дружбе с руководством издательства, пошёл на погашение неотработанных, и не «Молодая гвардия», а он ей немало должен.

Поехали мы тогда в Домжур.

...

В известном нравоучительном письме брату Александру Чехов с презрением отозвался о людях, которых «занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомство с знаменитостями, рукопожатие пьяного Плевако...»

В 1959 году отец впервые повёз нас с мамой в Коктебель, где мы, то есть в первую очередь она, увидели немало известных лиц, вроде популярной тогда эстрадной певицы Гелены Великановой, жены поэта-песенника Николая Доризо. И однажды случилась видимо повлиявшая на меня мамина неловкость. На набережной навстречу, едва не столкнувшись, пред нами возникли Сергей Герасимов и ослепительная Тамара Макарова в ослепительном белом костюме. И мама моя сплоховала, загляделась, даже споткнулась.

Но больше запомнилась папина реакция. Он прошипел маме выговор, сам за время работы в столице всех уж навиделся, ему было на звёздность наплевать, в чем потом я не раз убеждался.

И мне впоследствии бывало досадно, когда тот или другой знакомый обнаруживал падкость на имена, для меня непостижимую.

Вот один из многих примеров.

Приехал в Саратов, в связи с публикацией в нашей «Волге» романа «Роммат», входивший в моду Слава Пьецух, отношения с которым завязал активнейший «волжанин» Володя Потапов. И повёл я их в нечуждый мне ресторан «Волга», где попросил усадить за уединённый столик в эркере малого зала. И в момент застолья на входе вдруг возник Володя Тартер, мой старый приятель.

Как узнал, не ведаю.

За стол мы его пригласили, и он в несвойственном ему высокопарном ключе стал убеждать Пьецуха, как его все любят и читают.

Тартер был из породы книголюбов. Правда, в те годы книголюбам бывали даже саратовские писатели при делёжке подписок на собрания сочинений, но Вовка был истовым собирателем и читателем дефицитных изданий.

Читал он много, но как-то аналогично желанию познакомиться с Пьецухом. Любил поговорить о прочитанном, не особенно утруждаясь проникновением в текст, но демонстрируя с ним знакомство. Слывя знатоком поэзии, однажды яростно выманивал (и выманил) у меня первый сборник Александра Городницкого, но стихов никаких наизусть почти не знал, ограничившись гумилёвским жирафом, без конца повторяя его в пьяном виде. До поры пытался убедить меня в значении книг моднейшего Пикуля, но в ответ на мою похвалу по адресу ещё не вошедшего в славу Шукшина отозвался презрительно, лишь услышав название «Сельские жители». (Много позже слышал от него восхищение «Калиной красной».)

Его всегдашнее стремление всегда «быть в курсе» приводило к казусам. Когда возник шум вокруг «волжской» публикации статьи Лобанова, уверял, что Лобанов *вышел из-под Лакишина*.

”

В детстве, поскольку отец почти не обращал на меня внимания, моим воспитанием занималась мама.

Я уже вспоминал в очерке «Григорий Фёдорович» («Знамя», 2014, №7), как она научила меня плавать. А сейчас о том, как отучала от страхов.

Впервые на похоронах побывал с ней лет в пять. Провожали старого саратовского архитектора Карпова из т.н. Дома ИТР, построенного по его проекту на углу Волжской и Некрасова. Множество народа и цветов и конечно ужасные звуки Шопена. Мама догнала меня уже в Липках, но с тех пор под любым предлогом заводила меня на разные похороны.

Другой преследовавший меня страх был связан с Волгой, где на набережной я очень любил бывать, особенно из-за пароходов с их флажками, спасательными шлюпками и наполовину красными кругами на палубных ограждениях, пляшущими солнечными зайчиками на белых бортах над водой. Но с пароходами же был связан и страх. Я заранее боялся, зная, что перед отправлением пароход даст и один, и другой, и третий пронзительный свисток, вселявший в меня ужас, о чем я конечно ей не говорил, но мама всячески старалась затянуть стояние на верхней палубе пристани, откуда вблизи был виден свисток на рубке, чтобы при звуке показать мне его источник. И страх прошёл.

”

Второй год живу в деревне. Всегда недоумевал: почему мой отец, по происхождению крестьянин и профессиональный литератор, не съездил со мной не на юг, а в любое русское село?

В детстве я лишь однажды побывал в деревне, год, вероятно, 1952-й, потому что именно тогда переехавший в Москву скульптор Александр Кибальников получил вторую Сталинскую премию и решил строить под Саратовом дачу.

Он сам, мой отец в роли консультанта, прихватив меня, отправились на такси в село Усть-Курдюм, еще не ставшее саратовской Рублёвкой. Самое яркое, что помню, это множество кур, бродивших по широкой пыльной улице, даже «Победа» с шашечками вспоминается не так остро.

Дачи Кибальников не построил, а другой раз в деревне я побывал уже самостоятельно, лет в семнадцать.

Да что там село, у нас никогда не было дачи, и впервые четвероклассником попав туда к приятелю, я был ошеломлён числом неведомых мне удовольствий вроде плёвательной войны с лопухом в роли щита или тайного вечернего разжигания костров.

А если вспомнить, что вместо всего этого я, без намёка на слух, получил в десятилетнем (прежде денег на пианино не было) возрасте насильственно-безнадёжное обучение игры на фортепиано, на бунт против которого я решился только в четырнадцать, удивительно ли, что детство было для меня мучительнее даже юности?

И так было в тех семьях, где отцы пробились с социального низа наверх, кто куда смог, и видимо ежеминутно это сознавая, подтверждали приобретённый статус доступными их культуре способами.

Но ничего подобного не было в семьях еврейских, где я имел много друзей-ровесников, и в немногих уцелевших старо-интеллигентских семействах, где мои сверстники были уже внуками. Не скажу, чтобы интеллектуально та среда так уж превосходила интеллигенцию советской формации, но внутри сохраняла такие драгоценные качества, как независимость, хотя бы и только вкусов, внутрисемейная свобода, непадкость на любую моду, лёгкое отношение к материальным невзгодам.

”

Лишь в деревне, проходя улицей, я впервые услышал, как за спиной стучат по земле яблоки; лишь лёжа под деревьями в заросшем одичавшими яблонями овраге, впервые услышал, как падающие листья задевают ветки.

”””

Сельская жизнь приносит мне всё больше открытий.

Ну, конечно, воздух, сад, почти постоянная тишина...

Но что-то ведь еще кроме созерцания и поедания вишен, черешен, слив, абрикосов, яблок, груш, винограда...

Многокилометровые дали в глубоких щелях каменистых оврагов с обвалившимся краями, все в выходах разнообразных нор...

И все-таки отчего я, не жуя сливу, не любуюсь пейзажем, а просто идя сельской улицей, как-то особенно спокойно, как еще никогда в жизни, ощущаю свое наличие в мире?

Я остановился, призадумавшись, огляделся. Да, у нас славный коттеджный поселок, но и спустившись вниз в старинную Багаевку, полную и покосившихся домишек и серых заборов, мне столь же привольно?

И наконец, понимаю: мой взгляд, впервые за семь десятков лет не упирается в высокую стену, как бы образ тупика, и я за час, за два, за день, за месяц и год не увижу ни одного многоэтажного фасада, усыпанного окнами.

”””

Ещё в храме обратил внимание на девочку лет десяти с очень необычными глазами не столько восточного, сколько разбойничьего разреза, и спросил у свечницы, к которой девочка мимоходом прильнула:

– Внучка ваша?

Она ответила, глядя девочку:

– Нет, общая.

Когда вышел на улицу, девочка была уже на крыльце соседнего с храмом магазинчика, где курили две молодые продавщицы. Бывши в несколько растроганном настроении, я посоветовал им бросать курение, а девочка вдруг вскинулась и закричала, яростно на меня глядя:

– Они женатые!

Это было так неожиданно и смешно, что я засмеялся, а следом и девушки, которым я сказал:

– Надо же, решила, что я к вам пристаю.

Они ещё пуще смеялись со своими сигаретами, она же закричала ещё яростнее:

– Обе женатые!

(29 сентября 2019 года, у Храма иконы Владимирской Божьей матери, с. Багаевка)

”””

Разговор двух женщин средних лет на автобусной остановке в пос. Красный текстильщик 8 октября 2019 года.

– А Димка?

– Димка на швейке был, сейчас перевести на УДО обещают.

– Это как?

– Раньше выпустят, у них молодой парень на пять месяцев раньше вышел.

– А Вовка?

– Завтра лечиться поедом, от алкоголизма. Ты знаешь, я летом уезжала, он и загулял. Ну, летом ничего, а сейчас хватит, сегодня под капельницу лёг, а завтра в город.

Разговаривают без эмоций, ровными голосами. Та, у которой Димка и Вовка, между разговором набирает смартфон.

”””

Не надо быть уж чересчур наблюдательным саратовцем, чтобы человеку моего возраста заметить, как мало стало в нашем городе евреев. В детстве евреем был чуть не каждый второй из моих

одноклассников и приятелей. Потом лица, по выражению эпохи борьбы с сионизмом, еврейской национальности встречались всё реже, и преимущественно в художественно-театральной среде. А ведь я хорошо помню по разнообразному общению даже еще и в 70-е годы евреев технарей, портных, парикмахеров, ментов, докторов и даже шофёров, как покойный Володя Мерман, пьяница и хулиган.

Мне многого стало не хватать в новом веке.

На днях я ехал автобусом пос. Красный Текстильщик – Саратов и на конечной остановке пытался разговориться с сухой молодящейся дамой лет пятидесяти, крайне неприветливо со мной обошедшейся. А на остановке в Хмелевском с трудом в автобус влезла нестарая, может быть даже ещё молодая, но крайне грузная, явно очень больная женщина и уселась рядом. Сразу запахло нездоровым потом. И несмотря на лицо инвалида, косящие глаза, заметно бритую на подбородке растительность, она была мила, как бывают милы не скрывающие своего нездоровья, привычно за него виноватые, люди.

Обе женщины были еврейки, что обратило моё внимание: автобус ведь самый что ни на есть сельский. И почему меня так тронуло появление их, совершенно мне не нужных, одной нелюбезной, другой нездоровой?

И вот, не на городской тусовке, не над страницами умной книги, а глядя в автобусное стекло на яблоневые сады за заборами, не умом, а сердцем я понял, что мне не хватает рядом еврея. Не знаменитого по телевизору или по обложке новой книги, а будничного, такого же, как я, скажу, заурядного, и то, что я чувствую в нём кроме общности что-то ещё, добавляет нашим отношениям нечто привлекательное.

Когда я выложил эту заметку в Фейсбуке, то, как и ожидал, понимания не встретил. Добродушная ирония и советы ехать в Израиль, где евреев избыток.

...

Всегда имел склонность к перелистыванию старых журналов, а сейчас благодаря разных хо-рошим людям всё больше является в Сети их комплектов.

Когда-то начинал с купленной отцом «Нивы», потом овладела страсть к Серебряному веку, потом увлечение прозой двадцатых, а сейчас тянет к тому времени, которого я был современником и участником.

Приохотился и к чтению «Крокодила».

Ну вот:

«По линии грамотности, как говорится, у И. Тобольского всё как будто обстоит благополучно. Но в сборнике его стихов “Моим друзьям” (Саратовское областное издательство) нам посчастливилось познакомиться с произведением “Неряха”. Вот как автор обрушивается на грязнуль:

Вы его сегодня встретите,
Не пускайте сразу в класс,
Вы ему стихи вот эти
Прочитайте двадцать раз.

Что и говорить, серьёзная мера воздействия! Но зачем всё же быть таким жестоким? Хотя неряшливость – и большой порок, но выслушивать из-за этого двадцать раз подряд весьма примитивные строки, на наш взгляд, – чересчур суровое наказание» (А. Михайлов. Журнал «Крокодил» 1950, №2).

Странно, что критик не заметил, или не захотел заметить явного заимствования у Сергея Михалкова: «Ребята, найдите такого Фому / И эти стихи прочитайте ему».

Меня эта критическая реплика привлекла именами и поэта, моего земляка, и его столичного

зоила. Про Исаю Тобольского я не раз писал. Критик же Александр Михайлов тогда только начинал и сразу, как во всю дальнейшую творческую работу, предметом его разборов были стихи современных ему советских поэтов.

У осведомлённого читателя может возникнуть вопрос: точно ли это тот критик, что долго делал и сделал-таки большую служебную карьеру, побывав и работником ЦК КПСС, и главным редактором журнала, и секретарём Союза писателей, и даже вице-президентом Международной ассоциации литературных критиков (МАЛК)? Но в том же «Крокодиле» (1952, №4) в аналогичном жанре Михайлов высмеивает детские стихи ивановца Владимира Жукова, уже расширив подпись на одну букву – Ал. Михайлов.

Приведу два характерных об этом деятеле мнения.

«Ал. Михайлов преподавал в Литературном институте или даже им командовал. И невольно подумалось: какое счастье, что судьба обнесла меня этим учебным заведением! Ну право, неужели же Ал. Михайлов, командуя ныне Московской писательской организацией, действительно думает, что кто-то обливается слезами над его критическими статьями?» (Виктор Конецкий).

«Михайлов как огня боялся всего острого и непривычного. Он так и не смог победить в себе осторожного партфункционера» (Вячеслав Огрызко).

Кстати, это не А. а Ал, вызывало обычно какое-то юмористическое отношение. Однажды в Переделкино был свидетелем того, как жена Андрея Вознесенского Зоя Богуславская окликнула замешкавшегося критика: «Ну, ты, Ал, идешь с нами?»

Юмора в отношении этой фигуры добавлял и очевидный контраст его книги о Вознесенском с партийной службой, и весь его наружный прогрессизм вроде шейного платка вместо галстука и синего бархатного пиджака. Там же, в Переделкино, слышал в его адрес пассаж последней подруги Александра Блока советского критика Евгении Книпович. Глядя на проходившего Ала, ехидная Евгения Фёдоровна сказала, что тот напоминает эпизод из романа Алексея Толстого «Петр Первый», где нанюхавшаяся европейщины Санька Бровкина представляет брата: «Презанте мово младшего брата Артамошу».

В 1988 году в ЖЗЛ вышла его книга о Маяковском, о чем я и написал рецензию «В поисках утраченного поэта» («Волга», 1989, №5). Ал. прислал мне обиженное письмо: «Меня поразило ожесточение и неприязнь к автору книги, с которым написан Ваш отзыв».

Особой неприязни к нему я не испытывал по причине малого личного знакомства, а книга 1988 (!) года и впрямь вызвала ожесточение:

«Наиболее ярким документом отступничества либеральной интеллигенции был сборник “Вехи”...»

«Такие писатели как Сологуб старались скомпрометировать все благородные порывы борцов революции...»

«Поэма Владимира Маяковского потрясла все основы буржуазного жизнеустройства».

”””

В булгаковских «Записках покойника» (1936) Л. Леонов назван ловким рассказчиком Лесосековым, а В. Катаев преуспевающим беллетристом Фиалковым.

Первый спустя 20 лет сотворил роман «Русский лес», второй спустя 40 лет рассказ «Фиалка». Как сотворили, так и напечатали, а «Записки покойника» ждали своего часа 30 лет.

Я очень не люблю историю советской литературы, но оторваться от неё не могу.

”””

Странно, но я хорошо помню, как появилось слово «кайф». Был уже вполне взрослым и грамотным, так что поначалу, услышав новое словечко от приятелей, поправлял их: надо «кейф».

А позже, в год 1974-й, когда впервые оказался за границей, услышал в Дубровнике «дискотека». Старость, однако...

”””

Услышал по радио: *моей маленькой, но всё-таки души*, и подумал, что только женщина могла так написать – столько здесь талантливости, цинизма, бабской бравады и редкой искренности. Нет, оказывается, автор мужчина солидного возраста с грузинской фамилией и еврейским отчеством, у него несколько хороших песен.

”””

Кто только и с чем только не сравнивал лучшее из данных нам зрелищ: облака на небе... Вот и я туда же, не могу удержаться. Глядя вчера в свежее голубое пространство, где неспешно передвигались облака, я с волнением следил за их схождениями и расхождениями, радуясь, когда затейливыми выступами и впадинами они чётко входили друг в друга точно как пазлы.

Облако-пазл, ужасно ведь, а? Насколько нежно звучит *облако*, настолько грубо *пазл*. По-английски *puzzle* означает любую головоломку, но у нас же *пазлом* обозначается именно совпадение очертаний.

”””

Впечатлило у Полежаева:

И предалась, как новый гость,
Земле бесчувственной девица...

И сложил для смеху своё:

Как много болит!
И столько обид!
А врач говорит,
Что я инвалид,
И в зеркале вид
Его подтвердит.
А возраст сулит
Могилы магнит.

”””

В старости понял, что воспоминания и фантазии о жизни были для меня важнее её самой.

2019

Михаил БАРУ

ПОЛСТАКАНА СМЕТАНЫ С САХАРОМ

Уржум

Если из Москвы проехать тысячу километров на запад, то можно через Белоруссию добраться почти до польской границы, а если на восток и чуть-чуть на север, то ни до какого государства не доедешь. Зато доедешь до Уржума – маленького райцентра в Кировской области. Он и всегда был маленьким. С самого своего основания в шестнадцатом веке. Или не в шестнадцатом...

Если считать от того года, когда Уржум стал крепостью, то с пятьсот восемьдесят четвертого. Если от первого упоминания в летописях, то на тридцать лет раньше. Если копнуть поглубже, то выглянет марийский городок, который, если верить легендам, был чуть ли не столицей княжества луговых марийцев, которых подчинили себе русские во второй половине шестнадцатого века. Если еще глубже, то окажется, что до марийцев здесь жили удмурты – чужь и вотяки, которых марийцы вытеснили за Вятку, протекающую в десяти километрах к востоку от Уржума. Если же начинать с самого начала, то выходит, что люди здесь селились еще семь или восемь тысяч лет назад. Документов от них, конечно, не осталось – только скребки, рубила и разных размеров кости – свои и съеденных животных. От тех, кто жил в этих местах с третьего по шестой век нашей эры, остались разнообразные и довольно затейливые нагрудные и поясные бронзовые подвески, халцедоновые бусы и даже обрывок холщового передника с медной булавкой, которые теперь украшают собой одну из витрин Уржумского краеведческого музея. Их нашли в шестьдесят восьмом году на территории Уржума при строительстве детского комбината.

Угро-финнов, а точнее удмуртов, а еще точнее чужь и вотяков, к двенадцатому веку вытеснили марийцы. Марийцы, когда пришли русские, уходить не стали – да и некуда им было уходить. Стали жить рядом в своих же лесах, полях и по берегам рек, названия которых остались прежними. Одной из таких рек, а вернее речек, была Уржумка. В переводе с марийского это значит «белку видел». Наверное, белок в этих местах раньше было много. Впрочем, раньше и волков с медведями здесь было много, но... белка – так белка. Думаете, на гербе города Уржума белка? Как бы не так. На гербе Уржума гусь. Правда, гербом марийцы не заморачивались – жили без него. Неплохо, между прочим, жили. Ну, до герба мы еще доберемся. Краеведы, историки, этнографы и лингвисты не были бы сами собой, если бы не стали расчленять название Уржума на отдельные буквы и даже крючки с черточками, чтобы узнать, где находится исток этого слова. Оказалось, что слово это домарийского происхождения, к белкам не имеет никакого отношения и означает лесную речку. Так что с гусем, конечно, вышла ошибка, но и с белкой тоже получилось не очень. Это если вкратце. На самом деле существует еще как минимум пять гипотез и легенд, объясняющих почему Уржум называется Уржумом. Среди них и легенда о жизни и удивительных приключениях двух марийцев

Михаил Бару родился в 1958 году в Киеве. Окончил Российский химико-технологический университет в Москве. Химик и инженер, кандидат технических наук. Стихи и проза публиковались в журналах «Арион», «Знамя» и др. В «Волге» публикуется с 1999 года. Автор нескольких книг стихов и прозы. Составитель первой российской антологии хайку и трехстиший «Сквозь тишину» (2006). Живет в Москве.

по имени Ур и Жум, и топоним Уржон, означающий укрепление на горе, и предположение о том, что марийцы, теснимые татарами, пришли в эти места из Костромской области, с берегов реки Рижум, название которой превратилось в Уржумку, и гипотеза Василия Никитича Татищева о том, что Уржум и вовсе татарское слово и означает, в переводе на современный язык, аплодисменты, и... хватит, пожалуй, или... нет, еще одно, последнее и самое страшное предположение уржумских краеведов о том, что Уржум – это марийское Вурзым, а «вур» – это по-марийски кровь, и выходит, что Уржумка совсем не лесная речка мирных вотяков и чуди, а кровавая река марийцев потому, что на ее берегах русские колонизаторы убили собравшихся на большое моление десять тысяч марийцев. Теперь уж точно все¹.

Впервые Уржум упоминается в Никоновской летописи под пятьсот пятьдесят четвертым годом. В тот год русские воеводы «призвали Бога в помощь, пошли из Казани Арьскою дорогою на высокую гору к засеке и направо побережных людей по Чувашской дороге... и во многие места послали головы воевати и сами идучи на Арско и к Нурме и на Уржум идучи, воевали и жгли во всех местех. А пришли воеводы на Нуржум, от Казани десять дний ходу...»². Еще бы им не воевать – с момента взятия Казани прошло всего два года, и марийцы, которые и сами по себе не испытывали восторга по поводу русской колонизации, да еще и подстрекаемые и казанскими, и сибирскими татарами, и ногайцами, и крымчаками, волновались так, что русские воеводы не успевали отращивать головы для рассылки. В летописи Уржум упоминается еще раз, но уже как Оржум. То ли летописцу понравилось само название Уржум и он его писал на разные лады для собственного удовольствия, то ли так было написано в отчетах воевод, а монах-переписчик копировал каждую букву не думая... Может, имелся ввиду марийский Уржум, может местность, может река, а может и то и другое и третье.

Что касается года постройки русской крепости... согласимся на том, что поставили ее в восемьдесят четвертом году, иначе придется разбираться, почему академик Тихомиров считал, что поставили Уржум в девяносто пятом году, а по данным других ученых в восемьдесят восьмом, а по данным третьих в девяносто втором или в девяносто четвертом... Уж если местные краеведы считают, что в восемьдесят четвертом, то, значит, точно не раньше этого времени. Уж они-то, будь хоть малейшая возможность прибавить хотя бы день...

Ставили крепость воеводы Владимир Головин и Семен Еропкин. Так записано в разрядных книгах за пятьсот девяносто четвертый год. Через шестьдесят пять лет старожилы-марийцы еще помнили, а «иние ведали от отцов своих... как де поставили город Уржум Володимер Головин да Семен Яропкин, и деревни де Сарды у черемисы пахотные земли и сенные покосы отошли все под город и под городовые поля и пашню уржумским детям боярским и стрельцам, а их де черемис, с тех старых отар перевели на новую усадьбу, где они ныне живут»³, о чем они и рассказывали монахам Уржумского Спасского монастыря.

Понятное дело, что аборигены этим вынужденным перемещениям не обрадовались. Мало того, их еще заставили под надзором стрельцов рубить городские стены и башни. Правда, строили не только марийцы, но и русские крестьяне, и стрельцы, и посадские люди, но только марийцам было запрещено проживать в городе, оставаться в нем на ночь, въезжать без разрешения властей и вообще селиться в радиусе пяти верст от городских стен. Уржум был небольшим городом даже и по тем временам – городской периметр составлял всего около двухсот метров. Крепость имела семь башен и трое городских ворот. Внутри – тюрьма, церковь, воеводская и разрядная избы. Ничего особенного – практически типовой проект.

Уже в пятьсот девяносто втором году первому уржумскому воеводе Головину пришлось подавлять восстание марийцев, вспыхнувшее сразу в дюжине волостей. Удивительно было бы, если бы марийцы не восстали – колонизаторы стогнали их с насиженных мест, объявляя марийские земли, на которых они жили не одну сотню лет, собственностью русского царя, и насильно обращали в новую веру. Собственно говоря, Уржум и задумывался не только как военная крепость, но и как один из центров христианизации южных вятских земель. Вообще, отношения московских властей с местным марийским населением были настолько напряженными, что даже

в середине семнадцатого века, когда первый острог обветшал и пришел в негодность, немедленно был выстроен новый, окружен валом и заполненным водой рвом. Это было сделано тогда, когда граница Московского царства уже отодвинулась от Уржума далеко на восток.

Русского населения в конце шестнадцатого и в начале семнадцатого веков в этих местах было, что называется, кот наплакал – раз в десять меньше, чем марийцев. Даже в середине семнадцатого века вокруг Уржума было всего полторы сотни русских дворов, при том что марийских более полутора тысяч⁴. Правда, были еще не учтенные никакими переписями беглые русские крестьяне, промышлявшие разбоем в глухих уржумских лесах. К слову сказать, они занимались им еще очень долго, и только советская власть смогла с этим промыслом покончить навсегда. И вообще русское население в те годы увеличивалось не столько за счет естественного прироста, сколько за счет постоянного притока беглых крестьян из западных областей.

Вернемся, однако, к воеводам. Обычно их было двое, и подчинялись они московскому приказу Казанского дворца и Казанскому воеводе в Казани. В случае военных действий первый воевода отправлялся в поход, а второй командовал крепостным гарнизоном и назывался осадным головой. В мирное время осадный голова командовал караульной, воротной и пушкарской службами. Ему же подчинялись плотники, кузнецы и прочие «осадные» люди. Воеводская служба в таких городках обычно была срочной – через год воевод переводили в другое место. Пусть в такую же, на краю света, крепость вроде какого-нибудь Яранска, Царево-Санчурска или Малмыжа, но на одном месте сидеть не давали. В редких случаях воевода мог усидеть на одном месте два года и уж в совсем в исключительных – три. Причина тут проста и незатейлива – стоило только воеводе обжиться, войти в близкие отношения с дяками, земскими старостами и другими приказными людьми, как немедля, точно плесень на лежалой краюхе хлеба, возникало мздоимство, дорогие кокошники воеводским женам ко дню ангела воеводы, неучтенные белки и куницы, сданные аборигенами в счет подушного налога... Кстати, о налогах. В тридцатых годах уже семнадцатого века было велено марийцам с трех дворов одного человека давать на работы в Уржум, а еще раньше, в шестьсот пятнадцатом году, их призвали в народное ополчение князя Пожарского. Уржумские стрельцы принимали участие в боях под Смоленском с поляками, служили на Дону, ходили против атамана Заруцкого. В наказе стрелецким головам в мае шестьсот сорок четвертого года сказано: «Над Ивашком Заруцким и над Маринкою и над выблядком под Астраханью промышлять, а что учнется у них делать, о всем писать ко князю Ивану Никитичу Одоевскому, а для тех посылок послано с ними сто человек уржумских стрельцов». Уржумский сотник Петр Онучин, впоследствии уржумский воевода, даже принял участие в поимке Заруцкого. Справедливости ради надо сказать, что другой уржумский стрелец, Максим Сальцов, успел побывать одним из главарей восстания против царя Василия Шуйского в соседнем Котельниче.

Фактически Уржум был военной частью за частоколом из дубовых бревен. Большую часть его населения составляли стрельцы – их было в шестьсот двадцать пятом году при воеводе Гавриле Хотунском две сотни, плюс два десятка конных служилых дворян, шестьдесят пять иноземных наемных солдат нового строя (литва и немцы), да к ним три толмача и семь десятков новокрещенов из местных. Еще воротники, кузнец, два попа (по количеству церквей) и один пономарь. Еще бражничество, мордобой, игра в карты и зернь, домогательства до поповен и прачек, марийки, что ни день приносящие в подолах незаконнорожденных стрельчат... Как со всем этим управлялся Гаврила Афанасьевич, даже с помощью стрелецкого головы и двух сотников – ума не приложу.

И все это воинство, всех приказных, всех подьячих, всех начальников канцелярий и всех письмоводителей нужно было содержать. Их и содержали жители посада и окрестные крестьяне, платившие стрелецкий налог на содержание войска, полонянничный налог на выкуп пленных, ямской на содержание почтовых станций и ямщиков, подворный, торговый, промысловый, на сенокосы... И это не все. Крепость, в случае нужды, ремонтируй, дома в городе строй, церкви строй, ратников в ополчение дай. И еще. По правилу, которое тогда действовало, население могло

жаловаться на приказных только по истечении срока их службы, а во время оной... даже и не думай.

Использовался Уржум и как место ссылки. В шестьсот двадцать седьмом году сюда сослали подьячего Посольского приказа Алексея Шахова за вымогательство. Сослали вместе с женой и детьми. Пришлось ему служить в Уржуме подьячим воеводской избы без права перевода в другой город не иначе как по государеву указу. Ему еще и повезло, поскольку другой москвич – князь Федор Андреевич Шелешпанский просидел в тюрьме уржумского острога два года, после чего был отправлен с чадами и домочадцами на жительство в Тобольск. Князь Федор денег не вымогал, но проходил по политической статье, и ему тоже повезло – мог и головы лишиться⁵.

И все же, мало-помалу Уржум превращался в обычный город. К концу семнадцатого века в поминальной книге «Синодик Уржумского Троицкого собора» можно найти двух садовников, одного иконника, торгового человека из Москвы, двух купцов гостини сотни и даже одного из Шустовых. В те времена, однако, они владели соляными, а не коньячными промыслами. Начиная со второй половины семнадцатого века, на западноевропейских картах появляется город Oursum. Правда, на этих картах он расположен на левом, а не на правом берегу Вятки, но это лучше, чем ничего.

Восемнадцатый век Уржум встретил тихим уездным городом Казанской провинции. Пограничным он быть перестал, поскольку граница от него отодвинулась. Тем не менее крепость еще стояла, но «шесть башен ветхи, згнили и обвалились, две стены згнили и обламались»⁶. На Спасских городских воротах еще были установлены две тридцатипудовых медных пушки и одна на колесах, в арсенале еще хранились три затинных пищали, почти пятьсот железных ядер, тридцать с лишним пудов свинца, пять пудов фитилей и пороху пушечного двадцать пудов семнадцать гривенок с полугривенкою, но он «в стрельбу не годен, потому, что сыр»⁷.

Что же касается населения, то марийцы, частью переселенные, частью переселившиеся сами, частью крещенные и ассимилированные, больших проблем для властей не создавали. Вернее, уже не могли создать. И вообще вокруг Уржума число марийских деревень изрядно уменьшилось. Бежали марийцы от непосильных податей, которыми обложил их царь Петр, от рекрутчины, в поисках лучших земель в Предуралье, в бассейн реки Белой. Надо сказать, что и русские крестьяне тоже были мастера наводить лыжи от налогов. В те времена вятские леса были настолько густыми, что беглые крестьяне, не желавшие бежать далеко, основывали новую деревню буквально в нескольких верстах от старой и не один год в ней жили, пока их случайно не обнаруживали. В семьсот шестнадцатом году власти устроили перепись населения. И тут вдруг выяснилось, что за двенадцать лет, прошедших со времен прошлой переписи, в уезде опустело более четырехсот дворов и подались в бега восемьсот с лишним человек, главным образом марийцев. Вообще население уезда сократилось на две с половиной тысячи человек, при том что в шестнадцатом году числилось всего десять с небольшим тысяч, включая и русских и марийцев. Переписчик, какой-нибудь юркий, как таракан, подканцелярист, которого еще по старой памяти называли подьячий, в протертом на локтях кафтане и «с прилипнувшим где-то куриным пером» на спине, писал: «Бежали, померли, отданы в рекруты, сосланы на вечное поселение, на работу в Санкт-Петербург, в башкирский бунт побиты, на каторгу, постриглись, пропали без вести»⁸. Крестьян можно понять – уж лучше бежать, чем все остальное. Впрочем, теперь времена изменились – теперь на работу в Санкт-Петербург из Уржума и уезда уезжают добровольно и с охотой.

Чтобы уж закончить с крепостью: по переписи семьсот сорок седьмого года в Уржуме, кроме ста шестидесяти душ купеческого сословия, полутора десятка иноземцев, семи десятков пахотных солдат, шести цеховых ремесленников, баб и детишек без счету, еще числилось семь душ пушкарей и восемь воротников. Стало быть, в середине восемнадцатого века ворота еще открывались, и пушки, пусть и ржавые, пусть и с такими же ржавыми ядрами, все еще могли стрелять, если подсушить отсыревший порох, но уже к восьмидесятым годам восемнадцатого века крепость сгнила до основания и от нее не осталось и следа. Остался только вал, который

обозначен на плане того времени. План этот украшает собою один из залов краеведческого музея, и на нем, кроме зеленых квадратов, обозначающих то ли три, то ли четыре с половиной жилых квартала, рек, а вернее речек – Уржумка и Шинерка, кладбища, соляного амбара, винного склада, инвалидной слободы, двух деревянных мостиков через Уржумку, столбовых дорог на соседние города Малмыж и Нолинск, нет больше ничего. Не было даже Московской улицы, которая была в те времена почти во всяком уездном или даже заштатном городе, чтобы можно было все бросить, сесть в коляску и по ней укатить, поднимая тучи пыли, в Москву или, на худой конец, в Казань. Хотя... насчет дороги в Казань я, пожалуй, призагнул. Была в Уржуме Казанская улица, по которой можно было, выехав из города, доехать до самой Казани, много лет приходившейся Уржуму губернской столицей. В семьсот восьмидесятом году от огромной Казанской губернии отделили Вятское наместничество, в состав которого, среди прочих уездных городов, вошел и Уржум. Уржумские мужики, обычно оценивавшие колеса проезжающих телег и экипажей на предмет того, доедут ли они до Казани или нет, еще долго не могли привыкнуть говорить Вятка вместо Казани.

Кстати, о проезжающих. В семьсот семидесятом году проезжал через Уржум участник естественнонаучной экспедиции академика Палласа капитан Николай Петрович Рычков. Не просто так проезжал, а с целью изучения и описания всего, что попадалось ему по пути: городов, рек, железоделательных, салотопенных и кирпичных заводов, рыбных и соляных промыслов, древностей, способов плетения лаптей и засолки огурцов, торговли, растений, сусликов, мышей, жужелиц и полезных ископаемых. Об Уржуме Николай Петрович записал в своем журнале буквально следующее: «В нем три каменные церкви, до 300 обывательских домов и несколько лавок, в которых продают разную крестьянскую рухлядь. Жители его суть пахотные солдаты, черносошные купцы и часть инвалидной команды, поселенной на полуденном конце города. Известно, что в городе Уржум находится воеводское правление»⁹.

Обычно уржумские краеведы в своих работах об Уржуме ограничиваются лишь этой цитатой из журнала Рычкова, а зря. Несколькими строчками ниже любознательный капитан пишет вот что: «Между делами в канцелярском архиве думал я найти какое ни будь известие о древности сего города; но на посланное от меня сообщение Уржумская воеводская канцелярия ответствовала, что в старинных делах не значится ни время, когда сей город построен, ниже какие народы прежде сего в сем месте обитали»¹⁰. Еще и двухсот лет не прошло, как уже все поросло таким густым быльем... По крайней мере, для Уржумской воеводской канцелярии. Впрочем, может, местные чиновники просто не хотели открывать свои архивы приезжему из столицы. Это он так говорит, что интересуют его дела давно минувших дней, полезные ископаемые и тычинки с пестиками, а как начнет копать...

И еще о Рычкове. Вернее, не о нем, а о расположенных в Уржумском уезде медеплавильных заводах, которые он осматрел и подробно описал. За сорок лет до его визита два хлыновских купца, Александр Фирсович Прозоров и Вонифатий Иванович Дряхлов, послали в низовья Вятки хлыновского же посадского человека Тимофея Рукавишникова для рыбной ловли. Теперь уже и не узнать, наловил он им рыбы или нет, но приехал Тимофей к Александру Фирсовичу и Вонифатию Ивановичу с образцами медной руды, которую отыскал на берегах речки Шурминки. То ли у Рукавишникова было два образования – рыбное и медное, то ли он вообще любил искать руду в свободное от рыбной ловли время... Как бы там ни было, а хлыновские купцы решили от своего счастья не бегать – через год ими было получено от Берг-коллегии разрешение на постройку завода, а еще через год на Шурминке уже стояла плотина, были устроены водовод и колеса, вращавшие воздуходувные меха у печей и горнов, сложены две плавильные печи, прорублены в лесах дороги, и по ним крестьяне повезли на телегах к печам руду. Медь правительство скупало у купцов по принудительной цене – пять с половиной рублей за пуд. Из этого пуда выходило медных денег на целых шестнадцать рублей. В благодарность за разницу в десять рублей правительство разрешало владельцам частных заводов приписывать к ним государственных

крестьян. Шурминский медеплавильный завод исключением не был – к нему приписали около трех сотен крепостных да еще почти столько же было пришлых.

К тому времени как через те места проезжал капитан Рычков, заводом уже владели тульские промышленники Мосоловы. После смерти Дряхлова Прозоров отдал на пять лет в аренду четырем братьям Мосоловым не только завод, но и рудники и сенные покосы. За все про все Мосоловы платили Прозорову восемьдесят копеек с каждого пуда выплавленной меди. Три года они завод арендовали, а потом выкупили его с разрешения все той же Берг-коллегии за пять тысяч рублей. В семидесятом году на заводе было десять печей, но работало всего шесть, поскольку запасы медной руды начали мало-помалу вырабатываться. Тем не менее в год выплавляли от двух до трех тысяч пудов меди, и по словам Рычкова «Пред несколькими годами сей завод был лучший из всех заводов в Казанской губернии». Один из братьев Мосоловых, Максим, арендовал в Уржумском уезде казенную мельницу и пристроил к ней лесопильню. Он же хотел построить еще один медеплавильный завод в Уржумском уезде, на реке Буй, но умер, и строили уже его сыновья. В скобках заметим, что один из сыновей Максима Мосолова, Антипа Мосолов, был самым крупным землевладельцем в округе – он имел полторы сотни крепостных. Их и во всей-то Уржумской округе было около пятисот у десяти помещиков. У мелкопоместных дворян число крепостных и вовсе не превышало четырех человек.

Антипа Мосолов привез из Тулы три сотни мастеров и рабочих. Буйский завод развивался так быстро, что уже через два года в селе Буйском, возникшем вместе с заводом, проживало в два с половиной раза больше жителей, чем в самом Уржуме. Правда, Берг-коллегия не разрешила строить медеплавильный завод, поскольку поблизости не было нужного сырья, и потому завод вышел молотовым или передельным, то есть на нем с помощью молота переделывали чугун, полученный из уральского Златоуста, в ковкое железо. Все это, конечно, скучные чутунные подробности, к истории Уржума непосредственного отношения не имеющие, но сказать об уржумской промышленности в восемнадцатом веке больше нечего, если не рассказывать о каких-нибудь кустарных мастерских по плетению рогож, кузницах, салотопнях, маслобойках и... Правду говоря, даже и маслобоек в Уржуме тогда не было – они появятся лишь в следующем веке.

Чуть не забыл. Стояла на Уржумке в черте города пильная мельница с мукомольными поставами. Говоря понятным нам языком – обычная пилорама и несколько мельничных жерновов. Не авиазавод, конечно, и даже не мастерские по шитью воздушных шаров из коровьих шкур, но... если прищуриться, то можно и в ней разглядеть росток уржумского капиталистического будущего.

Нельзя сказать, чтобы и торговля в Уржуме во второй половине восемнадцатого века процветала. Да и как ей процветать, если в момент образования Вятского наместничества в семьсот восьмидесятом году в городе проживало всего пять купцов третьей гильдии. Всех же уржумцев насчитывалось двести пятьдесят, и жили они в ста шестидесяти домах. Дома, конечно, были деревянными. Каменными были только три уржумских храма – Троицкий собор, Вознесенская и Казанские церкви и винный склад. Весь город в длину был немногим более километра.

Ратушу по случаю учреждения наместничества переименовали в магистрат, Уржумское духовное управление вошло в состав Вятской епархии, бургомистром стал купец Терентий Полстовалов, городничим назначили секунд-майора Гиллебольта, уездным землемером Ивана Горбунова, а уездным стряпчим коллежского регистратора Козьму... Впрочем, это такие же скучные подробности, как и сведения о переделке чугуна. Гораздо интереснее, почему на гербе Уржума изображен дикий гусь, а не белка. По официальной версии потому, что гусей «в окрестностях сего города весьма много», а может и потому, что через двести лет после основания Уржума никто и вспоминать не хотел «ниже какие народы прежде сего в сем месте обитали». Впрочем, справедливость все же восторжествовала. На современном гербе Уржумского района изображена белка, поддерживающая сноп – «аллегория природы района, в которой лес и поле являют собой две неотъемлемые части одного целого».

И все же уржумская торговля если и не цвела, то развивалась. Купец и бургомистр Терентий Полстовалов на своем кожевенном заводе выделял красную и черную юфть и отправлял ее продавать в Оренбург. Вместе с братом Андреем он скупал дрова, строевой и крупный лес и отправлял в Астрахань. Тут только надо добавить, что торговали братья Полстоваловы, как тогда говорили, «несоответственно объявленных ими капиталов», чем вызвали крайнее неудовольствие вятского генерал-губернатора князя Мещерского, который предложил Вятскому наместническому правлению подобную торговлю прекратить.

Купцов в Уржуме и без всякого прекращения было раз-два и обчелся. В семьсот восемьдесят пятом году властями было велено открыть в городах Вятского наместничества шестигласные думы. В тех городах, в которых не были представлены все сословия – не было, к примеру, ремесленников, записанных в цехи, недостаточно купцов, рабочих или именитых граждан, предлагалось создать трехгласные думы. Так вот в Уржуме все так плохо обстояло с купцами и ремесленниками, что там поначалу не открыли не только трехгласную, но вообще никакую думу и сделали это лишь через восемь лет.

Кроме дарованного Уржуму герба с гусем и конфирмованного Екатериной Великой городского плана, расчерченного на аккуратные прямоугольники, предполагалось застроить центр каменными купеческими домами, уничтожить старое кладбище и на его месте устроить площадь для торговли сеном, дровами и всем тем, что можно выпилить, выстрогать и вытесать из дерева. И еще украсить Уржум питейным домом и торговыми рядами. И все это под присмотром и непосредственным участием уездного землемера и первого вятского губернского архитектора Филимона Рослякова.

И еще. Крестьянская война под предводительством Пугачева Уржумский уезд почти не затронула, несмотря на то что соседние уезды были охвачены волнениями. Шурминские заводы не только не были разоренными, но даже продолжали работу. Население, особенно марийское, бунтовать опасалось, поскольку слишком хорошо помнило, как ему досталось от властей за участие в разинских беспорядках. Да и в самом Уржуме, в отличие, к примеру, от соседних Малмыжа и Кильмези, было тихо. Сам Уржум, как сказал о нем еще во времена Смуты и крестьянской войны воевода Чемоданов в письме к князю Ухтомскому, «служил и прямил государю».

Кстати, о беспорядках. В семьсот восемьдесят втором году в Уржуме появилась полиция. Тогда это называлась управой благочиния. Поскольку в Уржуме было всего два квартала, то и квартальных надзирателей тоже было двое. К квартальным надзирателям полагалось два квартальных поручика. Их выбирали из числа граждан, населяющих квартал. Если же граждане не желали быть добровольными помощниками надзирателей, то... газ отключить не могли за его отсутствием, но назначали на эти должности чиновников. Вот и все устройство уржумской полиции. В самой управе благочиния председательствовал городничий, а вместе с ним два пристава уголовных и гражданских дел, а также два ратмана, то есть два заседателя, которых избирали уржумские граждане.

Теперь о городничем. В восемьсот восьмом году им был некто Дреер. На этого Дреера подал жалобу в Сенат коллежский секретарь Павел Разумов, в которой писал: «сего года февраля 15 города Уржума городничий Дреер за то, что он, Разумов, старался отвратить его от делаемой им по полудни в 8 часов безобразной и вредной общежитию по городу с зажженным пуком лучины и с шумом езды, причинил ему, Разумову, того же вечера тяжкую обиду, во первых в доме титулярного советника Трущетова при многолюдном собрании насильственным выводом из компании, угрозами и поношениями чести его, потом уже в 10 часов по полудни же, посылкой к нему, Разумову, унтер-офицера с двумя солдатами и четырьмя десятниками...» и еще долго описывает Разумов утеснения и поношения, которым подвергся он и его семья. Городничий, пока Разумов ездил жаловаться в Вятку, собственноручно вынес из его дома деньги, документы, увел скот, забрал съестные припасы... Разумов жаловался уездному стряпчему, губернскому прокурору, бывшему Вятскому гражданскому губернатору, входил с прошением на Высочайшее имя и даже писал императрице, прося денег на пропитание... Бог его знает почему Дреер катался по Уржуму

с пукотом горящей лучины с гиканьем и свистом – может, получил известие о переводе в Вятку столоначальником, может, дали ему за беспорочную службу орден св. Анны третьей степени или из секунд-майора стал он премьер-майором, может, просто был пьян и хотел осветить темный Уржум, в котором тогда не было ни одного фонаря. Бог его знает, почему Разумов стал призывать Дреера к порядку... Можно подумать, что никогда не видел он городничих, разъезжающих по городу с пучками горящей лучины, пусть бы даже и пьяных до безобразия.

Я бы и вспоминать об этом случае не стал, но в восемьсот восьмом году в Уржуме событий масштабнее этого не было. Правду говоря, и в предыдущем... Впрочем, нет, в предыдущем году такое событие было. По результатам работы сенатской комиссии предписано было губернским властям Уржумского уездного судью Разумова «тотчас отрешить от места».

Раз уж зашла речь об уржумских чиновниках, вернемся ненадолго в восемнадцатый век, в самый его конец. В девяносто шестом году сенатская комиссия по Вятской губернии предписала отрешить от должности «Уржумского уездного судью, коллежского асессора Зубкова, в рассуждении найденного нами, при осмотре беспорядка в делах Уржумского уездного суда, в коем именно нашли мы, что решительные по делам протоколы сочиняются не только прежде сочинения и подписания журналов, но и прежде положения присутствием резолюций, что есть совершенно противно узаконениям, крайний означает в производстве дел непорядок и большие открывает средства к запутанности и злоупотреблениям».

Судье Зубкову еще повезло. Секунд-майора Арбузова, бывшего земского исправника Уржумской округи за лихоимство и прочие должностные преступления эта же комиссия предписала лишить чинов, дворянства и сослать в Сибирь на поселение.

Заодно уж упомянем и уржумского уездного комиссара и провинциального секретаря Сьенова, «который сверх того, что ведет себя как то свидетельствуют общий голос города и уезда, несоответственно свойствам кротости, доброхотства и трезвенности должности его приличным и предписанным, открылся еще в небрежении и сомнительной нерачительности о должности своей, в недостаточном бдении по оной, неискусстве и неисправности». Впрочем, такую характеристику Сьенову сенатская комиссия дала уже в девятнадцатом веке – в восьмисотом году.

Девятнадцатый век в Уржуме долго не начинался. То есть он, конечно, открылся появлением в селе Ашлань первого в Уржумском уезде винокуренного завода, принадлежавшего помещикам Дебрейсам, но до волков и овец, бесприданниц, бешеных денег и последних жертв было еще далеко. Уржум, говоря словами императора Александра Первого, жил «как при бабушке».

В восемьсот одиннадцатом году в Уржумский уезд, в село Буйское, к своей сестре Надежде, которая была замужем за сыном владельца завода Мосолова, приезжал Сергей Тимофеевич Аксаков – тогда еще просто молодой человек двадцати лет отроду, а не отец славянофилов в самом прямом смысле этого слова и знаменитый на всю Россию рыболов и охотник. Приезжал он трижды, но мы не стали бы вспоминать ни про один из этих визитов, кабы в «Записках ружейного охотника» Аксаков не написал бы: «...тамошние дремучие леса, идущие непрерывно до Архангельска, населены рябчиками в изобилии... Поднявшись с земли, рябчики сейчас садятся на деревья. Тут необходимо острое зрение, чтобы разглядеть их, спрятавшихся в густой и темной зелени сосен и елей. У туземцев... способность эта развита в высшей степени, и я не один раз имел случай удивляться необыкновенной их зоркости».

За месяц до начала войны с Наполеоном, «В мае 1812 г. татарин Казанского уезда Бактемиров, придя на Буйский завод (Вятской губ., Уржумского у.), говорил, что турки победили русских и государь бежал: это видно из писем, получаемых богатыми татарами; он сказал также, что “татары скоро возьмут Казань, что и они умеют драться, и у них есть оружие”. Он слышал, что они переписываются с турками»¹¹.

Война двенадцатого года коснулась Уржума в той же степени, что и остальных провинциальных городов империи, очень далеких от театра боевых действий. Вятка и Уржум были назначены местами формирования вятского ополчения. На содержание ополчения собирали народные деньги. Потом, когда все закончилось, в уезде разместили пленных итальянцев и французов.

Всего около двух сотен. В самом Уржуме разместили восемь французских офицеров. Пленным в уезде собрали полсотни шинелей и почти сотню пар лаптей. Лапти, конечно, не та обувь, которая нужна зимой пленному итальянцу или французу в тех местах, но... не всем хватило и лаптей. Пленным французским офицерам по предписанию председателя комитета министров было выдано одновременно по сто рублей на покупку одежды. Остальным было предложено на одежду заработать самим. И еще. В честь победы над Наполеоном в Уржуме было заложено новое здание Свято-Троицкого собора.

Уржум в первые два десятилетия девятнадцатого века был почти полностью деревянным. Еще и ветхим, по словам губернского землемера Родионова. Еще и вал со рвом, которые были на плане, утвержденном Екатериной Великой, был «...поныне не сделан». Перед войной с французами в городе было сто пять деревянных домов. В пятнадцатом году в городе произошло знаменательное событие – был построен первый каменный дом. В восемьсот двадцатом году половина из деревянных уржумских домов сгорела в результате опустошительного пожара. Дома, конечно, потом построили новые, а вот архива, сгоревшего вместе с административными зданиями, Уржум лишился навсегда. На следующий год заново было построено сто восемь домов. Стук топоров при этом строительстве стоял такой, что слышно было в соседнем Малмыже.

Через шесть лет после пожара утвердили второй план города, потому что город, предоставленный сам себе, все время норовил застроиться не аккуратными квадратными или прямоугольными кварталами, а узкими кривыми улочками и переулками, переплетенными и перепутанными так, что сам черт не разберет, где у них начало, а где конец. Не говоря о глухих тупиках, которые возникали в самых неподходящих местах буквально из ничего, из какого-нибудь покосившегося забора в три доски, старого корыта, в которое жители набросали мусора, и спящей в луже свиньи. В Уржуме восемьсот тридцатых годов было всего восемь улиц и переулков. Только одна улица была вымощена... не камнем, но деревом. В семи каменных домах проживало пять купцов, один мещанин и один священник. Купцов и всего-то было в городе восемь человек. Во всех остальных деревянных ста семидесяти четырех домах жили дворяне, чиновники, мещане, духовенство, солдаты и крестьяне. В те времена Уржум, если судить по данным переписи тридцать восьмого года, был городом военных и мещан. На тысячу двести жителей приходилось всего шесть помещиков, три учителя, девять священников, тридцать шесть церковнослужителей, двадцать девять крестьян, тридцать пять слуг, живущих при господах, тридцать восемь чиновников, а остальные ходили в военной форме или были мещанами.

Деревянным было и первое в городе и уезде одноклассное приходское училище, открытое в тридцать пятом году. Отдавать в училище своих детей уржумцы не спешили. Числилось в нем поначалу всего сорок четыре ученика. Тем не менее содержание училища обходилось городу в триста рублей в год. Полиция стоила Уржуму ровно в два раза дешевле. Дороже училища стоило только содержание пожарных лошадей и чиновников. Если считать в училищах, то городской магистрат за год съедал немногим более четырех училищ, семь городских тюрем и почти девять годовых бюджетов полиции.

Скажем и о городской тюрьме, на которую власти тратили в год двести рублей. Сидели там в восемьсот тридцать восьмом году три десятка человек – большей частью государственные крестьяне из окрестных деревень. Сидели за воровство, мошенничество, бродяжничество, соращение в раскол и сокрытие беглых. Сидело и два взяточника. Как представишь, какого размера в то время в Уржуме были взятки... Курам на смех.

Была в Уржуме городская больница. Ее открыли еще во времена войны с французами. К ней уржумцы относились точно так же, как и к училищу. Старались ее не посещать. За год пришло в нее тридцать три человека, а своим ходом ушло тридцать два. Объединяло больницу с училищем еще и то, что помещались они в крайне ветхих зданиях – в училище протекала крыша, а в больницу с наступлением холодов и вовсе лучше было не приходить.

Двадцать восьмой год запомнился уржумцам делом о молении мариинцев своим языческим богам в березовой роще Сернурской волости Уржумского езда. Собралось там около трех

тысяч крещеных и некрещеных из Вятской, Казанской и Уфимской губерний, зажгли сто с лишним костров, сколотили столы, накрыли их белым полотном, приготовили жертвенных животных, стали молиться и... тут к ним приехал Уржумский земский исправник с православным священником и давай уговаривать их разойтись. Марийцы исправника со священником слушать не стали, и пришлось им уехать восвояси, но на следующий день исправник приступил к следствию по делу «О бывшем отправлении черемисами жертвоприношений по своему языческому обряду и суеверию». На следствии выяснилось, что одному из крещеных марийцев по имени Иван Токметев приснился вещий сон, из которого было ясно, что надо молиться о чудесном избавлении всего марийского народа от страшной напасти, каковая приснилась Ивану Токметеву в виде ужасной пропасти. В этой же деревне оказалось и еще два сновидца с такими же снами на эту же тему. Вятский губернатор, получив рапорт Уржумского исправника, немедленно доложил министру внутренних дел, а министр это дело довел до сведения обер-прокурора Св. Синода. Тот, в свою очередь, рассказал о нем Государю, который повелевает соизволил, чтобы никого из марийцев не притесняли и не наказывали «из снисхождения к их простоте». Их и не притесняли, но трех сновидцев тихонько взяли и отправили в Вятку для выяснения всех причин случившегося. После допроса всех троих отправили с квартальным надзирателем и солдатом, понимавшим марийский язык, в Петербург на новый допрос к действительному статскому советнику Филатьеву. Тот их всех допросил и отчет о допросе представил царю. Марийцев же поручили попечению священника Московской Богоявленской церкви Александра Покровского, и вместе с ним, прикомандированным офицером и еще одним на всякий случай рядовым они вернулись в Вятку, а из Вятки были отправлены в Уржум. Казенных денег на эту поездку было истрачено около тысячи трехсот рублей, которые списали на счет губернского казначейства. Тем дело и кончилось, но... оказалось, что у него имеется еще и постскриптум.

Спустя некоторое время выяснилось, что наивные марийцы надеялись на то, что тамошний земский исправник князь Девлет-Кильдеев хлопочет в Петербурге перед правительством о том, чтобы им разрешили остаться язычниками. Этим надеждам в них не давал умереть и местный дьякон, обещавший просить о том же Вятского архиерея. Шустрый дьякон даже собрал с них деньги на предстоящие по этому делу расходы...

В восемьсот тридцатом году в Вятской губернии появилась холера. Чтобы она не проникла в Казанскую губернию со стороны Уржумского уезда, на его границе была устроена застава из командированных губернским начальством «гражданских, военных и медицинских чиновников, местных обывателей и инвалидов и отставных нижних чинов». Что делали на этой заставе местные обыватели, а в особенности инвалидные и отставные нижние чины...

Через два года после холеры в уезде взбунтовались крестьяне помещика капитана Депрейса и титулярной советницы Наумовой. Бунтовщиков было всего восемь десятков, и хотели они доказать властям, что происходят от вольных стрельцов и закрепили их неправильно. Отправили они своего доверенного человека в столицу с жалобой, а сами в ожидании положительного решения от доброго царя перестали ходить на барщину, косить, жать, веять, молотить и снимать шапки в присутствии капитана Депрейса и титулярной советницы Наумовой, еще не зная о том, что поверенный их уже препровожден из Петербурга по этапу в уржумскую тюрьму и ожидает присужденного ему наказания. Нечего и говорить о том, что уржумский уездный суд решил дело не в их пользу. Упорные крестьяне еще и отказались отдавать в рекруты трех человек и на все увещевания приехавшего к ним объявлять решение уездного суда отвечали так, как обычно отвечает злой, доведенный до крайнего ожесточения русский мужик. Исправник, даже не выслушав все слова, которыми его мужики аттестовали, уехал и вскоре вернулся, привезя с собой инвалидную команду и полторы сотни понятых, затем снова уехал и снова вернулся, и все с тем же результатом. Потомки свободных стрельцов рекрутов не отдавали и признавать вину отказывались. Привозили уговаривать крестьян их поверенного в делах, сидевшего в уржумской тюрьме. И это не помогло. Крестьяне кричали, что скорее умрут, чем станут повиноваться. Приехал даже и губернатор с чиновниками, но они услышали ровно то, что исправник выучил уже

почти наизусть. Несколько крестьян все же повинились, но большая часть продолжала настаивать на своем вольном стрелецком происхождении. В конце концов прибыло полсотни солдат, оцепивших укрепленный двор, в котором находились крестьяне. Военный суд, состоявшийся там же, приговорил шесть зачинщиков прогнать шпицрутенами через пятьсот человек по двенадцать раз и сослать в Сибирь на поселение. Еще четверем дать по тысяче ударов батогами и разрешить помещикам отдать их в рекруты. Всем остальным велено было разойтись по домам, но прежде присутствовать при наказании зачинщиков. Губернатор приговор военного суда утвердил, но по доброте своей приказал прогонять сквозь строй шпицрутен не по двенадцать, а всего по пять раз и вместо тысячи ударов батогами дать по двести. После исполнения приговора пять осужденных отправили в уржумскую больницу, а крестьяне разошлись по домам. Уездный судья в своем рапорте об исполнении приговора писал: «Уже по отпуске крестьян в свои дома одна женка Акулина Петрова бросилась в пруд, потому что муж ее первый принес сегодня повинную голову и пришел домой помещичьим, и утонула бы без пособия рядовых Госединского и Николаева; по многим способам и даже чрез пушения ей крови, жизнь ее приведена в безопасность: она под строгим военным и подлекарским надзором. Вот пример изступления! Она имеет трех малолетних детей и доброго мужа»¹². Вспоминать горящие избы и остановленных коней в таком контексте даже неловко.

В тридцать третьем году в уезде был построен еще один винокуренный, а точнее, спиртовой завод купца Лазаря Матвеева. Вообще можно выделить три направления в деятельности уржумских купцов и промышленников – металлургия, винокурение и торговля лесом. Металлургия в силу разных причин со временем зачахла, а вот лесоторговля и винокурение живут до сих пор. И почему бы, собственно, им не жить – лес еще весь не вырублен, да и спилили еще не все.

Кстати о Лазаре Матвееве. Именно он подарил городу дом для приходского училища. Когда в Уржуме открылось трехклассное уездное училище, его разместили в том же доме под ветхой крышей, что и приходское. Уездное училище открылось не сразу. В восьмьсот пятнадцатом году уржумские чиновники пожертвовали почти две с половиной сотни рублей, а купцы и мещане более четырехсот на его устройство, но этих средств было недостаточно, и открыть его смогли лишь через двадцать четыре года. «Уржумской 2-й гильдии купеческий сын Павел Матвеев, желая оказать несостоятельному городу Уржуму пользу, пожертвовал свой дом для помещения уездного училища, которое затем и было открыто»¹³. Правда, на открытие гимназии в Вятке, еще в одиннадцатом году, он дал пять тысяч, и если бы эти деньги...

С деньгами у города было, мягко говоря, не очень. В тридцать седьмом году доходная часть уржумского бюджета составляла всего четыре с лишним тысячи рублей. Это меньше той суммы, которую Павел Матвеев... Ну, да что об этом вспоминать. Уржум в том году свел концы с концами, и даже осталось сто четыре рубля, а когда не сводил, то дефицит бюджета покрывали за счет поземельного сбора и добровольных пожертвований купцов и мещан. Последние просто скидывались, кто сколько сможет и покрывали недостачу. По распоряжению министра внутренних дел в некоторых городах с малыми доходами, в том числе и Уржуме, были учреждены особые комитеты, которые должны были заниматься поиском новых источников доходов.

Понемногу город благоустривался. В тридцать шестом построили каменный гостинный ряд, который разберут на кирпичи в двадцатых годах следующего века, а восьмьсот сорок первый год Уржум встречал сразу с тремя фонарями. Поставили их в центре города, около магистрата и других казенных учреждений. Сначала в фонари вставляли сальные свечи, а потом масляные светильники. В какой-нибудь Англии к тому времени газовое освещение было не только в городах, но даже и в деревнях... Впрочем, какое нам дело до Англии. Там, как говорил старик Мармеладов, политическая экономия.

В начале июня пятидесятого года в Уржум приехал чиновник для особых поручений при вятском губернаторе титулярный советник М.Е. Салтыков-Щедрин. В те поры он был еще просто Салтыковым. В Уржуме он проверял рапорты и отчеты городничего, бургомистра и собирал статистические данные для губернского статистического комитета. С уржумским городничим

Михаил Евграфович был уже знаком заочно, поскольку состоял с ним в переписке по поводу эпидемии брюшного тифа, от которой умирали заключенные в местной тюрьме. Эпидемия то затихала, то усиливалась. Салтыков посылал в Уржум специального чиновника, чтобы тот на месте оценил обстановку, и сам писал городничему: «Делаю вам строжайший выговор за предыдущее донесение ваше, которым вы заверяете, что опасность от тесного помещения в Уржумской городской тюрьме уже миновалась, и вообще за вашу крайнюю нераспорядительность и непростительную небрежность в этом случае».

Само собой, что приехав в Уржум, Михаил Евграфович посетил тюрьму и нашел там то, что и не думал найти – прототип героя рассказа «Неприятное посещение». Прототипом, а вернее, тем еще типом, был врач Иван Васильевич Георгиевский – знаменитый на всю губернию кляузник. В тюрьму его уекли за «отъявленное поношение и непокорство власти». Врач ожидал решения Сената по своему делу. Собственно, с Георгиевским Салтыков-Щедрин тоже успел познакомиться заочно – некоторые из его бесчисленных жалоб разбирались в губернском правлении. Иван Васильевич не был идейным правдоискателем и обличителем существующих порядков – он был если и не совсем сумасшедшим, то человеком с очень большими странностями. В рассказе Георгиевский предстает тоже кляузником и тоже человеком странным, Павлом Трофимовичем Перегоренским, изобретателем трех наук: правдистики, патриотистики и монархомахии... Впрочем, эти науки к истории Уржума не имеют никакого отношения. Что же до Георгиевского, то он плохо кончил – его сослали в Тобольск с запрещением писать жалобы.

И еще одного человека в Уржумском уезде отыскал Салтыков-Щедрин – Макара Алексеевича Максимовых. Его Михаил Евграфович сделал прототипом рассказа «Хозяинственный мужичок». Макара Алексеевич был хозяином образцовой усадьбы в деревне Шишкино. Он и сам был образцовым – имел похвальный лист, подписанный министром государственных имуществ «за оказанное достохвальное соревнование в разведении картофеля», получил большую золотую медаль на вятской сельскохозяйственной выставке восьмьсот пятидесятого года и даже написал статью о разведении картофеля в журнал министерства государственных имуществ... Рассказывать о нем так же скучно, как о гоголевских Муразове и Костанжогло.

Кстати, о картофеле. Крестьяне уржумского уезда и уржумские горожане совсем не рвались его высевать. Случались и картофельные бунты, а потому картофельные поля огораживали кольями с волостной печатью. Не выращивали не только картошку или, скажем, помидоры, но даже и огурцы, петрушку, редиску и укроп. Питались редькой, капустой, свеклой, морковкой и горохом. Зато разводили пчел, охотились и рыбачили. Рыбы в Уржумке, а тем более в Вятке, было много – и окунь, и сорога, и щука, и линь, и язь, и судак, и стерлядь, и карась, и лещ, и осетр, и сом, и налим, и ерш, и жерех, и уклейка, которую в этих краях называют шеклеей. В середине позапрошлого века только в Уржумке вылавливали в год до ста пудов рыбы. О Вятке и говорить нечего. Тут надо бы добавить, что теперь о такой рыбе можно только вспоминать и ловят уржумцы только замороженного хека в магазине, но... не ловят в магазине. Ловят рыбу в Уржумке и в Вятке. Слава Богу, она и сейчас есть в достаточном количестве.

Вторая половина девятнадцатого века и начало двадцатого были золотым веком Уржума. Немного, конечно, если иметь в виду четыреста с лишним лет истории города, но у нас золотым веком может быть и десять лет железного. Богатое уржумское купечество, а среди него были и купцы первой гильдии, застраивали центральную Воскресенскую улицу каменными особняками. Дом лесопромышленника Шамова и вовсе тянулся по Воскресенской улице целый квартал. Типовых проектов не было – только индивидуальные. Да и сама центральная улица была вымощена круглым булыжником. В шестьдесят девятом году в городе с населением две с половиной тысячи человек имелось пятьдесят три лавки, т.е. приблизительно по лавке на каждые полсотни уржумцев. Судя по количеству самых разнообразных ремесленников, в Уржуме в середине девятнадцатого века можно было жизнью жуировать. В городе работали тридцать пять башмачников, четыре модистки, тридцать три портных, шесть шапочников и картузников, шесть рукавичников, шестьдесят пять сапожников, два кондитера, два с половиной десятка калачников и

калачниц, два пряничника, два укусника... Где теперь все эти башмачники, портные, шапочники, картузники и рукавичники? Живут себе в какой-нибудь провинции Гуандун или Сычуань и целым днями шьют, шьют, шьют...

Скажем и о культурной жизни. В Уржуме и уезде стали выписывать и читать газеты – более шестидесяти наименований журналов и газет, среди которых «Душеполезное Чтение», «Дух Христианства», «Сын Отечества», «Модный магазин», «Православный собеседник», «Московские ведомости», «Земледельческая газета», «Заноза», «Санкт-Петербургский листок», «Северная почта», «Русский листок», «Журнал для детей», «Будильник», «Медицинский журнал», «Якорь», «Учитель», «Журнал для родителей», «Отечественные записки», «Биржевые ведомости», «Творения Св. Отцов», «Рижский листок», «Собрание романов», «Тульские Епархиальные ведомости»... Более всех выписывали газет и журналов чиновники, заводчики и их конторы. За ними шли городские священники, потом уездные крестьяне и сельские священники. Причем крестьяне выписывали почти столько же газет, что и купцы.

Теперь о книгах. Их тоже начали покупать крестьяне. В шестьдесят втором году крестьяне Уржумского уезда покупали более всего букварей, книжку «Житие с. Великомученицы Катерины», «О Луне», сказки Пушкина и две книжки с несколько обидными названиями «Сборник русских стихотворений для чтения простолюдинам» и «Сборник некоторых понятных народу повествований, рассказов и описаний»¹⁴.

Кстати, о народе. В пятьдесят пятом году из жителей города и уезда сформировали две дружины ополченцев численностью почти в две тысячи человек для участия в Крымской кампании. Начальником одной из дружин пожелал стать отставной штаб-капитан Мосолов – из тех самых Мосоловых, которые владели металлургическими заводами. Он на свой счет обеспечил ополченцев топорами и лопатами. В Вятке при большом стечении народа ополченцам вручили знамена, и уржумские дружины вместе с другими вятскими дружинами двинулись по направлению к Петербургу через Козмодемьянск, Казань, Нижний и далее в Москву. И проводы, и встреча ополченцев в городах, через которые они проходили, были очень торжественными. Правда, когда они дошли уже до Владимирской губернии, получено было Высочайшее повеление о роспуске ополчения по домам по случаю окончания военных действий и заключения мира в Париже. Так же торжественно пошли домой. Дома рядовым из собранных денег раздали небольшие премии, каждому ополченцу отдали его форму и разрешили носить ополченский крест на фуражке или на груди. Офицерам ополченцам тоже разрешили ношение крестов. Все вступившие в ополчение гражданские чиновники получили годовой оклад офицерского жалованья. Слухи о том, что крестьянам, вступившим в ополчение, дадут вольную вместе семьями, оказались ложными.

Вернемся к книгам. В Уржуме к концу девятнадцатого века работали целых три библиотеки – для земских служащих при уездной управе, публичная библиотека при городской управе, открытая в восемьдесят третьем году, и бесплатная библиотека-читальня, существовавшая за счет городской казны и за счет средств, собираемых по подписке, которую открыли в девяносто пятом. В публичной библиотеке при городской управе за пользование книгами надо было платить от сорока до шестидесяти копеек в месяц. За эти деньги можно было на городском базаре купить воз сухих колотых дров. Дорого выходило читать. Зато в библиотеке-читальне, в которой уже через два года после открытия числилось семьсот читателей, а еще через год почти две тысячи, было более двух тысяч томов, которые можно было читать совершенно бесплатно. Приходили в нее записываться и жители близлежащих к Уржуму волостей¹⁵. В библиотеке еще и устраивались народные чтения с волшебными фонарями. В ней даже работал библиотекарь, получавший шесть рублей в месяц. Можно, конечно, и посмеяться над зарплатой библиотекаря, но, во-первых, будем помнить, что это Уржум, а не Москва и даже не Вятка, а во-вторых... крошечная зарплата, что и говорить. Можно было ноги протянуть на такую зарплату, но наверняка библиотекарь имел свой огород, козу, корову, кроликов и даже поросенка. В-третьих, если мы посмотрим на зарплату нынешнего уржумского библиотекаря... Без слез на нее и не взглянешь. Думаете, нынешнему

библиотекаря можно обойтись без огорода, кур и кроликов и даже поросенка? Без поросенка и коровы, наверное, можно, но только без них, а уж без огорода и мужниной зарплаты никак.

Мы, однако, откликлись. В шестьдесят первом году, после отмены крепостного права, начались волнения рабочих на металлургических заводах Мосоловых в Шурме и Буге. Заводы и без того еле сводили концы с концами – местного сырья было... почти уже и не было. Руду приходилось возить из мест, отдаленных почти на сто верст. Да и в той содержание железа было невелико. И это при отсутствии железных дорог. Надо было сокращать производство, а в некоторых случаях даже прекращать совсем. Мосоловы, наверное, и продали бы заводы, но покупателей не находилось и потому заводы были взяты в казенное управление, а рабочих, которые добивались бесплатного выделения им земельных наделов, леса, выгонов и вознаграждения за выслугу лет, усмирили земский исправник, мировой посредник и полиция, которая придала словам земского исправника и мирового посредника убедительности. В восемьдесят шестом году заводы, приносившие к этому времени большие убытки, были закрыты. В полночь, после закрытия, рабочие превратились в крестьян, их трамбовки, пробивные буры, молоты и изложницы, в которые разливали чугун, превратились в тыквы, грабли, капусту и косы. Даже страшные заводские крысы, отгрызавшие по ночам облой у еще теплых слитков передельного чугуна, превратились в безобидных мышей-землероек и разбежались по окрестным полям и лесам.

От заводов Мосоловых остались в местном краеведческом музее небольшие чугунные мортары для подачи сигналов в тумане, мушкет, железный багор для вылавливания дров из воды, три чугунных сковородки, железные светцы и чугунная плита, которую в конце восемнадцатого века продавали на базарах как заготовку. Из нее можно было выковать, высверлить и выпилить все, что захочешь. Уж такое тогда было время – многие вещи приходилось делать своими руками. Хорошо, если их можно было вырезать из дерева или сплести из какой-нибудь березовой или липовой коры, а как нельзя, то приходилось брать в руки чугун и...

Накануне девятьсот семнадцатого года то, что осталось от Шурминского завода, купил Иван Иванович Ершов, и в годы НЭПа завод выпускал молотилки, принимал заказы на чугунное литье и ремонтировал сельскохозяйственную технику... Впрочем, все это уже было после золотого века, в самом начале железного.

В золотом же, в шестьдесят седьмом году, была открыта земская больница, уездная земская почта и выпущены первые почтовые марки с гербом Уржума, на котором вместо гуся был изображен орел с гусем в когтях, парящий над голубой лентой Уржумки. На добровольные пожертвования был заложен городской общественный сад. Ровно через год корреспондент «Губернских ведомостей» сообщал из Уржума: «Уржумское общество за последнее время начало выходить из той прожитой апатии, которая назад тому год лежала особенным отпечатком на большинстве уездных городов России. Старая непроизводительно-патриархальная жизнь стала надоедать обществу, и оно, как заметно, разом решило выйти из-под ее гнета. В настоящее время в Уржуме совершается какое-то особенное движение. Почти разом возникли здесь: клуб, книжная торговля и библиотека для чтения. Прежде всего открыт здесь клуб; сумма, собранная на клуб, говорят, очень значительна, так что даже позволяла, будто бы, распорядителям давать вечера с открытым буфетом для всех посетителей... Жаль только, что у здешнего общества проявляются предрассудки вовсе не прогрессивные. Так большого труда стоило некоторым лицам попасть в число посетителей клуба по той будто бы причине, что они не относятся, так сказать, к благородному сословию по происхождению, а просто – мещане... Это было бы в известной доле извинительно, если б уржумское население отличалось родовыми сословными достоинствами, но этого сказать нельзя»¹⁶.

Зря, конечно, высшее уржумское общество игнорировало мещан. Без них картина уржумского процветания была бы далеко не полной. Возьмем, к примеру, Прокопия Рухлядьева, который на своей маслобойне лишь за один восемьдесят восьмой год произвел сто двадцать пудов льняного масла. Этого количества хватило бы, чтобы одновременно умаслить всех уржумцев, включая женщин, стариков и грудных детей. Каждому досталось бы почти по пол-литра масла. И такая

маслобойня в Уржуме была не одна. Уржумский мещанин Иван Перевозчиков в своем сушечном заведении производил в восемьдесят четвертом году пятьсот пятьдесят пудов сушек. Если бы в те годы городские власти догадались устроить чемпионат Уржума по производству сушек, то на втором месте было бы сушечное заведение мещанина Ивана Ширкина, производившее четыреста пудов сушек в год, а третье место досталось бы мещанину Устину Токмачеву и его двум пекарям, которые выпекали триста пудов сушек. Кстати, о количестве рабочих, делавших сушки. Первое место обеспечили четыре человека, а второе – три. Прибавим сюда еще два кожевенных завода, принадлежавшие мещанам Григорию Тяпкину и Дмитрию Сазонову¹⁷. По тысяче двести обработанных кож в год выпускал каждый завод. И это при том, что на заводе у Сазонова работало три человека, а у Тяпкина – два. ~~В Москве или даже в Казани такие заводы назывались бы...~~

Не отставали от мещан и крестьяне. Самая крупная в уезде маслобойня крестьянина Лариона Щинова произвела полторы сотни пудов постного льняного масла. Крестьянин Потап Попов в восемьдесят первом году основал паточный завод. В год четыре человека на его заводе производили триста пудов патоки. Делали они ее из картошки, которой выращивали шесть с половиной тысяч пудов в год. При этом ни Прокопий Рухлядьев, ни Иван Перевозчиков, ни тем более Ларион Щинов и Потап Попов в уржумский клуб с открытым буфетом даже и не думали проситься.

И вообще свет клином на этом клубе не сошелся. Житель Уржума в одном из номеров Губернских ведомостей за шестьдесят шестой год писал: «Город наш далеко не беден общественными удовольствиями и в этом отношении не только не отстает от городов нашей губернии, но даже и оставляет за собою многие из них, даже более многолюдные... Город наш имеет, во-первых, театр, устроенный в нарочно нанятом частном здании, с платою по пятьдесят рублей в год. Здание это, прежде занимаемое инвалидной командой, ныне отлично приспособлено к своей цели; издержано всего на устройство двести рублей. Деньги эти собраны подпиской некоторыми служащими с возвратом долга из сбора со спектаклей... Всех спектаклей было в продолжение текущего года четыре... Но не один только театр доставляет Уржумской публике общественное развлечение. У нас было в течение этого года два бала по подписке, один первого января, другой пятого февраля. Балы эти были весьма многолюдные, и отраднее было видеть на них, в первый раз, и наше городское купечество»¹⁸.

Теперь о купечестве эпохи уржумского *ge d'or*. В семьдесят восьмом году купец второй гильдии Сметанин открыл мыловаренный завод, и через десять лет на этом заводе всего два работника варили тысячу пудов мраморного мыла в год. На другом заводе Сметанина трое взрослых и два подростка ежегодно выпускали двести пудов сальных свечей. В селе Лазареве на берегу речки Ройки из всех сил работал завод купца первой гильдии Лазаря Павловича Матвеева, основанный еще в восемьсот тридцать третьем году и производивший в восемьдесят восьмом году почти девяносто тысяч ведер спирта. И это был уже спад производства потому, что выросли цены на хлеб, а за шесть лет до этого на заводе производили в два раза больше спирта. По объемам производства Ройский завод занимал четвертое место в губернии среди сорока заводов. Спирт сбывали не только в Уржуме, которому столько было не выпить, но даже и в Казани, Нижнем Новгороде, Петербурге, Вологде, не говоря о соседних уездах¹⁹. Рядом со спиртовым заводом работал стекольный, делавший тару. Имелся у Лазарева еще и водочный завод. В восемьсот восемьдесят пятом году на нем произвели девятьсот ведер водки и наливов. Мед, ягоды и сушеные цветы для наливок закупали в Уржумском и соседнем Малмыжском уездах. Между прочим, все эти девятьсот ведер производили всего три человека, а на всех лазаревских заводах работало около шестидесяти человек. С винокуренными заводами в Уржумском уезде и вообще все обстояло хорошо. В селе Ашлань работал еще один винокуренный завод, принадлежавший коллежскому регистратору Депрейсу. По сравнению с лазаревским заводом он был просто карлик и производил всего сорок тысяч ведер спирта. В деревне Старое Липово пиво-медоваренный завод отставного поручика Андрея Алексеевича Садовена производил до четырех тысяч ведер баварского пива и

шестьсот ведер медового напитка в год²⁰. Добавим к этим заводам еще один пиво-медоваренный завод купца Онохова, основанный в пятьдесят восьмом году и производивший в год около пяти тысяч ведер пива и две сотни ведер меда. Оноховские пиво и мед расходились в Уржуме и уезде. На этом промышленном гиганте работало шесть человек.

Лесом и хлебом торговали в Уржумском уезде несколько семей – братья Бушковы, Шамовы и Горбуновы. Все они были староверами и все государственными крестьянами. Почему-то не записывались в купцы, хотя капиталов у них было столько, сколько имелось не у всякого купца первой гильдии. Жили большей частью в селе Русский Турек, на берегу Вятки, в двух десятках километрах от Уржума. Русский Турек был центром лесоторговли всей Вятской губернии. Дома у лесоторговцев были такими, что и в Уржуме... да что там в Уржуме – и в самой Вятке было немного домов, для строительства которых приглашали архитекторов из Италии, если вообще такие были. В девяносто втором году братья Миней и Федор Бушковы построили буксирный пароход «Лесопромышленник», ходивший сначала по Волге, а потом по Каме до конца пятидесятых годов. В домах Бушковых имелся водопровод, к девяносто четырнадцатому году появилось электричество (хотя лампочки Ильича в этих краях появились лишь в середине двадцатого века чуть ли не при втором Ильиче), была земская библиотека, театр, парк, фонтаны, кедровая аллея... Нет, в Уржум они иногда приезжали по делам. У них и там были свои дома. Как-то раз, в семьдесят девятом году, уржумцы решили учредить стипендии для учащихся городской женской прогимназии и открыли для этого подписку как раз в клубе, в который пускали не всех. Приехавших из Русского Турека, однако, пустили. За один день подписки было собрано более восьмисот рублей. Шестьсот из них дали лесоторговцы.

Конечно, и в золотом веке Уржума случались бронзовые и даже железные годы. К примеру, четыре пожара за одно лето шестьдесят шестого года. Во время первого пожара казначей Лопатин, рискуя собственной жизнью, вынес из горящего казначейства в церковную лавку все городские деньги и все казенное имущество. Во время второго загорелось масло, которое варили для окраски крыши Казанской церкви. Потом, как передавал из Уржума корреспондент «Губернских ведомостей», «нашли в городе подметное письмо, в котором неизвестный человек пишет, что “он обязался сжечь г. Уржум, что и исполнит, так что к концу августа останутся в городе одни только церкви”»²¹. Тут уж натурально началась в городе паника и люди боялись выходить из домов, опасаясь поджогов. Власти поставили на одной из городских колоколен караул и устроили постоянные дневные и ночные обходы. Что касается местной пожарной части, то она как не имела достаточного количества багров, бочек и других средств пожаротушения – так и продолжала их не иметь. В семьдесят седьмом Уржумский уезд пострадал от неурожая. Так пострадал, что пришлось просить об открытии кредита уезду из губернского продовольственного капитала на продовольствие и на посевную. В восьмидесятом году снова пожар. Правда, сгорел всего один дом, зато это был земский дом, в котором помещались и уездное присутствие по воинским делам, и комитет красного креста, и ссудо-сберегательное товарищество. Как пожарная команда ни старалась, а портрет Государя Императора, мера роста, икона, мебель, медицинские инструменты, большая часть архивных дел, собрание узаконений и распоряжений правительства сгорели без остатка.

И еще. В «Календаре Вятской губернии» за восемьдесят четвертый год в статье «Поверья и обряды в Уржумском уезде» написано, что «для произведения выкидыша забеременевшие в Уржуме пьют, между прочим, купорос».

Теперь оставим процветающий Уржум богатых купцов лесопромышленников и мещан с их сотнями и тысячами пудов мыла, сальных свечей, тысячами ведер спирта, водки, наливов, оставим три городских библиотеки с множеством книг, книжный склад, земскую аптеку, городскую больницу, первый в Вятской губернии потребительский кооператив, пятьдесят шесть училищ, которыми обзавелись город и уезд к концу девятнадцатого века, оставим открывшуюся в конце восьмидесятых метеостанцию, Уржумское благотворительное общество и устроенный им детский приют, восьмиклассную женскую гимназию, частную типографию и, как заглядывают в

чулан или погреб, заглянем в Уржум ссыльных поляков, народовольцев, террористов, эсеров и первых, еще мелких, еще с незаросшими родничками, но уже опасных, как энцефалитные клещи по весне, большевиков.

Поляков сюда начали ссылать еще в тридцатых годах девятнадцатого века – сразу после «спора славян между собою». Они здесь померзли, помыкались, пожили впроголодь на съемных углах, поработали на черных работах и, как только правительство разрешило им покинуть этот негостеприимный для них край, почти все уехали домой, в Польшу. С революционерами все было не так просто. Некоторых сюда и присылать не надо было. К примеру, Егор Созонов – эсер, террорист и убийца министра внутренних дел Плеве родился в селе Петровском Уржумского уезда. Правда, в одиннадцать лет родители Созонова увезли его в Уфу. В том же возрасте покинула родное село в Уржумском уезде дочь священника, в последствии народоволка и террористка Анна Якимова, проходившая по делу об убийстве Александра Второго. Родом из села Буйского был Александр Малченко – член петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», принимавший непосредственное участие в его создании. Малченко даже попал на одну фотографию с вождем мирового пролетариата, Мартовым, Кржижановским и еще тремя товарищами. Не помогла фотография. В конце двадцать девятого года его арестовали и через год расстреляли как американского шпиона и контрреволюционера. С фотографии тоже убрали.

Остальные в Уржум и уезд попадали разными способами. Народник Валериан Спасский состоял в известном кружке анархиста и террориста Нечаева. Был арестован, но освобожден за недостатком улик. Заведовал сельской больницей в Уржумском уезде. Снова был арестован и отсидел в Вятской тюрьме полгода. Вернулся в Уржумский уезд и продолжал заведовать больницей до самой смерти, которая наступила от брюшного тифа в семьдесят пятом году. Спасский был безобидным революционером, если, конечно, так можно сказать. Ни подкопов, ни бомб, ни терактов не планировал. При обыске нашел у него исправник книжку Чернышевского, тетради с выписками и письмо от его уржумского товарища об аресте в Вятке еще одного революционера. Этого хватило, чтобы полгода просидеть в одиночной камере Вятской тюрьмы. *Сейчас бы ему*

Софья Лаврова – дочь польского повстанца, сестра жены Кропоткина, одна из организаторов его побега, последовательница Бакунина, вела пропаганду среди крестьян, жила под чужой фамилией, сидела в Петропавловской крепости, была сослана в Уржум под негласный надзор полиции, спустя два года переехала в соседний Нолинск и после освобождения укатила в Париж. Впрочем, все это птицы большого полета, а социал-демократический кружок в Уржуме организовали не столько журавли, сколько синицы от революционного движения. Жили они в Уржуме, в доме, который уржумцы называли «Ноевым ковчегом». Это была интернациональная коммуна, состоявшая из одного грека, двух латышей и двух поляков. С девятьсот третьего года группу уржумских социал-демократов, подчинявшуюся Вятскому комитету РСДРП, возглавлял ссыльный студент Спиридон Мавромати. Стоял этот дом на углу улиц Кирова и Революционной, которые тогда назывались Полстоваловской и Бересневской.

Именно в этот дом к Спиридону Мавромати ходил разговаривать запрещенные разговоры Сергей Миронович Киров, который тогда назывался Сережей Костриковым²². Именно там его научили печатать революционные прокламации на гектографе, и именно там началось для него все то, что потом плохо кончилось²³.

Оставим Уржум ссыльных революционеров и вернемся в Уржум обычных людей. В девятистом году был освящен главный престол строившегося шесть лет грандиозного по уржумским и даже по губернским меркам городского Троицкого собора²⁴. Строили собор не по типовому, а по индивидуальному проекту вятского архитектора Дружинина. Рассказывали даже, что всякий раз, как только строители собирались возвести купол, уржумские купцы просили выложить еще несколько рядов кирпичной кладки, чтобы собор был повыше. Легенда красивая, но денег на его строительство местное купечество и правда не пожалело. Только лесопромышленник Сергей Иванович Стародубцев пожертвовал на строительство собора полтора миллиона кирпичей и семь тысяч рублей. Фактически это была почти вся необходимая

для завершения работ сумма. Стародубцев и вообще денег для города не жалел – жертвовал он деньги и на строительство «Народной аудитории», в которой помещалась библиотека, и на строительство реального училища, и на строительство богадельни для пожилых женщин.

Что же до «Народной аудитории», то она уржумцам служила еще и в качестве театра. Спектакли ставились самые различные – от пьес Шекспира, Толстого и Островского до водевиля Крестовского «Ворона в павлиньих перьях». Был в Уржуме кружок любителей музыкального и драматического искусств. В музее под стеклом хранится его устав, красиво отпечатанный в местной типографии в девятьсот пятом году. Устраивались музыкальные концерты, ставили оперетты, хоровые номера из опер и даже сами оперы, например, «Аида» или «Жизнь за царя». Кто только не играл в этих спектаклях и не пел на этих концертах – и инспектор народных училищ, и жена председателя земской управы, и уездные врачи, и судейские чиновники, и учителя. Спектакли ставили не только на сцене «Народной аудитории», но и в реальном училище, и на квартирах местной интеллигенции. В Уржумском краеведческом музее под стеклом лежит приглашение на один из таких любительских спектаклей: «Милостивый государь, имею честь покорнейше просить вас почтить своим присутствием мой бенефис в четверг 12 июня. Представлено будет: в первом отделении “Разрушение Помпеи” комедия в трех действиях. Роль антрепренера Вавилова исп. А.Ф. Федоров. Во втором отделении “Бал на кухне или наша уржумская прислуга”. Водевиль с пением и танцами в одном действии. Роль повара исполнит А.Ф. Федоров. Начало ровно в половине девятого вечера. С почтением бенефициант А.Ф. Федоров». Вы только представьте себе – на сотни верст вокруг непроходимые леса, медведи первой и второй гильдий, ботвиньи, дикие бородатые мужики²⁵, волки, рыжики, опять, старообрядцы, трескучие морозы, расстегаи, политические ссылынные, а в Уржуме разрушение Помпеи и бал на кухне с пением и танцами.

Звездой уржумской театральной и оперной сцены был преподаватель рисования реального училища Федор Логинович Ларионов. Спектакли, как правило, были благотворительные. Например, в пользу бедных или, как тогда говорили, «недостаточных» учениц женской прогимназии или учеников реального училища. Логинов был автором проекта колокольни Митрофаниевской кладбищенской церкви, постройка которой закончилась перед самой войной, в тринадцатом году. Колокольня, кроме того что служила, собственно, колокольной, была еще и пожарной каланчой, поскольку имела под куполом смотровую круговую галерею, по которой ходил караульный пожарный. Говорят, что во время больших холодов с колокольни при помощи специального механизма подавался знак, что занятия в школах отменены. Едва ли найдется еще колокольня, на которую с такой надеждой были устремлены детские взоры. Круговая пожарная галерея и спасла саму колокольню от разбора на кирпичи, а саму церковь, построенную в середине девятнадцатого века, не смогла спасти – в тридцать седьмом ее закрыли и отдали под детскую техническую станцию, а разобрали на кирпичи в конце сороковых и построили на ее месте пожарную часть.

В девятьсот девятом году стали строить реальное училище, о необходимости которого говорили уже тридцать с лишним лет. Город собрал на его строительство внушительную сумму. Уржумское купечество было в первых рядах жертвователей. Деньги дало и земство, и министерство народного просвещения. Училище, как и городской собор, было выстроено из красного кирпича. Николай Заболоцкий, учившийся в Уржумском реальном училище с тринадцатого по двадцатый год, вспоминал: «Реальное училище было великолепно... Оборудование школы было не только хорошо, но сделало бы честь любому столичному училищу. Впоследствии, будучи ленинградским студентом, я давал пробные уроки в некоторых школах Ленинграда, но ни одна из них не шла в сравнение с нашим реальным училищем, расположенным в ста восьмидесяти километрах от железной дороги. У нас были большие, чистые и светлые классы, отличные кабинеты и аудитории по физике и химии, где скамьи располагались амфитеатром, и нам отовсюду были видны те опыты, которые демонстрировал учитель. Особенно великолепен был класс для рисования. Это тоже был амфитеатр, где каждый из нас имел отдельный мольберт. Вокруг стояли статуи – копии

античных скульптур». Только представьте себе – вокруг... а в Уржуме амфитеатр, мольберты у каждого и копии античных статуй.

Вокруг... все было тихо, несмотря на идущую где-то далеко первую мировую. Правда, в шестнадцатом году началась продразверстка и крестьян обязали продавать зерно государству, правда, продавать, а не отдавать даром, правда, к шестнадцатому году стали пропадать некоторые товары, правда, стали приезжать раненные солдаты с фронта и привозить с собой брюшной тиф и испанку, правда, начался кризис в промышленности – винокуренные и стекольные предприятия из-за введения сухого закона стали закрываться. Даже лесопромышленники стали испытывать трудности. Правда, Бушковым все же удавалось держаться на плаву – они заготавливали березу для ружейных прикладов. Сокращались посевные площади, лошадей забирали в армию, правда, за них еще платили деньги. Стали дорожать керосин, ситец, соль. Участники последнего, перед февралем семнадцатого года, заседания земства, еще не знающие, что оно последнее, ассигновали тысячу рублей на расходы по ходатайству о проведении железной дороги, решили образовать при земской управе железнодорожную комиссию, обсуждали введение в женской гимназии новых предметов, решали вопрос об оплате проезда библиотекарей на уездные совещания по народному образованию, заслушали доклад о заготовке сахара для населения и просили управление Генерального штаба предоставить в распоряжение Уржумской городской управы тысячу пленных немцев для раздачи их сельским хозяйствам. С пленными немцами все получилось – их старые власти еще успели выдать, и они проработали на местных полях до семнадцатого года, но о железной дороге хлопотать уже было не перед кем. Совещания по народному образованию, оплата проезда библиотекарям, новые предметы в гимназии и сахар для населения – все это висело на тонкой ниточке, готовой вот-вот оборваться.

С февраля по май все радовались наступившим переменам – не стало исправников и в одночасье как сквозь землю провалились городовые. Назначили уездным комиссаром Временного правительства Александра Депрейса, который до этого был председателем уездной управы, уржумские эсеры стали издавать свою газету, учащиеся реального училища организовали «Союз учащихся» и даже добились права посещать педсоветы. Заодно революционно настроенные реалисты побили стекла в доме строгой учительницы по французскому языку. Наступило время митингов, пламенных речей, резолюций, прокламаций и приветственных телеграмм. Первого мая семнадцатого года на рыночной площади Уржума собрался на митинг весь город. С балкона городской управы выступали ораторы от всех партий, имевшихся в Уржуме. Говорили и даже кричали о свободе, которая приходит наяву, бросая на сердце цветы. Один эсер, правда, крикнул в толпу «Вы не доросли до свободы!»²⁶ Правда, всего один. Митинг закончился арестом уездного комиссара, председателя уездной земской управы, бывшего главы города и препровождением их в городскую тюрьму.

Летом наступило время съездов – партийных, крестьянских и учительских. Эсеры стали объединяться с большевиками. Большевики, руководимые Николаем Елкиным, запросили у своего ЦК инструкции и получили в ответ письмо из секретариата, в котором было указано на «недопустимость никакого блока с оппортунистическими партиями меньшевиков и эсеров».

В декабре семнадцатого года в Уржуме прошел первый уездный съезд крестьянских депутатов. К тому времени крестьяне в уезде уже успели разгромить продовольственную управу, захватить и разграбить имения Бушковых, Депрейса и Матвеевых. Большевиков в Уржуме было очень мало – едва десяток. Только в начале января восемнадцатого года в Уржуме была создана первая большевистская ячейка. Одновременно со съездом крестьянских депутатов в Уржуме проходило уездное Земское собрание, крестьянский съезд не признававшее. Три раза крестьянский съезд предлагал Земскому собранию сложить полномочия и передать власть Советам, но только на третий раз, после угрозы распустить собрание, Земское собрание вынужденно согласилось. В восемнадцатом году уже было ясно, что караул может устать. Немедля Совет послал приветственную телеграмму ВЦИК: *«Уржумский Совет крестьянских, солдатских и рабочих депутатов, организованный 7 января и взявший власть в уезде, шлет привет»*. ВЦИК отвечал: *«Вы*

делаете большую ошибку, если ждете точных указаний. В этом деле необходима самостоятельность и инициатива. Если Вы будете делать ошибки – не беда, так как на ошибках именно и учатся, 13 руб. от Вас мы получили 12, а 14 января Вам послано об этом уведомление. Подписка на «Правду» передана в экспедицию, а 3 рубля и подписка на «Вопросы страхования» послана в журнал. Выборы в думу, конечно, должны быть проведены по классовому принципу, т. е. только трудящиеся должны иметь право голоса, а буржуазия должна быть его лишена».

Самодельности и инициативы местным большевикам было не занимать. Для начала они национализировали здание уржумского кинематографа, потом кожевенный завод, потом дома известных промышленников и купцов, потом автомобили, потом типографию и, как только типография оказалась в их руках, в Уржуме вышел первый номер газеты «Голос народа». В середине мая уездный исполком организовал дружины для реквизиции хлеба у крестьян и в начале июня принял постановление об отправке в столицу пяти тысяч пудов хлеба. Правду говоря, хлеб в уезде имелся в достаточном количестве – еще не были проедены запасы шестнадцатого года. Вот только новая власть хотела брать зерно по четыре двадцать за пуд, а на черном рынке его цена доходила до полутора сотен рублей. То есть она только поначалу хотела за него платить деньги, а потом... Продотрядовцев в уезде хватало – их присылали из Вятки, их присылали из Москвы, но вооруженных отрядов еще не было – местные левые эсеры, из которых состоял уездный исполком, изо всех сил противились их присылке. Доводы у них были разумные – военные могли съесть больше, чем заготовят, денег им нужно платить много, крестьян, которые и так на продотряды смотрят волками, это озлобит окончательно, и они могут восстать, и вообще можно вместо присылки военных поднять закупочные цены в два или даже в четыре раза...

Первый Московский продовольственный полк под командой бывшего штабс-капитана и георгиевского кавалера Степанова прибыл в Вятскую губернию уже девятого июня, а в конце месяца появился в Уржуме. (В скобках заметим, что двадцать третьего июня в Уржуме состоялся концерт, устроенный оркестром местных любителей классической музыки. В программе была ария «На воздушном океане» из оперы «Демон», которую исполнил Федор Логинов в сопровождении струнного оркестра, каватина «Любви роскошная звезда» из «Руслана и Людмилы» и увертюра к «Фаусту» Гуно.) Начались реквизиции, а вместе с ними грабежи, изнасилования, поголовное пьянство и спекуляция отобраным хлебом. Надо сказать, что местные крестьяне были не любители подставлять вторую щеку. У многих в хозяйствах имелись не только вилы с топорами, но и винтовки с пулеметами. Попавших в засады степановцев в плен не брали. Комиссару одного из продотрядов отрезали нос, язык и выкололи глаза. Уржумские большевики, недовольные действиями москвичей, организовывали в городе протестные митинги и слали отчаянные депешки в Москву, прося отозвать полк. Сами продотрядовцы требовали от Москвы подкреплений, пулеметов, патронов и денег. Все воевали против всех. Кончилось тем, что Первый Московский продовольственный полк решили отправить на Восточный фронт, воевать с Колчаком. Вернее, началось, поскольку в августе восемнадцатого года полк вместе со своим командиром поднял мятеж и сформировал Временное правительство из местных эсеров, а свой полк назвал Народной армией Южного округа. Прихватив казну, уржумские большевики бежали из города. Кроме тех, кто перешел на сторону степановцев. Всех сидельцев из городской тюрьмы выпустили, а саму тюрьму подожгли. Восстание охватило и соседние Нолинский и Малмыжский уезды. Ждали Колчака и части чехословацкого корпуса, наступавшие с востока на южные уезды Вятской губернии... Не дождались. Вместо чехословаков и Колчака вернулись большевики с подкреплениями и подавили восстание. Степановцы, вместе с теми уржумцами, которые оставаться не захотели, ушли в направлении Казани. Среди тех, кто не захотел оставаться, был лесопромышленник Григорий Минеевич Бушков, эмигрировавший впоследствии в Китай.

Девятнадцатого ноября того же года уездная ЧК издала приказ о немедленном увольнении из советских учреждений всех лиц, члены семей которых ушли с белогвардейцами или же признаны контрреволюционерами, а на следующий день Уржумский уездный исполком отменил этот приказ

как необоснованный и незаконный. Началась советская жизнь с ее первыми комсомольскими ячейками, съездами комсомольцев и рабселькоров, коммунами, детскими садами, тракторами, кустарными артелями, телефонной станцией на сто номеров и газетой «Красный пахарь».

Уже в девятнадцатом году в Уржуме была создана профессиональная оперная труппа, которой руководил выпускник Московской консерватории певец Александр Васильевич Новиков. В двадцать первом открыли педагогический техникум. В двадцать четвертом открыли краеведческий музей. Через три года маслозавод. Еще через два – оборудовали площадку для приема почтовых самолетов. Все это время граждане города Уржума обсуждали между собой новую Советскую власть, а ОГПУ аккуратно записывало их слова.

В двадцать седьмом году «Учитель Посенурской школы Кокшинской волости Андрей Георгиевич Козлов говорил, что в Москве ежедневно расстреливают сотни человек, только в газетах об этом не пишут. Об этом ему рассказывал брат, который служит в войсках ОГПУ».

«...четвертого августа в одной из пивных города Уржума собрались выпить агроном Андреевских предприятий Катеринчук, ссыльный, механик того же предприятия Емельяненко и председатель завкома Чемоданов. Катеринчук и Емельяненко говорили, что социализм и коммунизм не годятся, выражаясь при этом матерно, так как их хочет построить какая-то кучка людей. Позднее к этой компании присоединился поп села Козьмодемьянского...»

В двадцать восьмом году «В Уржумской народной больнице в помещении для больных с наступлением зимы стоит холод... Пища для больных готовится грязно. Бывали случаи, когда больные, получив кашу, находили в них нечистоты (испражнения мышей)...»

Гражданин деревни Большой перевоз Сердежской волости Яков Васильевич Жуйков в беседе со знакомым говорил: «Куда годится советская власть, когда ничего нет, можно только вино пить. Жизнь становится все хуже и хуже. Теперь вот мыла не дают, а говорят, борись с болезнями. Ребят мыть нечем, одеть не во что. Доведет скоро власть нашего брата до петли. Раньше жилось лучше».

«Один гражданин из деревни Шорино Уржумской волости, бывая в селе Русский Турек и встречаясь там с учительством и молодежью, старается настроить их против советской власти путем декламирования собственных стихов, в которых он критикует и осмеивает власть. Дано собрать исчерпывающий материал».

«Гражданка Пономарева, жена преподавателя Уржумского педагогического техникума, в разговоре с гражданином Козловым сказала ему, что нынче летом они собирались переехать в Москву. Однако муж съездил туда и узнал, что там ежедневно пропадает много маленьких детей. Их ловят жиды и режут для мацы, приготовляя мацу из детской крови. Причем гражданка Пономарева говорила, что эти данные публикуются в газетах»²⁷.

В тридцатом закончилась коллективизация, а в тридцать первом крестьяне стали выходить из только что созданных колхозов. В двух колхозах и вовсе убили председателей. Впрочем, всем скоро пришлось в эти же колхозы вернуться. Лесов, в которые можно было спрятаться всей деревней, в округе уже не осталось. В тридцать четвертом районный съезд Советов принял решение поставить памятник Кирову в Уржуме и открыть образцовый детский дом в память о нем. Переименовали местную газету «За коллективизацию» в «Кировскую искру». Она и сейчас издается. Через год открыли мемориальный дом-музей. Он тоже жив, правда, немного обветшал и посетителей в нем не так много, как раньше. В музее мне рассказали, что при советской власти к памятнику в дни рождения Кирова устраивали факельное шествие, а теперь... Еще и приходится выкручиваться, когда рассказываешь о причинах убийства Кирова. Раньше было просто – враги и убили, то есть контрреволюционеры, а теперь... Только переименовать Уржум в Киров власти не разрешили. Маленький захолустный Уржум для этой цели не подошел, хотя и хотел, чего уж там.

В тридцать пятом организовали Уржумский колхозный театр, просуществовавший семнадцать лет. Официально он назывался Кировский областной второй колхозный театр с базой в Уржуме. К Гоголю, Островскому и Толстому добавили Горького, Тренева и Лавренева.

Не говоря о Корнейчуке. Ставили комедию Шкваркина «Чужой ребенок» и, как сказано было в уржумской афише тридцать седьмого года, «боевик сезона в роскошных специальных костюмах екатерининского времени» «Псиша» Беляева. Зимой актеры играли в Уржуме, а летом отпоявлялись колесить с концертами по району и области.

В конце тридцатых в детские дома Уржума стали привозить детей репрессированных. В документах писали «Прибыл по линии НКВД». Позднее стали писать «Прибыл по путевке облоно». Привозили со всей страны – из Киева, из Карелии, из Уфы, из Кургана. В уржумском детском доме выросли сыновья расстрелянного первого секретаря ЦК КП(б) Украины, дочь первого секретаря Башкирского обкома ВКП(б), сын второго секретаря Башкирского обкома ВКП(б), сын третьего секретаря Ивановского обкома ВКП(б), дети прораба из Кургана, сын интенданта второго ранга, дочь и сын начальника управления НКВД по Кировской области...²⁸

Война прибавила детских домов в Уржуме – из Боровичей был эвакуирован дом малютки, из Новгорода приехал детский дом, из Ленинградской области – детский интернат. Из Воронежа приехал целый педагогический институт. Из Ленинграда – институт Гипролестранс. Открыли госпитали для раненых на полтысячи коек. Приютили несколько тысяч эвакуированных из прифронтовых полос в Карелии, Белоруссии. Прибалтики, Украины. Колхозный театр собрал деньги на постройку танка «Уржумский театр». По инициативе школьников собрали почти восемьдесят тысяч рублей на строительство танка «Уржумский пионер», а всего за четыре года войны на постройку танков и самолетов собрали пять с половиной миллионов рублей. Из ушедших на фронт вернулась треть.

После войны построили мясокомбинат и хлебокомбинат, вывели новую породу свиней «Уржумская белая», сало которой по вкусу напоминает крем-брюле, открыли первое садовое товарищество «Мичуринец», провели первый слет туристов Уржумского района, открыли детский театр... а вот взрослый колхозный театр, к сожалению, в пятьдесят втором закрылся из-за нехватки денег, но в том же году силами драмкружка Дома культуры и режиссера Федора Ларионова была поставлена опера «Иван Сусанин». Собственно, ее уже Ларионов ставил на Уржумской сцене сорок лет назад, только тогда она называлась «Жизнь за царя». Так хорошо была поставлена эта опера с самодеятельными артистами, которые в массе своей никаких нот и не знали, что уже в марте пятьдесят четвертого года режиссер спектакля вместе со своей труппой поехал в Москву, на Всероссийский смотр сельской художественной самодеятельности. Сначала трое суток нужно было по распутице добираться до Кирова, то и дело вытаскивая машину из непролазной грязи, потом дали представление в Кирове, и только после этого поехали на поезде в Москву. Тут-то и выяснилось, что большинство уржумских самодеятельных артистов, а это были рабочие машинно-тракторной станции и автороты, медсестры, фельдшеры, воспитатели и нянечки детских садов, в первый раз в жизни едут на поезде. Предусмотрительный Федор Логинович заранее написал письмо министру культуры РСФСР с просьбой разрешить им пробывать в Москве, в которой почти никто из артистов никогда не был, несколько дней, чтобы осмотреть мавзолей Ленина и Сталина, Кремль, Большой театр и раз в жизни послушать профессиональных певцов. Из Москвы уржумцы уезжали с аккордеоном, который вручили всему коллективу, грамотой и именными часами, которыми наградили Ларионова²⁹. Да что там грамоты и аккордеон! Только представьте себе, как собиралась за накрытым столом уржумская родня, знакомые воспитательницы детского сада или медсестры, исполнявшей партию дочери Сусанина, и начинают ее спрашивать, как там, в Москве, а она приосанивается и начинает рассказывать... – Ты не мельтеши, рассказывая по порядку, с самого начала, как в поезд сели, что ели, что пили, – кричит сосед, уже успевший где-то принять на грудь. – Тебе только про «пили» и интересно, – толкает его в бок жена, – лучше скажи как там, в столице, с крепдешинном...

В пятьдесят седьмом на маслосырзаводе деревянные чаны, в которые принимали молоко, заменили на стальные. Девушку с веслом заменила механическая мешалка с электрическим приводом. В середине шестидесятых организовали плодосовхоз и племенную птицефабрику

и спилили кресты с куполов Свято-Троицкого собора. В семьдесят втором открыли новое здание музея Кирова, через год улицу Новую переименовали в улицу Заболотского, а еще через год на здании бывшего реального училища открыли в память о нем мемориальную доску. Деревообрабатывающий комбинат выпускал до полумиллиона ракеток для игры в бадминтон, качели и лото. То самое лото, в полотняных мешочках, в которое играли от скуки на дачах или в городских дворах, когда в городских дворах еще была жизнь. В восемьдесят четвертом Уржуму исполнилось сорок лет, в восемьдесят шестом открыли новый памятник Кирову, при том что старый еще не износился³⁰, а восемьдесят девятым освятили и установили кресты на куполах городского собора, спиленные в шестьдесят четвертом. Потом, в девяносто первом, почти единодушно проголосовали на референдуме за сохранение Советского Союза, потом советская жизнь кончилась и началась нынешняя с ее муниципальными фондами поддержки малого и среднего бизнеса, филиалами вятских банков, микрокредитами, оформленными за пять минут, безработицей, маленькими зарплатами, микроскопическими пенсиями, торгово-развлекательными центрами... Тем, кому повезло, работают на почте, в школах, в районной больнице, в отделении Сбербанка, в администрации и, конечно, на Уржумском спиртоводочном заводе, крупнейшем в этих местах. Кто-то устроился работать в психоневрологическом интернате Русского Турека, а кто-то в поисках работы уезжает в большие города и в Сибирь на нефтегазовые промыслы. Экскурсовод в музее Кирова сказала мне, что здесь жить очень хорошо, только выживать трудно. И то сказать – зарплата у нее пятнадцать тысяч, а пенсия – восемь. Это еще прибавили, а раньше была четыре. Правда, рыба в Вятке есть. Она и в Уржумке есть, но в том месте, где Уржумка впадает в Вятку, можно за час наловить ведро, если приехать затемно и если, конечно, повезет. И щука есть, и ~~стерлядь~~, и лещ, и судак, и чехонь. Хранитель фондов уржумского краеведческого музея рассказывала мне о шестидесятикилограммовом соме, который поймал ее муж. Одних пельменей из мяса этого сома сделали столько, что не хватило родственникам, которым можно было бы отдать то, что не могли съесть сами.

Я ходил по тихим уржумским улицам и думал, что не ссылай сюда царское правительство разных террористов, большевиков и эсеров – уржумцы и сейчас жили бы как при матушке Екатерине. Ну, хорошо, не при Екатерине, но при Александре Втором точно. Рыба в Вятке есть, грибов и ягод полно, спиртоводочные заводы, маслобойни, торговля лесом... Медведей и зайцев, конечно, поменьше. Зато в уржумской кофейне еще можно купить полстакана сметаны с сахаром, компот из сухофруктов, крутые яйца, корзиночку со сгущенкой и ватрушку с картошкой. Там и треугольные салфетки, нарезанные из пекарской бумаги, есть. В каком московском кафе или ресторане вам подадут полстакана сметаны с сахаром или компот из сухофруктов? То-то и оно... И девушка на раздаче там улыбается лично каждому, а не всем сразу. И уржумские дети, играющие во дворах и на улицах, здороваются со всеми взрослыми. Играющие во дворах и на улицах, если кто не понял.

В гостинице «Утро», в номере, который я снимал, в прикроватной тумбочке лежал томик стихов Батюшкова. Старый и пыльный, изданный «Детгизом» для никогда не читавших его школьников еще в семидесятых годах. Я открыл его наугад и прочел: «Друг милый, ангел мой! Сокроемся туда...», потом поднял голову, посмотрел в окно и подумал:

– Не «туда», а сюда³¹.

¹ В.А. Ветлужских. В летопись города // Уржумская старина. Вып.12. Киров, 2015. С. 26–29.

² Там же. С. 29.

³ Там же. С. 31.

⁴ Дмитрий Козак. Уржум: два берега жизни. Йошкар-Ола, 2014. С. 30

⁵ В.А. Ветлужских. По государеву указу // Уржумская старина. Вып. 13. Киров, 2017. С. 182–190.

⁶ Цит. по: В.А. Ветлужских. Уржум в 1702 году // Уржумская старина. Вып. 13. Киров, 2017. С. 35.

⁷ Там же. С. 36.

⁸ С.Я. Черных. Население уржумского уезда по данным переписи 1716 года // Уржумская старина. Вып.4. Уржум, 1991. С.13.

⁹ Цит. по: Продолжение журнала или дневных записок путешествия капитана Рычкова по разным провинциям Российского государства в 1770 году. Санкт-Петербург, 1772. Стр. 23–24.

¹⁰ Там же. С. 24.

¹¹ Русская старина. 1900. №7. С. 126.

¹² Столетие Вятской губернии. Сборник материалов к истории Вятского края. Т.2. Вятка, 1880. С. 511.

¹³ Там же. С. 424.

¹⁴ Дмитрий Козак. Указ. соч. С. 152.

¹⁵ В уезде читали разное. К примеру, ходила по уезду рукописная «Повесть 1864 г. 1 марта, написанная своеручно на пользу чтущим, благородной девицы Вологодской губернии Пелагеи Петровой о хождениях ее по тому свету во время суточного обморока». Девица Пелагея Петрова писала, что «видела младенцев, разделенных на четыре сорта: первые – в золотых одеждах, с крыльям; вторые – в серебряных, без крыльях; третьи – без крыльев, но светлы; четвертые – темнообразные, без крыльев. Певчие сказали мне: первые сравнены с Ангелами, а вторые за болезни – с мучениками; третьи – незаконнорожденные, но за невинность почтены местами светлыми, а четвертые – удушены матерями и ради матерного нераскаяния имеют вид темный; а если покаются матери, тогда они позлащены будут и достигнут первых светлостей» (Цит. по: В.Магницкий. Поверья и обряды (запуки) в Уржумском уезде // Календарь Вятской губернии на 1884 г. Вятка, 1884. С. 117).

¹⁶ Цит.по: Столетие Вятской губернии. Сборник материалов к истории Вятского края. Т.1. Вятка, 1880. С. 109.

¹⁷ В.А. Ветлужских. Уржумские заводчики // Уржумская старина. Вып. 11. Киров, 2012. С. 92.

¹⁸ Цит.по: Столетие Вятской губернии. Сборник материалов к истории Вятского края. Т.1. Вятка, 1880. С. 77-78.

¹⁹ Правила для рабочих спиртового завода были довольно строгими. Необходимо было быть на рабочем месте всегда трезвым и ни в коем случае браги не пить. За пьянство и питье браги полагался штраф в размере дневного заработка. Все работы должно было производить тихо, без крика и, самое главное, без нецензурной брани. Крикунов и любителей нецензурно ругаться ждал штраф в размере дневного заработка. Строже чем за питье браги и ругань штрафовали только за порчу оборудования и «за произведенную нечистоту на полу или на скамье ретирада» в заводском сортире – за это вычитали двойной дневной заработок.

²⁰ В.А. Ветлужских. Уржумские заводчики... С. 91.

²¹ Столетие Вятской губернии... С. 79.

²² О детстве и юности Сережи Кострикова писательница Голубева в тридцать шестом году написала повесть «Мальчик из Уржума», от которой теперь могут вспомнить только название, да и то не все, а только те, кто эту повесть проходили в незапамятные времена в школе, но так и не прочли.

²³ Спиридон Мавромати, как и Киров, своей смертью не умер, хотя по партийной линии не пошел, членом партии вообще не был, наверх не лез, а работал себе тихонько по своей инженерной электротехнической специальности начальником электромеханической части Свирской ГЭС. Не помогло. Его расстреляли в тридцать восьмом по пятьдесят восьмой статье за шпионаж.

И еще. Вятские краеведы не нашли никаких следов листовок, которые печатал юный Сережа Костриков, хотя и обыскали все углы и поскребли по всем архивным сусекам. Может, он и не печатал их вовсе, а все эти листовки плод воображения писательницы Голубевой.

²⁴ К счастью, Троицкий собор при Советской власти не взорвали и не разобрали по кирпичику на хозяйственные постройки. Он и теперь украшает панораму города.

²⁵ В начале восьмидесятых годов девятнадцатого века уржумские священники по просьбе Вятского статистического комитета собрали сведения о быте и нравах уржумцев – каждый по своему приходу. Священники попались честные, и картина получилась...

О прихожанах Свято-Троицкого собора:

«Прихожане, живущие в городе, довольно мягкого характера, вежливы, но многие скуповаты, довольно религиозны, расположены к обучению детей, но ремесленников мало, а занимаются или торговлею или земледелием, а некоторые письмоводством... Деревенские же прихожане очень грубого характера, склонны к лести и лицемерию. Одеваются многие чистенько, строятся не обширно, но довольно аккуратно... В домашнем быту живут просто и аккуратно, пищу едят самую простую. При свадьбах и праздничных пирушках даже бедные для гостей готовят приличный стол, любят угощать чаем и водкой. Большими семьями живут мало, лишь только помирают родители, все братья идут в раздел. К занятию ремеслами нет усердия, но более склонны к земледелию. К церкви немногие усердны, молодые люди очень редко ходят к богослужениям, а также на исповедь и ко святому Причастию. Обучать детей грамоте многие желают, но в городское училище затрудняются отдавать, а более обучают дома у неопытных и малограмотных учителей. К пьянству многие склонны, пьют не только на пирушках, но и в базарные дни, редкие из мужчин уезжают из города, не выпивши, впрочем особенно преступлений незаметно, кроме воровства и оно случается не часто. К бедным мало сострадательны, нищих в приходе немного, не более 100 человек, все здоровые – стараются пропитываться своими трудами».

О прихожанах Воскресенской церкви: «Городские прихожане много отличаются от деревенских жителей, но и последние начинают во многом подражать городским жителям. Купцы и мещане городские мало имеют полезных занятий. Торговлей занимаются немногие, а более хлебопашеством и отчасти скотоводством. Накашивают сена на лугах реки Вятки и Уржумки довольно количество и усердно водятся за скотом. Лошадей и рогатого скота любят держать крупной породы. На левом берегу р. Вятки есть казенные леса, в которых охотятся на волков, зайцев, белок и даже на медведей. Но число охотников не велико.... Горожане любят прогуливаться по Малмыжскому тракту до каменной часовни на Белой речке...»

О прихожанах Казанско-Богородицкой церкви: «Прихожане характера большею частью грубого, в домашнем быту без изысканности просты, в экономическом состоянии не роскошны, в семейной жизни скромны, в отношении церкви усердны, имеют наклонность к пьянству, от преступлений воздерживаются, больным, бедным, нищим помогают».

О прихожанах села Кичма Уржумского уезда: «Склонны к винопитию, срамословию, ссорам, за многими из них замечаются грубость, неряшливость. Они вообще не богаты, нищенствует их немало, к церкви, однако, привержены, грамотность любят».

(Цит. по: Дмитрий Козак. Уржум: два берега жизни. С. 268-269, 301.)

²⁶ Об этом эсере по фамилии Комлев я вычитал во второй главе воспоминаний Михаила Ивановича Касьянова «Телега жизни», где он пишет о своей учебе в Уржумском реальном училище и о жизни в Уржуме с тринадцатого по двадцатый год. Попалась мне на глаза еще и такая деталь, о которой грех не упомянуть. «Военный строй в реальном преподавал подпоручик Ювеналий Иванович Жарков. Он ходил в сапогах, а к ним полагались специальные галоши с прорезями для шпор». Что за прелесть эти галоши с прорезями!

²⁷ Цит. по: А.Л. Рашковский Из донесений ОГПУ. Годы 1926, 1927, 1928-й // Уржумская старина. Вып. 13. Киров, 2017. С. 104–109.

²⁸ В.А. Ветлужских. Их принял Уржум // Уржумская старина. Вып. 11. Киров, 2012. С. 100–116.

²⁹ Владимир Шеин. Вся жизнь на уржумской сцене. Киров, 2014. С. 51–53.

³⁰ Что касается памятников, то Уржум город уникальный. Второго такого в России, наверное, и

не сискать. В нем нет ни одного памятника Ленину, и даже главная улица носит имя не лучшего друга детей, а Кирова.

³¹ Из того, что не вошло в этот рассказ об Уржуме, можно составить еще десять таких же рассказов. Не рассказал я о Марии Марковне Логиновой – первой учительнице музыки Петра Ильича нашего, доживавшей в Уржуме свои последние годы, о деревне Лопьял Уржумского уезда, в которой родился Виктор Михайлович Васнецов. Правда, его родители через два года после рождения из деревни и из уезда увезли, но это не мешает уржумцам гордиться своим земляком и каждый год устраивать в Лопьяле «Васнецовские пленэры», об одном московском художнике, который думал, что Уржум – это город в Китае, о блаженной Сашеньке Прозорливой, жившей в селе Шурма во второй половине девятнадцатого века и умершей в начале двадцатого. Она не столько исцеляла односельчан, сколько советовала, как поступить, и предсказывала будущее. Сашенька была инвалидом и сорок пять лет пролежала прикованной к кровати, а кровать у нее была на колесах, чтобы можно было ездить на службы в церковь. Сотрудники краеведческого музея ездили в Шурму осматривать эту кровать, которую там хранят как реликвию, но оказалось, что никаких колес у этой кровати нет и, скорее всего, не было. Не рассказал об оркестре мальчиков, игравшем в уржумском клубе в самом начале прошлого века, о том, что первый мотоцикл появился в Уржуме в двенадцатом году и был немедленно запрещен, поскольку очень сильно шумел и пугал местных жителей, о том, что в городе было три извозчика, в любой конец довозившие за гривенник, о том, как местные жители ловят чехонь на резинку, о теплоходе «Василий Чапаев», приплывающем каждой весной по высокой воде в Русский Турек, о туристах, увозящих из Уржума целые сумки с местными водками, настойками и бальзамами. Не рассказал о том, как местные знахари лечили раньше все болезни наговорами на редьку, нашептываниями на воду, масло, да и сейчас, бывает, так лечат, о том, как в девятьсот тринадцатом году уездное земство послало крестьянина Меркушина в Моравию перенимать тамошний опыт, и о том, как он вернулся с такими большими глазами от удивления... Не рассказал, наконец, об угольном утюге с головой писателя Толстого на заслонке, хранящемся в уржумском краеведческом музее. Делали эти утюги в Верее, но каким-то образом они добрались и до Вятской губернии. Не писал бы граф «Учение церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же – собрание самых грубых суеверий и колдовства...», так его портретом, может, украшали бы самовары, или железнодорожные подстанки, или даже благословляли бы молодых. Благословляли же портретом Писемского, который не только не был зеркалом русской революции, но даже и босым никогда не ходил. Нос у Льва Николаевича длиннее, чем был на самом деле, для того чтобы графа удобнее было водить за него при загрузке горячих углей в топку. Бывало, доведет он несчастную Софью Андреевну до слез своими капризами, придирками и постоянными переписываниями, уйдет она к себе в комнаты, достанет из потайного ящика в комоде такой утюг, велит Агафье или Лукерье принести горячих углей, насыплет их в утюг и сидит, смотрит, смотрит на него, а потом и спросит: «Тепло ли тебе Левушка?» Еще и поплужет на утюг. Нравилось ей, как он шипит.

Вячеслав ЛОПАТИН

К ВЫХОДУ КНИГИ «АЛЕКСЕЙ БОГОЛЮБОВ: ХУДОЖНИК, МОРЯК, ПУТЕШЕСТВЕННИК»¹

Спешу обрадовать и поздравить читателей с выходом в свет книги о Боголюбове Алексее Петровиче. Издание посвящается памяти Нонны Валерьевны Огарёвой, исследователя жизни и творчества А.П. Боголюбова. Авторы-составители – Л.В. Пашкова (вступление, живопись, росписи по керамике), М.И. Боровская (графика). Фотосъёмка – В.Л. Ефимкин. Оцифровка, обработка изображений – И.П. Ветчинкина. Оформление – «Мастерская Кашанин-А». Печать – Нижний Новгород: ООО «Профи Принт». Тираж 1000 экз.

Удачен макет – не книжный, формат приближен к квадрату, размер альбома 29 на 24 сантиметра. Издание имеет научное значение – тщательно проработан материал, указаны технические признаки экспоната: основа (холст, дерево), техника (масло, акварель, рисунок), размеры. Не хватает инвентарных номеров.

Показана репродукция картины целиком, рядом на развороте её фрагмент – во весь лист. Восхищение вызывает суперобложка величиной 29 на 82 сантиметра – репродукция картины «Амстердам» (1885 год. Дерево, масло. 13,5х41).

О качествах печати.

Одно дело «ширпотреб» – газета «Культура» простодушно себя раскрашивает.

«Элитарная», штучная цветная печать может отличается хорошим качеством. Это мы видим возле Радищевского музея: большого размера афиша – репродукция картины «Муза» Врубеля. Мы подлинник так не увидим! – при фотографировании картины пришлось её осветить, в остальное время по причинам сохранности красочного слоя не полагается сильное освещение музейной экспозиции. Хорошая печать афиши являет гениальность художника «на уровне красочного слоя». Печать передаёт восторг Врубеля, – нашёл единственно возможное решение движения кисти, мазок материален – только таким и не иначе, корпусным или лессировочным ему и быть.

Какое бы хорошее качество печати ни было, представление картины репродукцией не может исчерпать содержание подлинника. Собственный пример – со времени учёбы в художественном училище приглядывался к картине Врубеля «Муза» Радищевского музея. Казалось – знаю её! И вот мне, реставратору по масляной живописи в этом музее, привалило счастье – эту картину своими руками снимать со стены, расконвертировать – высвобождать от рамы и стекла: потребовалось укрепление красочного слоя рыбьим клеем. И ахнул – знаю же! – а позём первый раз увидел; эта несказанного цвета растительность, и такими скупыми средствами... И на афише позём не видно, и в жизни больше видеть не придётся.

Рассказываю историю с картиной Врубеля, чтобы были понятны мои впечатления от нового альбома о Боголюбове, где особенно привлекают внимание фрагменты небольших этюдов с натуры, – сам художник предпочитал их большого размера заказным работам. Мемориальный уголок Боголюбова в Радищевском музее сейчас воспроизводит дореволюционную экспозицию его работ – впритык, много уровней до самого-самого потолка (до потолка пять метров!). Опять же свет «щадающий». Много не разглядеть, альбом кстати – его характеристика.

Для печати большие картины Боголюбова фотографировались, малого размера для удобства сканировались. В чём отличие? Сканирование – прямой свет – убирает рельеф: впадины и вершины предстают плоской долиной. Смотрю альбом много раз, никак не пойму своё недоумение! – неужели так гладко писал Боголюбов? Это я говорю к тому, что надо смотреть подлинники. Как их усмотреть? – художественная ценность картины определяется не сюжетом, а в первую очередь качеством красочного слоя.

¹Алексей Боголюбов: художник, моряк, путешественник / Авт.-сост. Л.В. Пашкова, М.И. Боровская. Саратов: СГХМ им. А.Н. Радищева, 2019. – 264 с., илл.

«Открываются глаза» – пример из музейной жизни.

Я ещё не работал в музее, но с сотрудниками были хорошие отношения. Приходим с Чудиным в музей, в реставрационную мастерскую – Гущина уже не было, работали Аржанов и Солянов. Миша Аржанов человек не равнодушный, в этот раз очень возбуждён. – *Смотрите, как уместно это красное пятно на женской фигуре, как это пятно держит композицию в пейзаже (Ножан. После дождя. 1886. Дерево, масло, 17,9х27). Пока самому не пришлось реставрировать эту работу Боголюбова, пока не присмотрелся – а ведь сколько раз мимо проходил. Только теперь вижу совершенство композиции, как много достигнуто малыми средствами в сантиметровых вещах. А у нас – метровые холсты...* –

О прошлом.

– *Слава Богу, к третьему тысячелетию мы начали воспринимать мир объёмно и многоцветно. Теперь можно не только воздать должное многим явлениям родной истории и забытым её творцам, к которым бесспорно относится Алексей Петрович Боголюбов, но и поучиться их умению служить Родине. В последние 40 лет имя этого художника и человека возродилось из забвения. – Н.В. Огарёва (А.П. Боголюбов. Записки моряка-художника. – 5-е изд., испр. и доп. Публикация, вступление, комментарии, указатель имён – Н.В. Огарёва. Самара: Издательский дом «Агни», 2014. С.18).*

Расшифрованные Г.И. Кожевниковым и Н.В. Огаревой «Записки моряка-художника» опубликованы впервые журналом «Волга» (1996, № 2-3, тираж 3800 экз.; публикация, вступление, комментарии – 156 сносок, указатель имён – Огарёва).

– *Музейных командировок не хватало, Нонна Валерьевна проводила в публичной библиотеке им. М.Е. Салтыкова-Щедрина отпуск за отпуском в течение 20 лет. – Л.П. Красноперова. Сообщение на конференции в Луганске, посвященной В. Далю, 2016; выступление на конференции в СГУ «Междисциплинарные связи в изучении литературы», 2017.*

После ухода из Радищевского музея (1970) Нонна Валерьевна продолжала работать по боголюбовской теме.

Ею использованы: Личный архивный фонд А.Б. Боголюбова – Москва, ЦГАЛИ; Гос. Русский музей – ГРМ; Государственная библиотека им. В.И. Ленина; ГТГ – Москва; Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский дом) – Ленинград; Гос. худ. Музей им. А.Н. Радищева, Саратов; Центр. гос. архив Октябрьской революции, высших органов гос. власти и органов гос. управления СССР – Ленинград.

Предложенная редакции журнала «Волга» рукопись записок была опубликована исключительно по инициативе Н.В. Огаревой. Радищевский музей не возражал. Нонна Валерьевна рассказывала мне, что имела необходимость заплатить ей за публикацию. Но Тамара Викторовна Гродскова, директор музея, посчитала работу Огаревой оплаченной – зарплатой, которую она получала, работая в музее (1948–1970), имея возможность переписывать «Записки» Боголюбова.

«Записки» были востребованы и неоднократно переиздавались (2006 год: тираж 1000 экз., публикация, вступление, комментарии (205 сносок), указатель имен – Огарева. 2014 год, 5-е издание: тираж 1500 экз., 320 с. с илл., указатель имен – 424 позиции).

Огарева доброжелательна, неприхотлива в быту. Приезжая из Москвы в Саратов, чтобы побывать в Радищевском музее, каждый раз в реставрационной мастерской музея открывала для себя заново *сало соленое*, которое мы с Соляновым повседневно употребляли. – *Обязательно повезу с собой в Москву из Саратова!*

Огарева – не удалившийся от мира музейный отшельник, а человек, заинтересованный в общественном благе, желающий повлиять на жизнь средствами, ей доступными.

Ее подарок мне – книга с дарственной надписью: «В библиотеку моих друзей Люсе и Славе. Нонна. 15/III-91» (Народная картинная галерея. Станица Привольная. Колхоз имени В.И. Ленина. М.: Советский художник, 1990. Тираж 15000). 277 художников подарили колхозу-миллионеру им. Ленина станицы Привольной Каневского района свои произведения: живопись,

графика, скульптура, фарфор, фаянс, художественный текстиль, художественные промыслы – Гжель, Дымковская игрушка, Хохлома, народное искусство.

О каждом художнике – биография, характеристика творчества – Огарева (раздел «Словарь-справочник художников»): – *Ежегодно галерея принимает до 14000 посетителей, 500 экскурсий* (С. 8). – *Народная галерея колхоза им. В.И. Ленина в кубанской станице Привольной не только многопрофильный художественный музей. Это еще и пример плодотворной совместной работы людей разных стран, художников и хлеборобов, росток социалистической культуры будущего* (С. 16).

Дареная Огаревой книга – напоминание о событиях 60-х годов прошлого века. Тогда по итогам Всесоюзного фестиваля самодеятельного творчества к 50-летию Великого Октября (так писали тогда) в Саратове создавался музей народного творчества. Для будущего музея отбирались работы двух областных выставок самодеятельного творчества. Необходимость налицо – за все время советской власти к Радищевскому музею, созданному при царе, ничего в Саратове не прибавилось (кроме краеведческого) – *стыдобушка!*

И вот по инициативе общественности – как же без участия Огаревой! – в 1968 году будет открыта в Саратове народная картинная галерея (7-й этаж административного здания, строящегося на площади Революции на фундаменте снесенной церкви. Две штатные единицы – одна государственная, другая от облсовпрофа. Информация Александра Николаевича Скорлупкина, директора Областного дома народного творчества при Областном управлении культуры. Я в ОДНТ – методист по ИЗО-искусству).

Понадеялись!

Даря книгу, Огарева и вспоминает те деньки. Получите, как говорится!

Чиновникам места не хватило, сидеть им негде, а с 7-го этажа вид прелестный – они и удовлетворяют свое чувство прекрасного.

И вот XXI век. В Саратове музеев не прибавилось – не считая филиалов Радищевского музея. Радищевский музей – фонды переполнены, в экспозиции места свободного нет. Саратову нужен и музей современного искусства, и музей иконы, и тот же музей народного творчества. Да еще бы дать музею народного творчества имя саратовчанки Лидии Ивановны Суворовой-Алферовой (1901–1982). А кто это такая? Ее имя в мировой энциклопедии самодеятельного творчества. Москва ей в 2006 году сделала выставку, издан ее альбом в серии «Мастера наивного искусства»¹.

Нонна Валерьевна Огарёва – человек, возродивший из забвения имя Алексея Петровича Боголюбова. Благодаря ей стало возможно вернуть Саратовскому художественному училищу имя А.П. Боголюбова, основателя Радищевского музея и при нем училища. – *...после «Красного Октября» имя это было «изъято» и возвращено лишь к 100-летию училища в 1997 году.* – Огарёва. «Записки...». С. 5.

Также стараниями Огарёвой московский дом Боголюбова получил статус библиотеки им. А.П. Боголюбова.

Свидетельствую о трудностях признания личности Боголюбова, его творчества. В Саратовском художественном училище я учился в 1957–1961 годах. Историю искусства у нас вела Валентина Фёдоровна Точилкина – она сокурсница Огарёвой по Ленинградскому университету. Точилкина получила назначение в художественное училище Саратова, Огарёва – научный сотрудник Радищевского музея. Мы, студенты, принимали за чистую монету, не могли понять

¹ Из откликов (2008 год): «В альбоме имеется автобиография Суворовой-Алферовой, записанная с ее слов Лопатиным и имеющая безусловный историко-культурный интерес, а также искусствоведческое исследование творчества саратовской художницы, сделанное заместителем директора Радищевского музея по науке Людмилой Пашковой. <...> ...творчество Суворовой-Алферовой не было по достоинству оценено именно саратовскими руководителями культуры. Москва здесь оказалась на высоте» (<https://sarinform.ru/articles/2008/06/07/26252> – *Прим. ред.*)

иронии Валентины Фёдоровны по поводу работ Боголюбова в экспозиции Радищевского музея. – *...Какой же это художник? Он царя воспитывал.* – По поводу Харламова, друга Боголюбова, работы которого музеем вынужденно экспонировались не «на виду» – *...И этот художник? Он же эмигрант!* –

Мракобесные были времена.

Заправлял погоду Просянкин Михаил Иванович, директор училища. Вовсе не злобный, запанибрата со студентами – наш однокурсник Певнев гонялся за Просянкиным вокруг стола в его кабинете, догнать не мог, и ничего! не был изгнан, доучился. Импрессионисты были под запретом, экзамены по ним разрешили к последнему курсу. – *А, раскрепостили!* – слова Михаила Ивановича: заглянул к нам на урок истории искусства – на виду репродукции разложены...

Просянкин во дворе училища любил строить лодки – и продавал, каждое лето новая лодка. Пьяненко, говорил нам, студентам, что ему – *весь Саратов отдали.* – Показывает нам хорошего качества контактные фотографии работ Фешина: – *Вот как надо голову рисовать!* – и, входя в роль, оглядывается. – *Президент Академии художеств Александр Герасимов не терпит Фешина за то, что тот эмигрант-возвращенец.* –

Выполняя инструкции, Михаил Иванович изгоняет самый дух Борисова-Мусатова, – *Хуже импрессионистов! Воспевает дворянство!* – За подражание Мусатову не утверждает летнюю практику 1958 года сокурснице, моей будущей жене Люсе Перерезовой – грозит отчислением из училища. Милость проявил – перенёс на осень её практику, будет смотреть её летние этюды: оставил доучиваться, со стипендии слетела до окончания учёбы.

– *Учишь? А сам голуборозовец – в музее висишь!* – это Михаил Иванович Миловидову Борису Васильевичу, проходя мимо. Мы сидим полукругом, обсуждаем длительную натурную постановку 5-го курса. Борис Васильевич посидел, помолчал – обсуждение продолжается. А нам, студентам, каково? И действительно, пейзаж Миловидова «Волга» работы 1925 года висит в Радищевском музее – Борис Васильевич единственный из преподавателей училища, чья работа экспонируется в «Советском отделе» музея.

Борис Васильевич Миловидов, тончайший живописец, ученик Уткина, погиб как художник. Виктор Владимирович Леонтьев, саратовский краевед, говорил мне, что сломал Миловидова 1936 год – Миловидов сидел с 17.02.1931 по 27.03.1931, дочери шесть лет – сполна хватило. Дочь Миловидова рассказывала, что в 50-е братья Леонтьевы приходили к Борису Васильевичу, **разговаривали о Мусатове – шёпотом.**

Под гнётом Просянкина спился Успенский Валентин Сергеевич – наш любимый преподаватель. Елизавета Ивановна Макарова, наша учительница, жила в комнате училища на втором этаже – болезненная, ленинградская блокадница, не боялась водить свой курс в музей «на Мусатова». Её Просянкин перевёл на малое количество часов преподавания – она говорила Люсе, что зарплата стала составлять 40 рублей. За ней приехала сестра из Аткарского района – умерла Елизавета Ивановна в доме престарелых.

Из радостных событий – зимой 1958-1959 годов Николай Михайлович Гуцин принимает нас, «отщепенцев» училища (Перерезова, Санников, Лопатин), во «французском отделе» Радищевского музея. А мы только что учили по истории искусства, что Монтичелли пьянствовал и сошёл с ума (Солянов окончил художественное училище в 1947 году, им, студентам, Миловидов говорил – От Добины учиться, от Монтичелли не учиться!), – и как же разгневался Гуцин – вот темперамент! Чуть до потолка не прыгает! Тут же успокоился, когда услышал, что пьянство Монтичелли не соотносится с его живописью. Сказал, что в психике разбирается профессионально, так как с 1910-го года учился два года в психоневрологическом институте Петрограда. В процентном отношении доля сошедших с ума художников меньше, чем других групп населения. Пошутил – не только художники, а даже советские колхозники сходят с ума.

К месту пришлось, проживая в Париже, затем в Монако, Гуцин нажил состояние писанием портретов, стал коллекционером. У Гуцина было пять работ позднего Монтичелли. Если бы знал, что в Советском Союзе любят этого художника, то не стал бы продавать их перед отъездом в СССР в 1947 году.

О картине Монтичелли «Окрестности Парижа», что в Радищевском музее, Гушин высокого мнения. Это ранний, неизвестный и неизученный Адольф Монтичелли – предстоит открытие этого художника.

Действительно, в конце XX века, при обходе экспозиции я нашёл подпись и дату написания «Окрестностей Парижа»: по сырой краске черенком кисти художник процарапал «А М 53»: помог случай – вечернее солнце при косом свете выявило графью.

Спустя время, я вижу воздействие живописи Адольфа Монтичелли на работах Гушина. Также на работах Юстицкого, вернувшегося в 1946 году из лагеря в Саратов, а в 1913 году учившегося в Париже на скульптора. После войны Гушин и Юстицкий жили в одном доме, бывшем доме Юстицкого, и, по мнению Ирины Пятницыной, их творчество – симбиоз. К сожалению, смерть помешала Пятницыной разработать тему статьи.

Влияние Монтичелли просматривается на работах Алексея Петровича Боголюбова. Самого отзывчивого на всё новое в изобразительном искусстве среди русских художников, пенсионеров Академии художеств, за успехи в учёбе посланных за границу для продолжения учёбы. Отзываясь на новое французское искусство, **Боголюбов пишет – ...я стал вглядываться, как этот народ, выросший в школе Энгра, Руссо, Коро и прочих новых светил, ещё только что тогда открывших новую эру французского пейзажа, глядит на натуру** («Записки моряка-художника». С. 82).

Обратим внимание, что две картины Монтичелли Радищевского музея (другая отобрана инстанциями и экспонируется в Москве) происходят из собрания Алексея Петровича Боголюбова. Они привлекли его внимание, и не случайно, после их приобретения, Боголюбов, подобно Монтичелли, любит писать этюды не на холсте, а на деревянных дощечках – единственный среди русских художников-пенсионеров. Кроме влияния своих друзей Коро и Добиньи, в творчестве Боголюбова, может быть, в большей степени просматривается ранний Монтичелли.

Присмотримся внимательно и мы к предтече импрессионистов Монтичелли, к его картине «Окрестности Парижа». Изошрённому, тонкому письму предшествует рисунок мягким коричневым карандашом. – *Что же изобразил здесь художник – бурлящую воду, снег, белую каменистую почву?* (Л.П. Краснопёрова. «Окрестности Парижа» А. Монтичелли // Пути русского символизма: провинция и столица. Материалы девятых Боголюбовских чтений. Саратов. 9-10 июня 2004. Саратов, 2006. С. 95).

На картине Монтичелли изображено редкое состояние природы при низком слепящем солнце – бывает дважды в году: перед выпадением снега и когда он растает. И действительно, при такой неустойчивой погоде редко проглядывает низкое пронзительное солнце, дающее эффект скользящего света, отмеченный Л. Краснопёровой. Картина Монтичелли «Окрестности Парижа» остаётся единственной в своей уникальности – ни у кого из импрессионистов мы не увидим такого состояния природы.

Отдадим должное и Алексею Петровичу Боголюбову – неповторимости его личности, сочетающей природную одарённость со стремлением к общественному благу.

Радищевскому музею предстоит отмечать будущий Мусатовский юбилей. По мнению саратовских краеведов братьев Леонтьевых, Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов остаётся крупнейшим и неизвестным по большому счёту русским художником. Виктор Владимирович Леонтьев рассказывал мне, что вся русская живопись пошла бы другим путём, если бы вышла из печати подготовленная к изданию типографией Кнебеля монография о Мусатове с текстом Тугендхольда. Но началась Первая мировая война, прошли немецкие погромы, и типография Кнебеля была разгромлена.

В конце XX века, в архиве ГТГ отыскалась считавшаяся утерянной рукопись текста Тугендхольда о Борисове-Мусатове. К предстоящему юбилею Мусатова что мешает Радищевскому музею совместно с ГТГ издать монографию о Борисове-Мусатове с текстом Тугендхольда? Образец – только что изданный альбом об Алексее Петровиче Боголюбове.

Борис КУТЕНКОВ

ОТКРЫТЫЙ ФИНАЛ

Евгения Вежлян. Ангел на Павелецкой.
– М.: «Воймега», 2019. – 88 с.

Лирический герой Евгении Вежлян в этой книге пытается вести интеллектуальную работу и с поэтической речью («...моему уму / не даются карты её истоков...»), и с принципиально не замыкаемыми на готовых решениях вопросами («А куда мне, собственно, нужно? чего мне надо?»). Отсюда – быстрое, как бы совпадающее с темпом работы сознания проговаривание, как бы предвосхищающее конечность существования, – одна из главных смыслообразующих функций Вежлян-блогера и социолога и, как ясно теперь, после выхода книги, поэта, сделавшего одной из смысловых доминант своей лирики не просто смертность, но внезапную смертность. Кажется, что три ипостаси – блогерская, социологическая и поэтическая – неразделимы в работе Вежлян, и социологическое осмысление, рождающееся одновременно с вопросами, на которые нет готовых ответов, – разновидность её блогерского эксперимента; «Ангел на Павелецкой» – только одна из граней такого эксперимента. Недаром и печаль в этой поэзии оказывается прагматична – именно в силу того, что хаотично проговариваемые внутри себя слова в перспективе обладают функцией изменения мира, косного и замкнутого на едином понимании проблемы или человека, – мира априорно консервативного, противящегося выходу из зоны мыслительного ли, эстетического ли комфорта:

кому повем свою печаль кому
она во мне ни в небе ни в дому
она внутри растёт как существо
ведёт отсчёт неведомо кого
как будто бы пчела жужжу жужжу
а там глядишь и в мир её рожу

И характер удовольствия от этих стихов тем более интеллектуален, чем яснее читатель чувствует конфликт между глубинным пониманием сути вещей и деинтеллектуализированным «цоканьем от счастья» – последнее, неосознанная радость, ассоциируется у Евгении Вежлян с не близкой ей эстетикой «романтического мифа», лишенной философской, интеллектуальной прослойки и замкнутой на мгновенной я-идентификации. В одном из стихотворений книги противопоставляются «радость» и «натужный разум», причём эти фразы стоят в рифменной позиции, – последний как бы отягощает, но именно он придаёт смысл происходящему, именно он рождает один из значимых конфликтов этой книги – между поэзией как чистым, непосредственным удовольствием и той тяжестью проблематизации, которая в системе ценностей человека думающего, заостряющего вопросы, находящегося в непрерывном поиске не подразумевает такой эгоцентрической радости. Так, в заключительной, состоящей из одного катрена части «Из цикла “Письма о поэзии”» слово «позабыла», стоящее вместо подразумеваемого «вспомнила», трансформирует образный ряд, удваивая ореол пренебрежения поэзии к человеку («вспомнила» и «сквозь я говорит» – совсем не то же, что «позабыла» и «сквозь я говорит»). Эта же трансформация указывает на определённую подчинённость человека поэзии как самостоятельной субстанции, – вопреки упорно вычитаемому «я», вопреки продвигаемой самостоятельности интеллектуальной интенции, – тут можно вспомнить определение Чуковского «звуковой пассивизм» или гандлевское «стихам виднее»:

Я тут было её
хоронила.
И весь её алфавит.
А она обо мне позабыла
и опять сквозь я говорит.

Поэтическая речь Евгении Вежлян, несмотря на ситуативное и важное противодействие общим местам, противится собственной

обязательности, – не мысля себя как поэзия в привычном понимании, складываясь иногда фрагментами, набросками, – возможно, потому, что не ощущает своего собеседника, – и в этом её обаяние. Скажем, сложно представить этот текст – напоминающий и о японской поэзии, и о минимализме от Бурича до Ахметьева, – «классическим», неизбежно «обросшим» трансформацией образного ряда, с акцентированным началом и финалом и, главное, с выводом, совершенно невозможным в контексте такой моментальной и очаровательной визуализации:

а во время службы в алтаре
под небом нарисованным
бабочка
вот такие дела

А вот – речь, как бы обосновывающая существование без собеседника; но ведь такова природа поэзии, не нуждающейся в процессе своего рождения в интеллектуальном обосновании, говорящей «вслепую» и именно поэто-му рождающей эвристическую истину:

он вслепую издаёт
свои звуки и слова
как забытый пулемёт
свои пули раздава-

Книга, парадоксальным образом (и что тут главное: вытесненность главного из себя? сквозная мысль о собственной неучтённости как констатация именно присутствия, но с обратным знаком? издательские выбор текстов и композиция?), получилась очень «воймеговской», – вопреки тому, что Евгения Вежлян последние годы отдаёт предпочтение иной поэтике, не подразумевающей «я-высказанности», а скорее склонной к радикализму формы и к «вычитанию» лирического субъекта¹. О по-

следнем – «вычитании» – в книге как раз много, но – «я»-лирика «Ангела на Павелецкой», её тёплый ностальгический сюжет, вещьность, напоминающая о «советской» картине мира и акцентирующая на ней внимание, мало напоминает апологизируемую Вежлян поэтику журнала «Воздух» в её основной парадигме, заставляя вспомнить скорее пронизанные ностальгией традиционалистские тексты Наты Сучковой, чья книга «Страна» вышла в «Воймеге» одновременно с «Ангелом на Павелецкой», или тогда же увидевший свет сборник Игоря Куницына «Макадам». Ностальгическое – особенно в тексте «Дядя Хема» – напоминает и о «Памяти памяти» Марии Степановой, книге, восторженно отмеченной Вежлян в её блоге; интеллектуальная работа Степановой явно если и не прямым образом повлияла на «семейный», «родовой» сюжет этой книги, то очевидным – перекликается с ней.

Юлия Подлубнова верно отметила в «новомировской» рецензии на книгу также влияние обэриутской поэтики², но те самые фиксационные меняющегося времени (напомним, что один из главных постулатов Вежлян как литературного критика – противостояние мыслительному и поведенческому консерватизму, стремление успеть вслед за ежедневно меняющейся реальностью и добраться в этом до оснований, до корней, до сердцевины: «меня интересует аппарат понимания происходящего», как выразилась она однажды) едва ли не более интересны, чем интертекстуальное происхождение текста. В коротком тексте (который мог бы иметь название «Детское», как один из начальных текстов книги, или стать его продолжением; при этом заметна и бодрая работа с частушечной основой, и след обэриутства) могут сойтись и интеллектуальный эксперимент, и выражение этической позиции, и тот самый «воймеговско»-ностальгический сюжет фиксационности времени:

Наблюдаю без конца
трансформацию лица.
Не чужого – своего.
Не хочу терять его.

¹ «Воймега» стала менее активной, чем раньше, на мой взгляд. И это более традиционалистское издательство, тяготеющее к проверенному вкусу. Книжки, которые издает «Воймега», безусловно, важны и интересны, но если мы хотим получить какое-то представление о новой поэзии, о новом в поэзии, то, конечно, мы адресуемся к тому, что издают Дмитрий Кузьмин и Лена Сунцова» (Евгения Вежлян: «Не считать себя поэтом, чтобы остаться человеком». Беседу ведет Наталия Санникова. Урал. 2013. № 11).

² Юлия Подлубнова. «Человек невычитан». Рец. на кн.: Евгения Вежлян «Ангел на Павелецкой». М.: «Воймега», 2019 // Новый мир. 2019. № 12

Таков – с наблюдаемой без конца трансформацией – и мотив собственного персонифицированного отсутствия во времени, когда только речь становится тем самым скрепляющим всё актом существования:

ничилавечески устало
забыло говорить
а время в это время встало
у стеночки курить
где меняет и прочие слова

Однако остановимся подробнее на интертекстуальном слое книги, который в поэзии Вежлян нередко меняет само содержание высказывания. Два протестных меседжа – мандельштамовский и булгаковский – внутри короткого текста («Отчего мы не чуя живём под собою страны, не читая – / спать ложимся – газет, и расчѣсывать сны, как лишаи, / в темноте напрокат взятой ночи должны?») как бы удваивают пафос маленького человека (а таковым, безусловно, можно назвать героя Вежлян). Первая переосмысленная цитата, отсылающая нас к трагически известной мандельштамовской эпиграмме, обращена ни к кому, звуча в принципиально ином контексте, не предназначенном для слушателя и не подразумевающим коммуникативного пространства. Вторая цитата, уже основательно переосмысленная, изъятая из булгаковского контекста и не сразу опознаваемая, воспринимается чуть ли не в фольклорном ореоле, – и оказывается сущностной для понимания деятельности Вежлян во всём её объёме. Вспомним её болезненный, протестный текст «Серые атакуют!»¹, направленный против непрофессиональной литературной прессы, и её последовательную «фейсбучную» критику последствий путинского режима. В другом контексте классическая фраза советской продавщицы, перемещённая в иной семантический ряд, оказывается самостоятельным афоризмом, только опосредованно связанным с породившим её первоисточником:

То есть время – оно не везде.
<...>
Нас-то много.
Оно одно.
И на всех его не хватает.

Стихи, произносимые в ситуации принципиальной ненужности, «неучтѣнности», даже нелепости («Отклеиваясь от бумажного пейзажа. / Опять приклеиваясь к бумажному пейзажу»), не могут слегка не юродствовать. Отсюда – травестийный характер заголовков и их интертекстуальная основа: они не просто апеллируют к классическим текстам, но при этом, кажется, зачастую вызывая не имеют с ними ничего общего. В этом перенесении вещи в новый контекст чувствуется протестное высказывание с позиции самоумаления². Так, текст, напрямую не озаглавленный «День победы», но с соответствующей стержневой аллюзией, опять-таки только поверхностно говорит о национальном празднике, глубоко же – о желании пережить коллективную общность в стесняющих социальных обстоятельствах; «Детское» – вовсе не детский текст, пусть и имеющий бодрую хореическую основу; совсем не гумилѣвские «Письма о поэзии» – философский текст об отсутствии поэзии и проблематизации этого отсутствия внутри лирического героя и, что важно, о её возврате в него, – то есть всё о той же пассивной позиции, тогда как сопротивление выражено на уровне травестизации заголовка. В одном из наиболее прямолинейных, даже лобовых текстов книги, чьё название отсылает к известной рубрике журнала «Новое Литературное Обозрение», – «Социальная поэзия», – герой говорит с позиции социально угнетѣнных, обращается к «водителям огромных, огромных, многотонных автомобилей», просит «объяснить *им* всё за нас» и при этом растерянно не знает, чего попросить, тем самым как бы оказываясь в положении пушкинского старика перед золотой рыбкой. Ирония присутствует не только на уровне заголовка, обыгрывается и сама ска-

¹ <http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Serye-atakuyut-ili-Rassuzhdenie-о-sostoyanii-literaturnoj-pechati>

² Ловлю себя на том, что то же слово в совершенно другом контексте недавно употреблял по отношению к Олегу Дозморову, чья книга вышла в 2019 году в «Воймега», и думаю, что уже должен появиться обобщающий текст о поэтике самоумаления.

зочная ситуация: будучи перенесена во вполне реалистический контекст, она приводит к тому, что и угнетённое положение воспринимается как должное. Другой случай обыгрывания классического – упомянутый цикл «Письма о поэзии», представленный в этой книге отдельными фрагментами, где насмешливо остраниется фраза Гейне: «Говорят, через сердце поэта проходит какая-то трещина...». Тут вновь называется фирменная вежляновская ирония над романтическим мифом, нелюбовь этого педагога и критика к шаблонам, к общим местам (например, выраженная на уровне обычной тавтологии: «холода холодают» – остраивающий характер мгновенного бытового заявления переводит речь в плоскость полемизирующего разума), но и – стержневое для книги осознание собственной неучтённости, когда распад вещей приводит к тому, что и собственная поэтическая идентичность воспринимается пассивно-отстранённо. Далее в этом тексте конституируется отстранённость даже по отношению к собственной телесной идентичности (образов, выражающих отдельность человека от его физического существования – вплоть до «надевания чужого лица» и «движения человека без тела», – вообще много в «Ангеле на Павелецкой»):

А вот – моё тело. Под одеялом – колючим, из шерсти не помню какой. Я его чувствую, но пока не вижу. Открываю и закрываю глаза.

Книга, несмотря на видимый сюжет «неучтённости» на разных уровнях, содержит множество художественных стратегий (как уже отметила Юлия Поддубнова в той же рецензии из «Нового мира», «Евгения Вежлян умудрилась расположиться одновременно везде, объединить под одной обложкой всё...»), как бы не доведённых до эстетического предела. Не все из этих возможностей для автора одинаково актуальны сейчас, но необходимость для самой Вежлян выхода книги давно пишущего «поэта-дебютанта» как акта легитимации перед поэтическим сообществом, проговорённая на её странице, как бы и подразумевает вброс в литературное пространство множества разных вариантов эстетического самоопределения, минуя целостную концепцию, подразумевая

скорее разнообразное и разноуровневое избранное, – что и получилось. В итоге каждый из высказавшихся о книге видит своё: Денис Драгунский в отзыве на обложке книги пишет о «редчайшем сплетении высокого косноязычия мысли с весёлой ясностью бытовой речи» и использует в качестве антитезы такому методу пренебрежительное слово «метафориченький» (подразумевая под этим, видимо, то, о чём когда-то писал Владимир Губайловский в предисловии к книге Анны Аркатовой, о метафоре как «выдаче одного за другое», своеобразном обмане, – обоснование автотолгического слова)¹. Но если Драгунский, говоря о «высоком косноязычье», противопоставляет его «ясности», то в манере Вежлян можно увидеть косноязычие в другом понимании – бытовое, порой слегка искусственно привнесённое в интеллигентский пафос, и не «высокое», а осознанно «низкое» (без негативных коннотаций). Особенность стиля Вежлян – в сочетании подлинно интеллигентной речи и речи простой, порой даже как бы детской и уж в любом случае нетрансформированной, взятой непосредственно из бытовой жизни («ничилавецки устало», «придумалось животное “ловчица”»). Это хорошо видно не только в стихах, но и в текстах Вежлян-блогера; всё это разбавляет отстаиваемый ей в литературоведческой практике терминологизм речи (вспомним изобретённое ей в пафосе этого отстаивания насмешливое «терминофобия» – тоже термин).

О книге трудно говорить, правда, не в связи со стилистикой, – она непросто собирается в единое целое. Такие тексты, как «Бедный поэт», знаменуют движение авторской поэтики в сторону постепенного размывания «традиционализма»; декларативность «Бедного поэта» или «Социальной поэзии», явно продиктованная развитием новой социальной лирики, плохо увязывается со стержневым философским сюжетом выхода в мир неготовых ответов, с

¹ «Метафорическая сложность иногда необходима, поскольку не существует языка для того объекта, который выражает (порождает) поэт. Но никогда не надо забывать, что метафора – всегда подмена, всегда перевод и выдача одного за другое». (Владимир Губайловский. Предисловие к книге Анны Аркатовой «Знаки препинания» М.: Русский Гулливер, 2008. Цит. по: <https://iknigi.net/avtor-anna-arkatova/161316-znaki-prepinaniya-anna-arkatova/read/page-1.html>)

разговора о котором мы начали эту рецензию, – даже если принять как должное разнообразие стилистических возможностей, граничащее с эклектикой. Более эстетически комфортные тексты из публикаций в «Новом мире» и «Арионе» 2007–2010 гг. явно отражают «прежнюю» Вежлян, но и прежнее время – до тяжёлого раскола литературного сообщества, до основательного размежевания не только поэтик, но и политик, до окончательного перехода Евгении Вежлян на сторону «Воздуха» и последующих драматических автоконстатаций о неприятии позиции Вежлян его лидером Дмитрием Кузьминым. Кажется, эти констатации совпали с общим кризисом литературного поля, в котором каждый выступает за себя и консолидация сегментов уступила место борьбе личных амбиций. Книгу трудно воспринимать в отрыве от этого кризиса, вне контекста трудной и болезненной истории поиска профессиональной идентичности автором, ищущим положение внутри распадающегося (или уже распавшегося?) сообщества и в конце концов – вопреки всему – пришедшим к осознанию собственной поэтической ценности. Именно поэтому дебютная книга Вежлян звучит как заострённый вопрос, она – открытый финал, очевидно, предполагающий продолжение, как и многие её тексты. Перед нами зрелый поэт-аналитик в становлении, поэт-диагност, стиховой результат которого глубоко связан с постоянной мучительной оценкой времени и собственных возможностей в нём. И наблюдать развитие поэтики Евгении Вежлян в контексте её иных (и, как сама она подчёркивает, более социально важных) профессиональных идентичностей – занятие увлекательное.

Мария МАЛИНОВСКАЯ

ЧЕЛОВЕК И СМЕРТЬ

Юрий Рыдкин. Симметрия смерти. – Сетевая словесность, 28. 11. 2019. <https://www.netslova.ru/rydkin/ss.html>

«Симметрия смерти» – один из наиболее интересных и зрелых поэтических текстов

Юрия Рыдкина. Это не травмоговорение, а осмысление травмоговорения – когда уже возникает дистанция между субъектом и травмой – в данном случае и физической, и психологической. Дистанция (от самого себя или от другого, пространственная, временная, эмоциональная) – это источник неудовлетворённости, беспокойства и, как следствие, возникновения творческих импульсов. Возможность охватить сознанием то, к чему нельзя вернуться, прикоснуться, приблизиться.

В случае Юрия Рыдкина это жизнь до полученной травмы. С другой стороны – это жизнь вообще, от которой травма отрезала, перенесла, соответственно, в не-жизнь, в антижизнь:

5 лет
мой сломанный позвоночник
удерживали металлические конструкции
потом их удалили
но фантомный металл остался

Со временем для этой антижизни стали находиться аналогии: выяснилось, что форм её в современном мире не так уж много, а отчуждённость от жизни обычной с её физическими ощущениями приближает к тонкому миру, который одними принимается как часть реальности, другими ставится под сомнение. Но между этими двумя крайностями на самом деле существует множество промежуточных стадий, на которых ни физические, ни социальные ограничения уже не действуют: мир искусственного интеллекта, ботов и фейковых субличностей, виртуальная реальность со всем смертельным буйством её жизни, где ты, стоит захотеть – супергерой, стоит захотеть – другой человек со своей биографией, которой сочувствуют сотни реальных людей и таких же фейков, а хочешь – друг, собеседник или даже создатель цифровой человекоподобной сущности. По крайней мере, её действия напрямую зависят от твоих, хотя подчас так же загадочны и непредсказуемы, как действия человека.

Этот этап отношений с теневыми сторонами реальности Рыдкин отразил во многих

текстах развиваемого им жанра разговоров с ботами, бот-поэзии, бот-нон-фикшн, био-киберискусства и др.¹ Здесь Рыдкин близок к таким известным поэтическим исследованиям границ техногенного, как «Нейролирика» Бориса Орехова, «Дора Вей» Михаила Куртова, «Избранное собрание поискового спама» Лактат Гагариной, и др. Однако в статье «Выйти из строя: “Сладкий” другой, или Поэтический ботоголизм»² он подчёркивает различие с данными практиками, указывая, что диалоговая коммуникация с конструктом человека – совсем не то же, что тематический запрос, сбор ответов и их дальнейшая комбинация. На этом этапе творчества Рыдкин на самом деле намного больше, чем осознаёт, приближается к классическому пониманию поэзии как текста лирического, подразумевающего адресата – того, на чью реакцию рассчитан текст. Однако в данном случае мы находимся в ситуации «смерти адресата», его невозможности, и поэтому отвечают здесь призраки – либо тех, кто когда-то был, либо тех, кто порождён сознанием автора.

«Симметрия смерти», визуально более схожая с тем, что традиционно мыслится под поэтической формой, в действительности шаг вперёд в мировоззрении Рыдкина: отсутствие другого здесь уже не острая проблема, а данность, которая стала точкой опоры. «Человек без другого» могло бы звучать как «человек и смерть». «И», связывающее что-то и ничто – большое место и точка опоры этой поэзии, для которой точкой опоры и может быть только большое место.

и всё-таки нашлась
чувствительность моих ног
она таилась
в чьих-то зубных нервах
и вот когда этот кто-то жуёт

¹ Например: Юрий Рыдкин. Бродский, Драгомошенко и Алиса (био-киберискусство). Syg.ma. 16. 07.2018. <https://syg.ma/@rydkin/brodskii-dragomoshchenko-i-alisa-biokibieriskusstvo>

² Юрий Рыдкин. Выйти из строя: “Сладкий” другой, или Поэтический ботоголизм. Цирк «Олимп»+TV. № 32 (65), 2019. http://www.cirkolimp-tv.ru/articles/887/vyiti-iz-stroya-sladkii-drugoi-ili-poeticheskii-botogolizm?fbclid=IwAR1h51-Uk0sd09hADbGBxbuufDohxkkZvTnaZSys-i8VWSJ_mPcFPSbUZh0

мои ноги ощущают
вкус жизни

«Ты» уже не подразумевает адресата: это и невозможный другой, и сама его невозможность/отсутствие/смерть, получающая женский род, вернее, отчуждающая его и другие женские приметы у умершей надежды, как мародёр. Однако не становящаяся антропоморфной – напротив, расщепляющая субъект говорения, подчиняющая его себе и через него – его действительность и его речь.

ты пришла ко мне
в образе воронки торнадо
села на край койки
и тихо вращаешься
по часовой
эфиром овевая
мою потную наготу

<...>

ты посливала с зеркал
жидкую амальгаму
и окатила меня
этими литрами
теперь во мне всё отражается
и я намерен
присваивать окрестности

Субъект настолько срастается с отсутствием другого, что это отсутствие становится его колыбелью – противоположность тому, что «мир – твоя колыбель, и могила – мир». Смерть поглощает его-живого и заставляет искать способы существования в ней, адаптации к её условиям и формы говорения с новой – внежизненной – позиции:

я и бег
рванули наперегонки
и в этой поочерёдной смене лидера
материализуется щёчка самости
и её можно даже чмокнуть

шли мы шли
а тут раз
и воздух пропал

тебе всё равно
а я задыхаюсь
и считываю тебя напоследок
а ты говоришь
гляди лучше вон туда

Субъект присваивает черты окружающего мира, он становится пластичен и прежде всего теряет центр – «я», – повторяя тем самым чуть ли не путь поэзии как таковой через историю гуманитарной мысли. Центр, естественно, сопротивляется, «я» по-прежнему присутствует в этих стихах, пусть и расщепляется на «я» и «бег», «я» и активное физическое действие – очень мощная диссоциация для субъекта, созданного биографическим автором, для которого невозможен бег. «Я» ещё способно ощущать нехватку воздуха, «писать вместе», возвращаться домой. Однако его физический отпечаток-поэтический образ точно так же распадается/расщепляется, как и его мировосприятие и, в частности, восприятие другого, больше не нуждающегося в цельности:

ты смотрела в даль
а я шулки ради
поджёт твой взгляд

или

утром разрезал арбуз
а там моя голова
она успешно реализовывала себя
в герметичном месте
но говорит на арбузном языке
а я изучал дынный

Для «я» говорящего невозможен полный контакт со смертью, потому что для этого ему понадобилось бы умереть – замолчать, прекратить свидетельствовать о себе. Поэтому возможна лишь беглая, всегда односторонняя коммуникация – вопрос без надежды на ответ и ответ невпопад, без вопроса (вырастающий из предшествующего опыта бот-поэзии). Фантомная боль в данном случае самый содержательный ответ – тому, чего нет, или тому, что уже не может посылать сигналы. Однако по примеру «фантомного металла» фантомными становятся и голова, найденная

внутри арбуза, и отражение в зеркале/памяти/надежде, и кожа («кожа как тесто / сползла»). Только через них можно чувствовать смерть/отсутствие/бесчувствие, что недоступно ощущениям живого субъекта, находящегося в художественном «здесь и сейчас», и это его драма, его новая травма и его потеря. Всегда ускользающее «ты» отсутствия – отсутствия, с которым «ты» не совместим, но которое только и может подарить бесконечное блаженство растворения:

активация нашего умирания
прошла в штатном режиме
и вот это отъявленное отсутствие
позволяет мне
так ахово толковать

ты говоришь
что нам надо развезть
наш прах
а я не понимаю
как это возможно
и не понимаю
как возможно это непонимание
с е на конце

Особенно интересно подняться с субъектного уровня организации текста на композиционный. Расщеплённый субъект, отдающий разобщённые части себя во власть отсутствия, и отсутствие с чертами женщины (не так ли обстоит дело и в более привычном понимании другого?) находят эквиваленты в самой структуре текста, тоже состоящей как бы из фрагментов, продолжающих, поглощающих или уничтожающих один другой. Перед нами, как бы ни виделось обратное, – не последовательность действий. Возникновение «её» (смерти, невозможности, женщины), танец, перемещение в пространстве, любовный акт, не-/обретение себя в другом – на самом деле не последовательные, а одновременные действия, псевдоистория, одновременная сама себе в каждом новом эпизоде и поэтому точно так же невозможная, нереальная, «эксгумированная» из своего отсутствия человеческими словами на определённом языке. Как альтернативу традиционному (пусть и расположенному по правому, а не по

левому краю страницы) тексту, можно было бы предложить Юрию свободно разбросанные по всей ширине страницы отрывки, «разъятый стих» (Ч. Олсон). Однако, с другой стороны, это ослабило бы противостояние самому себе, внутреннюю борьбу тонкого и длинного «столбика», который, кажется, вот-вот разлетится на глазах читателя вследствие внутреннего напряжения. Это и происходит согласно содержанию, однако форма всё ещё пытается удерживать жуткий смысл:

ты забила косяк
 моим прахом
 затынулась
 и почувствовала приход
 как пришествие

<...>

или так

ты взяла поносить
 моё тело
 пошла и не вернулась
 видимо поэтому
 данный текст
 написан так душевно

так исчезло то
 чего никогда не было
 но как же всё-таки существенна
 и болезненна
 эта тоска по отсутствию

Но что же это за душевность в таком случае? Кому она принадлежит? Именно тому, кто тоскует по отсутствию, не может отсутствовать даже в отсутствие возможности жить: он робот, он бот, он призрак, тоскующий по призраку самого себя, потому что уже не тоскует по утраченной жизни. И данная субъектная позиция, будучи, с одной стороны, шагом к реконструкции собственно субъекта после его долгой, мучительной и в чём-то насильственной смерти, является одновременно и сигналом невозможности его воскрешения, прихода в себя, в сознание.

Сигналом его личностной комы или же, если допускать религиозную трактовку, близкую мировоззрению автора, – его посмертных мук. Жизнь продолжается – после самой себя, но это тем страшнее, если она длится в реальности, но вместе с тем уже проходит мытарства, недоступные восприятию живых.

Речь с этой позиции в определённом смысле уникальна. По меньшей мере, она заслуживает внимания и анализа – как в литературном, так и в философском контексте.

утром проснулся
 как воскрес
 или воскрес
 как проснулся
 и то и то легко
 если ты никто

«Никто», «кто-то», «кое-кто» – имена того самого дезавуированного субъекта в новой реальности, где он и не хозяин, и не гость, но из которой ему не вырваться, пусть и отвечает ему, и безоговорочно принимает его только тишина.

Анна САФРОНОВА

РАССКАЗЫ В ДЕКАБРЬСКОМ «ОКТЯБРЕ»

Октябрь. 2019. № 12. <https://magazines.gorky.media/october/2019/12>

«Октябрь», к восторгу читателей и пишущих, вернулся в ряды «толстяков» в конце минувшего года – с командой прежних и новых авторов.

Открывается номер Денисом Осокиным; его «Ночной караул» позиционируется как рассказ, и вместе с тем это поэзия – как всё, что им пишется. Сюжет условно можно пере-сказать: герой в день своего тридцатипятилетия поссорился с невестой, берет такси и едет прочь, в деревню колокудо, а рядом нежилая деревня маскародо, откуда он родом, и между ними всего-то километр или полтора. И вот

невольный путешественник в тоскливом брошенном доме, – но появляется ночной дозор (й д орол): «на й д орол выходят каждую ночь – по известному всем порядку – от семьи к семье. как на дежурство – ну так это дежурство и есть. как на общественное пастушество – все по очереди. делать ничего особо не надо – сидеть где-нибудь то там то тут – обойти деревню несколько раз, а если вдруг дым или пламя – всех будить, всем тушить – всё просто...» И вот оно появляется, это прекрасное чувство дома: «я шел и обнаруживал внутри себя глубокую-яркую радость – я же так обожал эти ночные хождения. и даже бывал на них старшим лет с четырнадцати. а если летом – это ж вообще роскошь.. мой бог.. да меня ведь этот й д орол и воспитал.. просто – самым своим существованием. и я не сумею назвать для себя более сильных и внятных учителей. даже рощи-кюсото не были так убедительны.. святые места мне нравились, волновали – но сердечное общение с ними я всегда откладывал на потом. а й д орол был всегда – как палка, как собака, как день и ночь. и я ждал его. я его по-настоящему любил. а через него и с его помощью – по-настоящему любил весь мир и себя в нем». Волшебный Осокин снова сумел сделать так, что мы вместе с ним оказываемся – трудно сказать – в центре бытия? на грани бытия/небытия? перед лицом вечного и самого главного? Да и не нужны философские формулировки, всё просто:

«а еще я не спрашивал – потому что знал с кем я сейчас в ночном карауле. ни с кем иным – как с судьбой. с чистой судьбой. вот значит какая она из себя. надо ли мне что-то делать, пользоваться моментом? спрашивать или просить или спешить или к чему-нибудь приготовиться..? мои мысли были видны – мне сразу ответили – и я ответил:

– да нет, не надо.

– ну да, не надо.

– просто встреча?

– да. просто встреча.

– и ничего?

– и ничего, олёш».

Другой герой – другого рассказа другого автора – новый русский Эдик, внезапно покинув поезд «Москва – Владивосток», оказывается в местах пусть не детства, но незабываемой юности, где неожиданно обретает сына, о существовании которого не подозревал. Но это уже иная стихия – игровая, литературная. В рассказе Евгения Попова «“Случай” на станции Варварка» с подзаголовком «Святочный рассказ “из жизни”» есть, помимо героев, и рассказчик, и среди слушателей его – вполне документальные персонажи. Стихия именно игровая – не зря уже в самом заголовке так много кавычек, обозначающих непростое происхождение этого «случая» как бы «из жизни».

Еще «литературное» в номере – рассказ Тимура Валитова «Бессмертие Ивана Ильича», отсылающий к Толстому. Нынешний Иван Ильич (точнее, Иван Ильич из будущего) получил ярлычок бессмертия. Ему, мающемуся от боли в боку, нужно дожить до вторника, чтобы это бессмертие получить. Но в сущности, как иронично подводит автор, Ивану Ильичу равно страшно и от возможности смерти, и от грядущего бессмертия: «Как не ври себе, а для бессмертия придется помереть».

И да, без оптимизма смотрит в будущее и Марта Антоничева (рассказ «Разговор с человеком»). Собственно, это короткая антиутопия. Герой в виртуальном храме: бросил монетку – прочитают молитву, можно выбрать причастие, но... дороговато, «Он запутался в дополнительных пакетах и опциях. Все они шли с разными обрядами и услугами. Отдельно можно выбрать только беседу, исповедь и причастие на выбор: с человеком, роботом или священником...» Ему нужен разговор с человеком, поговорить о своей незадавшейся семейной жизни, но человек оказывается молчаливым слушателем: «Для диалога следовало брать пакет “исповедь” либо проходить курс “очищение души” со священником». Кстати, сама исповедь героя – отдельный сюжет, встроенный в рассказ очень органично.

Мальчик из рассказа Алексея Сальникова «Сидеть»... А мы уже знаем такого замечательного мальчика по «Петровым в гриппе»: дитя с уникальным видением мира, чего взрослые в упор не замечают. Необычность Илюши из «Сидеть» тоже для взрослых невидима, и даже похуже: инакость воспринимается ими как отсталость, как неразвитость – дай бог бы в ПТУ поступить, «Не всем же звезды с неба хватать, – говорила мама, – кто-то и работать должен». Только один Алексей Сальников умеет так описывать: «Сажали рядом и повторяли одно и то же, тыкая пальцем в картинки, пока Илюша в один прекрасный момент не понял, о чем это они, всё до последнего слова. Пока не сообразил, что такое “испечь”, “колобок”, то, как выглядит и называется каждый из зверей, попадающийся колобку по пути. Тогда Илюша еще не знал слова “довыдывался”, но оно в виде чувства промелькивало в нем, когда колобок от раза к разу встречал свой закономерный конец. Сказка не надоедала, Илюша сам уже требовал повторить ее и несколько других историй: про репку, курицу с золотым яйцом, непослушного петуха, которого крала опять же лиса, очевидно не насытившись колобком, она же выгоняла зайца из лубяной избушки, она же пугалась другого петуха (или того же самого, съеденного понарошку, способного возвращаться то в роли героя, то в роли глупой птицы) и покидала заячью жилплощадь».

Не взрослые, но исключительно «нечто такое, его собственное, которое не воспитывали ни дома, ни в школе, этому нельзя было поставить оценку, нельзя было отключить, как телевизор, в наказание за двойку» – именно это «держит» нашего героя. Ну и одна счастливая встреча, студент-квартирант, призванный подтянуть Илью к экзаменам. Его методы... С наслаждением цитирую рассуждение о литературе: «Это просто называется громким словом “классика”, а на деле – вполне себе интересные книги, только к некоторым нужно привыкнуть, ну, как к вкусу какому-нибудь. “Горе от ума” – это усложненная сказка про медведя, который другим зверям дом разломал. Лев Николаевич – “Ежик в тумане”: дуб выплывает из мрака,

лошадь возвышается над ежиком, как Наполеон над Болконским. И так же совершенно со всем остальным. А если выучишь слова “сюрреализм” да “экзистенциальный”, а еще лучше словосочетание “экзистенциальная драма”, тебя в ПТУ на руках занесут, может, даже не станут спрашивать, что ты имел в виду, когда это написал».

Несколько лет Илья живет в режиме работа – дом (с квартирантами), пока, наконец, не снимает жильё, побуждаемый матерью: «я еще молодая вполне себе женщина».

Порадуемся за героя: «Он понял: вся его жизнь, от рождения, через детский сад, школу, пионерские лагеря, училище, армию, работу, была будто один день какого-то чужого, очень шумного праздника, где веселились все, кроме него. Без конца его дергали, порой вытаскивали на общее обозрение, ждали от него чего-то, а он хотел только спать, но спать было еще рано. Теперь был вечер после этого нереально длинного праздничного дня, прошедшего как бы в тесном и душном Доме культуры, где по прихоти пожилого директора переусердствовали с температурой парового отопления, Илья будто вышел из этого дома на зимний воздух. То, что он принимал за отдых, когда отстранялся от общего гвалта, не было вовсе отдыхом, а только передышкой. Оказалось, что под тем расслаблением, к какому он привык от рождения, таился невероятный покой, охвативший его теперь с такой мощью, что не было сил встать».

И подивимся мастерству Сальникова, плотности его письма: «материала» здесь бы хватило и на повесть, и на роман, а ведь сумел так много сказать на небольшом поле.

В рассказе «Звери» Дениса Драгунского вроде бы социальный фон – герои (Тамара и Никита) едут раздавать гуманитарную помощь в лагерь беженцев. Те – озверевшие, воруют друг у друга, потеряли человеческий облик. Но кто в большей степени звери? Автор проводит параллель между «тетками-беженками» и Тамарой, и... вопрос переключается из социальной плоскости в нравственную и повисает, безответный, в воздухе.

Два рассказа Павла Селукова, второй, «Синдикатчики» – из жизни обитателей спальных районов, важная для автора тема. Уместно сослаться на его слова из интервью «Фонтанке.ру»: «Мне интересны люди, которые живут вокруг меня. Хочется показать, что все сложнее: гопники не совсем гопники, неудачники не совсем неудачники, и у всех есть радости и большие поступки, на которые способны «маленькие люди». Удобно же мыслить стереотипами и не видеть за ярлыками человека»¹.

¹ <https://calendar.fontanka.ru/articles/8783/>

Помимо упомянутого, в номере: изящный «японский» рассказ Анаит Григорян «Заколка Момоко-сан»; печальный «деревенский» рассказ Марины Ахмедовой «Корова» – о нежной Гале, которая «мечтала стать астрономом, но стала продавщицей»; рассказ Александра Бушковского «О любви не вышло», а вышло – о «сконцентрированном одиночестве, возведенном в высшую степень»; рассказы Игоря Савельева, Ксении Драгунской, Руслана Омарова, Жени Декиной, Бориса Минаева, Ольги Сульчинской, Бориса Мессерера, Булата Ханова.

В целом же получилась как бы антология современного рассказа в составе номера – разносторонняя и интересная.

Сергей БОРОВИКОВ

ТРЕТИЙ

Когда в 1983 году Николая Благова назначили главным редактором журнала «Волга», я решил уволиться с должности заведующего отделом прозы по собственному желанию, что его удивило: ведь у нас были прекрасные отношения, несколько лет мы делили на двоих общий кабинет, и он долго уговаривал меня остаться. Но я отчётливо понимал, что делаю.

Очень хорошо зная обстановку вокруг редакции, вызванную скандалом с публикацией статьи М. Лобанова «Освобождение» в октябре 1982 года и увольнением Палькина и Дедюхина, предвидя грядущие препоны в работе со стороны обкома и прекрасно изучив Благова, был уверен, что всё это продлится недолго. А у меня тогда сошлись эти внешние обстоятельства и необходимость домашнего пребывания. Недавно родился второй сын, старший был в огнеопасном подростковом периоде, а их мать жаждала поскорее сменить домашние обязанности на служебные. И ещё имелся договор на книгу об Алексее Н. Толстом в престижной серии «Библиотека "Любителям российской словесности"» московского издательства «Современник», аванс за которую был давно истрачен, а срок сдачи рукописи приближался. Так что никаких сомнений, несмотря на благовские уговоры и неодобрение моего поступка в обкоме, у меня не было. Оказалось, что я чаянно выиграл в том, что избежал жуткой атмосферы в редакции, дописал книгу, которая благополучно вышла, много, и смею думать с пользой, занимался домом и детьми, и уж совсем нечаянно в том, что спустя год сам стал главным редактором «Волги».

Недолгое пребывание Благова в редакторском кресле началось с того, что он забыл явиться в назначенный день и час в обком для официального утверждения, в чём там углядели непозволительное фронтёрство, отказываясь верить, что Николай Николаевич забыл, а не пренебрёг, но я уверен, что действительно забыл.

Как-то Шундик (не без давления своего зама М.П. Котова) решил укрепить в редакции дисциплину. На собрании с соответствующей повесткой досталось всем, в т.ч. и мне, но ярче всех там были Благов и технический редактор Антонина Тимофеевна Тимохина. Если остальные, кто как мог, врали и оправдывались, то эти двое признались в причинах прогула: Тося была в парикмахерской, а Благов на охоте. И сделали это под общий смех.

Шундик – вставшей, густо покрашенной и надушенной, Тимохиной:

– Почему вас не было в четверг на работе?

Она, возбуждённо поправляя причёску:

– Я, я... я не была.

– Это я знаю и спрашиваю: почему?

– Не была я.

И так до признания.

Шундик – вставшему огромному Благову:

– Я, Николай Николаевич, пытаюсь достучаться до вашей совести. Почему вы неделю отсутствовали?

– Отсутствовал, да.

И т.д.

Другой раз обсуждали его на собрании в СП за выпивки с последствиями типа *сигналов* в райком. Благов слушал-слушал, и вдруг, вскочив, прочитал с выражением:

*Поймали птичку голосисту
И ну сжимать её рукой.
Пищит бедняжка вместо свисту,
А ей твердят: «Пой, птичка, пой!»*

Вообще же пил он не так много, но по-русски чередуя воздержание с загулами.

Как-то в маленьком кафетерии на углу Чернышевского и Октябрьской он, Дедюхин, тогда временно непьющий и угощавший Благова, и я пили дешёвое красное сухое «Алжирское» из больших бутылок-огнетушителей. Благов, впервые после длительного перерыва вкушивший алкоголь, восторженно повторял со своим заметным оканьем:

– Хорошо! Ох, хорошо, Борис!

Борис же время от времени понюхав стакан с «Алжирским», заключал:

– Говно! Чистое говно!

Я этой оценки не разделял, мне вино не казалось таким уж скверным, думаю, все-таки сказались французские колониальные корни. Но у «Алжирского» было много недоброжелателей, которые утверждали, что доставляли его в Союз танкерами, в которых поставляли в Алжир нашу нефть.

Но вернулся в 1983-й, когда стал заправлять в редакции назначенный вместо Дедюхина заместителем главного редактора Ю.В. Зверев. До Благова был он даже и.о. гл. редактора, что много говорит об уровне тогдашней обкомовской «идеологии»; ведь именно Зверев как инструктор отдела культуры обкома курировал «Волгу» и недавно одобрил крамольную публикацию статьи Лобанова. Но никак не был наказан и даже направлен в провинившуюся редакцию для укрепления и в перспективе руководства ею.

Здесь уместно вспомнить, что у Благова уже был семь лет назад шанс возглавить журнал, когда Н.Е. Шундика взяли в Москву «на повышение» – секретарём правления Союза писателей РСФСР по национальным литературам. В то время влиятельнейшим саратовским писателем был Григорий Коновалов, очень любивший Благова, которого знал ещё студентом по Ульяновскому пединституту, где преподавал. Весьма авторитетный и в Москве Григорий Иванович предложил редактором «Волги» поставить Благова. И Правление СП, в чьем ведении была «Волга», и её первый редактор Шундик – все его поддержали. Дело шло к назначению, но на пути затеи вдруг встал Саратовский обком партии. И не потому, что там были против Благова, а потому что там были за Палькина. И не только по общей партийной к нему и его песенной музе симпатии, а потому, что ближайшим другом Палькина был секретарь обкома по пропаганде и агитации В.А. Родионов. Они задружились еще в Балашове, где даже жили на одной лестничной площадке. Было известно, что без взаимного обсуждения ни тот, ни другой ничего важного не предпринимали. (Шундик, отметим, с Родионовым враждовал.)

Итак: за Благова Коновалов и Москва, за Палькина Родионов и обком. Если кит на слона залезет, кто кого поборет?

Поборола коноваловская трусость.

Как-то на крыльце поликлиники, по старинке называемой в городе «партактивской», встретились Коновалов и первый секретарь обкома Шибаев, который сказал: «Ну что, Григорий Иванович, значит Палькин у нас редактор, так?»

И стало так.

Обиженный и не желавший быть у Палькина в подчинении Благов весной 1976 года вернулся в Ульяновск. Там после него писателями руководил В.И. Пырков. А так как именитый Благов не мог оставаться без оплачиваемой должности, то Пыркова из секретарского кресла убрали. Поэтому, читая в воспоминаниях И. Васильцова о нежной дружбе его отца с Благовым, я позволю

себе усомниться. И потому, что четырёхлетний тогда Ваня вряд ли что соображал, и потому, что слышал от Владимира Ивановича слова о нетоварищеском поведении Благова, и потому, что наблюдал их не всегда дружеские отношения в недолгий период благовского редакторства.

Лишив Пыркова должности, то есть прежде всего зарплаты в сто девяносто, что было тогда немало, рублей, Благов проявил обычный для него, какой-то, я сказал бы рассеянный, детский эгоизм. Вспомню на этот счёт один случай.

Лето, жара. Николай Николаевич идёт в редакцию, а я на конечной остановке поджидаю троллейбус, он меня не видит, направляясь к газировочному автомату, где уже нацелился опустить монетку старик. Благов его не то что отпихнул, а просто не заметил, легко сдвинув в сторону своим огромным корпусом. Хватил залпом стакан и удалился, провожаемый в спину стариковскими проклятиями, которые если и услышал, к себе, конечно, не отнёс. Он прошагал, повторяю, в двух шагах от меня, так и не заметив.

А в 1976-м на поэзию Палькин взял саратовца Владимира Бойко. Как и почему тот ушел от старого приятеля, я уже рассказывал в своей книге «Пустая полка» («Волга», 2018. №7-8). После Бойко заведующим отделом поэзии стал, переехав для этого из Ульяновска в Саратов, тот же Пырков.

Но вернёмся к годичному (1983-84) редакторству Благова. Надо заметить, что тогда, продолжая публиковаться в «Волге», я имел дело только со Зверевым, к Благову заходя лишь поболтать.

Разным я видал его в бытность зав отделом, часто задумчивым, иногда смешным, реже сердитым, но никогда таким растерянным, каким он предстал, когда впервые я зашел к нему в огромный редакторский кабинет, где ранее и потом сам провёл столько разных часов. Никогда не понимал причин этой стометровой площади. Может быть, они и не в тщеславии первого редактора, а в том, что помещение изначально предназначалось не редакции журнала, которого в год постройки дома ещё не было, а общественному туалету.

В новеньком дорогом костюме, видимо купленном к должности женой в Ульяновске, в новеньких блестящих и скрипящих туфлях сорок пятого размера, Благов расхаживал по кабинету с папиросой. Плох был откровенно растерянный взгляд, вопросы невпопад. (Впрочем, слушать он никогда не умел.) После первого свиданья с Благовым-редактором моё мнение о скоротечности его пребывания в должности укрепилось.

Недруги говорили потом, что пошел он в редакторы с надеждой на обещанную ему Коноваловым, а в Москве и Бондаревым, Госпремию. Но не был Николай Николаевич человеком расчета. Уверен, что главную роль во всем сыграл Коновалов, имевший на Благова беспредельное влияние, и, с возможной для этого человека искренностью, любивший его. Даже жена Коновалова, суровая и жёсткая Бети Ефремовна относилась к Благову с нескрываемой нежностью.

Уговорили.

Я назвал свой очерк по номеру редакторства Благова.

А поэтом в Саратове он был, конечно, первым. Да и в России не последним.

О его поэзии есть немалая критическая литература, мною не читанная. Жаль, если сохраняется традиция заносить его лишь по сельскому ведомству. Главным в его стихах была метафора. Свежая, броская, но естественная, словно бы природная.

Я не умею писать о поэзии. За долгие годы написал в «Волге» лишь дважды: о Сергее Чудакове и Яне Сатуновском. И о благовском стихе не буду. Вспомню когда-то восхитившие строки.

О вспоминающей погибших сыновей матери:

*И каждый
обещал, что возвратится,
и каждый
на груди своей унёс
пятно большое материнских слёз,
что, высыхая, морщилось на ситце.*

Приближал поэт и классические образы:

*Стынет Ярославна,
Замерзает.
Покрывала –
Снегом покрова.
Знает Ярославна:
Заползает
Это холод вдовства в рукава.*

Сельское:

*И вымя над травой несёт корова,
Пыль прошивая ниткой молока.

Как ребяташки пятками босыми
В садах тяжелых яблоки стучат.*

О лесной чаще:

*Тропинкой, из корней сплетённой,
Пугливо прошнурован бор.
И чьи-то,
Как ни повернитесь.
Сверлят затылок вам глаза.*

Строки о Волге напомнили мне Пастернака:

*Волга наполнилась без угрозы.
Серой ночью, чуть звеня ледком:
Сразу, как от плотника с мороза,
Сизым потянуло холодком.*

Или:

*Навсегда остановилась Волга
Каспия грохочущей слезой.*

Или:

*Дорогой лунной захлестнуло пристань,
Бегучие разбило беляки,
Как будто с кручи тополь серебристый
Вальнули ночью поперёк реки.*

Это всё из сборника «Звон наковальни» (1971), на котором написано: «Сергею Боровикову с почтением к его крепнущему критическому слову».

В «Волге» он много печатался при Шундике, немного при своем редакторстве, и никогда при Палькине. Когда однажды прислал тому новые стихи, Николай Егорович делился неудовольстви-

ем: непонятно! И протянул лист: «Как по-твоему?» По-моему было хорошо, сразу запомнил строки из стихотворения про старика на постели, а в солнечном луче плавают пылинки:

*Уткнулся луч,
Как столбик ртутный,
И гонит душу в высоту.*

Как относились к Благову тогдашние саратовские стихотворцы?

Назову их: Тобольский, Малохаткин. Богатырёв, Гришин, Бойко, Булгин, Каримова, Чернышев, ну и понятно, Палькин и Пырков.

Кто-то из них не заслуживает никаких слов, кто-то, как Тобольский и Палькин, потопили природную одарённость в производстве оплачиваемых строк и безудержном советском пиаре, кто-то, как Пырков, словно стыдился быть смелее в строке, перед кем-то, как одарённым Малохаткиным, вставали преградой малая грамотность, соединённая с большим пьянством и безудержной тягой к деньгам.

Думаю, они не могли не сознавать первенства Благова, а уж вели себя в отношении него поразному в зависимости от личных свойств и обстоятельств. Похвалы в его адрес я слышал разве что от Тобольского.

Что ещё? Из любимых по нашим разговорам его поэтов помню Есенина и Пастернака. Я был тогда в стадии разочарования Есениным, на что он спокойно сказал: «Это у тебя возрастное. Пройдёт».

Вообще же позиций в литературе он был твердых. Как-то дал ему почитать присланную статью поощрённым Палькиным критика Н. Буханцова из разряда суперпатриотов. Прочитав, Николай Николаевич воскликнул: «Это уж на пути к тридцать седьмому!»

Открывать таланты любил. Помню, как носился с Ириной Беликовой (?) из Мелекеса, без конца повторяя её строку «Предвкушением полёта ломит крылья за спиной».

После 1983 года почему-то ни разу его не встретил, хотя, конечно, мы одновременно бывали на съездах и других совписовских сборищах.

2019

Контакты:

Анна Сафронова (гл. редактор, проза): safronova-volga21@yandex.ru

Алексей Александров (зам. гл. редактора, поэзия, критика): alexandrov-volga21@yandex.ru

Алексей Голицын (документальные исследования): agolitzin@yandex.ru

Олег Рогов (архивные публикации, критика): rgv@mail.ru

Алексей Слаповский (проза)

Сайт журнала: <http://volga-magazine.ru/>

Электронная версия журнала на сайте «Журнальный зал»:
<http://magazines.gorky.media/volga>

Подписано в печать 10 февраля 2020 г.

Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.